

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ВЫПУСК 4

СОЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

**СБОРНИК
НАУЧНЫХ ТРУДОВ**

**Москва
2016**

УДК 32
ББК 66.0
С 37

Серия
«*Политология*»

ИНИОН РАН
Центр социальных научно-информационных исследований

Отдел политической науки

Редакционная коллегия:

О.Ю. Малинова – д-р филос. наук, главный редактор,
Д.В. Ефременко – д-р полит. наук, *В.Н. Ефремова* – канд. полит. наук, ответственный секретарь, *М.В. Ильин* – д-р полит. наук,
Е.Ю. Мелешкина – д-р полит. наук, *Ю.С. Пивоваров* – акад. РАН, д-р полит. наук, *С.П. Поцелуев* – д-р полит. наук,
И.С. Семенов – д-р полит. наук, *Л.А. Фадеева* – д-р ист. наук

Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН.
С 37 Центр социал. науч.-информ. исслед.; Отд. полит. науки;
Ред. кол.: Малинова О.Ю., гл. ред., и др. – М., 2016. –
Вып. 4: Социальное конструирование пространства. –
371 с. – (Сер.: Политология).
ISBN 978-5-248-00819-3

Рассматриваются теоретические проблемы изучения символической политики как сферы конкуренции различных способов интерпретации социальной реальности. Статьи и рефераты знакомят с исследованиями, посвященными идейно-символической компоненте современных политических процессов. Особое внимание уделяется социальному конструированию пространства как одному из аспектов символической политики.

Для исследователей-политологов, преподавателей и студентов, а также для всех, кто интересуется вопросами развития политической науки.

*Издано при поддержке Российского фонда содействия
образованию и науке*

УДК 32
ББК 66.0

ISBN 978-5-248-00819-3

© ИНИОН РАН, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

Социальное воображение пространства как символическая политика	7
--	---

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Г.В. Пушкарева. Символические формы конструирования политической реальности	15
Г.И. Мусихин. Концепт политической символизации как диалектическое понимание политики	30
Б. Петерссон. Легитимность, популярность и конструирование политического мифа: Современные дискуссии	52
Г.Л. Тульчинский. Наррация в символической политике: Уровни и диахрония	65

ТЕМА ВЫПУСКА: СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

Л.В. Смирнягин. Эволюция Места в ходе «производства пространства»	84
Н.Ю. Замятина. «Земля наша дала миру...»: Национальные особенности брендинга территорий	106
Н.М. Мухарямов, О.Б. Януш. Тюркоязычный и финно-угорский «миры» как символические языковые пространства	135
И.Ю. Окунев, Г.И. Остапенко. Символический капитал столичности: Опыт концептуального картирования столиц без актуальной государственности	155

ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ: ВООБРАЖЕНИЕ РОССИИ

М.Г. Агапов, Ф.С. Корандей. Популярная картография как ресурс символической политики: Случай Тюменской области	187
О.Б. Подвинцев. Ментальная граница между Уралом и Сибирью в современной России	208
М.Я. Рожанский. Место Москвы в советском сибирском кинотексте: От 1930-х годов к советскому финалу	216
Р.В. Евстифеев, И.В. Задорин, П.Л. Крупкин, С.Д. Лебедев. Городские локальные идентичности и потенциал политической солидаризации	245

ПОЛИТИКА КАК ПРОИЗВОДСТВО СМЫСЛОВ

Д.В. Березняков, С.В. Козлов. «В украинской системе координат»: Символическая география в условиях коллапса украинского государства	259
Л.И. Закирова. Символическое измерение деятельности негосударственных акторов в современных российско-американских отношениях	279
В.Н. Конышев, А.А. Сергунин, С.В. Субботин. Конструирование арктического пространства в российских политических и общественных дискурсах	292
В.Н. Ефремова. Новый год в современной России: Политическое использование праздника в меняющемся контексте	316

ПЕРЕЧИТЫВАЯ КЛАССИКУ

Эдельман М. Эскалация и ритуализация политического конфликта. (Реферат)	329
Дёрнер А. Политический миф и символическая политика: Формирование смысла с помощью символических форм на примере мифа о Германе. (Реферат)	337

С КНИЖНОЙ ПОЛКИ

О.Ю. Малинова. Новый взгляд на старую проблему: Россия и Европа / Запад в свете постколониального подхода (Рецензия)	354
С.В. Акопов. Почему так актуально «Актуальное прошлое»? (Рецензия)	363

CONTENTS

Social imagination of space as a symbolic politics 7

SYMBOLIC POLITICS AS A MATTER OF STUDY: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ISSUES

G.V. Pushkareva. Symbolic forms and construction of political reality 15

G.I. Musikhin. The concept of political symbolization as a dialectical conception of politics 30

B. Petersson. Legitimacy, popularity and the construction of political myth: Contemporary discussions 52

G.L. Tulchinsky. Narration in symbolic politics: Levels and diachrony 65

THE TOPIC OF THE ISSUE: SYMBOLIC POLITICS AND SOCIAL CONSTRUCTION OF SPACE

L.V. Smirnyagin. Evolution of Place in context of the «production of space» 84

N.Yu. Zamjatina. «Our land has given to the world...»: The national features of branding territories 106

N.M. Mukharyamov, O.B. Yanush. Turkic and finno-ugric «worlds» as symbolic spaces 135

I. Yu. Okunev, G.I. Ostapenko. Symbolic capital of capitalness: Conceptual mapping of stateless capitals 155

IDENTITY POLITICS: IMAGINING RUSSIA

M.G. Agapov, F.S. Korandey. The popular cartography as a resource of symbolic policy: A case of a Tyumen region 187

O.B. Podvintsev. Mental border between the Urals and Siberia in modern Russia 208

M.Ya. Rozhansky. Representations of Moscow in the soviet «siberian» films	216
R.V. Evstifeev, I.V. Zadorin, P.L. Krupkin, S.D. Lebedev. Urban local identities and a potential of political solidarity	245

POLITICS AS PRODUCTION OF MEANINGS

D.V. Bereznyakov, S.V. Kozlov. In the «Ukrainian frame of reference»: Symbolic geography in the context of a collapse of the ukrainian state	259
L.I. Zakirova. Symbolic dimension of non-government organizations' activity in contemporary russian-american relations	279
V.N. Konyshchikov, A.A. Sergunin, S.V. Subbotin. Constructing arctic space in russian political and public discourses	292
V.N. Efremova. The New year in the modern Russia: The political usage of the holiday in a changing context	316

RE-READING CLASSICS

M. Edelman. Escalation and ritualization of political conflict. (Review)	329
A. Dörner. Political myth and symbolic policy: Creating meaning by symbolic forms (the case of the myth about Hermann). (Review)	337

FROM THE BOOKSHELF

O.Yu. Malinova. Revisiting the old problem: Russia and Europe / West in the light of postcolonial approach (Review)	354
S.V. Akopov. Why is so actual the «usable past»? (Review)	363

СОЦИАЛЬНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА КАК СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Пространство – хотя и не столь «очевидный», но такой же необходимый аспект публичного производства смыслов, как время. Однако практики символического «освоения» пространства изучены существенно меньше, нежели основные векторы социального времени – темы коллективного прошлого и будущего. Возможно, данное обстоятельство обусловлено неравноправным отношением между временем и пространством в системе представлений, сложившейся в европейском модерне, – тем, что географ Д.Н. Замятин назвал «постоянно нагнетаемой темпоральностью». По его словам, «эта постоянно выявляемая на первом плане проблема времени изначально оказывается двойственной, поскольку речь чаще всего идет в итоге о пространственных представлениях времени и также вечности» [Замятин, 2014, с. 9]. И хотя изучение социальных характеристик пространства все больше становится предметом внимания российских географов и социологов, политологи чаще видят в нем объективный фактор, определяющий структуру политических процессов, нежели предмет и продукт борьбы за смыслы. «Пространственный поворот», наблюдаемый в географии и социологии с конца XX в. – не в последнюю очередь под влиянием трактата А. Лефевра «Производство пространства» (1974), – почти не затронул политическую науку. В настоящем выпуске «Символической политики» мы попытались наметить некоторые направления исследования процесса воображения / конструирования конкретных пространств как публичной деятельности, связанной с производством конкурирующих способов видения социальной реальности, т.е. *символической политики*.

Но всегда ли осмысление пространства является продуктом конкуренции «концепций»? Относительная «неочевидность» темы

пространства для символической политики позволяет увидеть то, что часто остается незамеченным в случае «нагнетаемой темпоральности»: не все проявления времени и пространства как фундаментальных форм бытия осознаются и наделяются смыслами, а значит, входят в поле символической борьбы. Это хорошо показал в своем фундаментальном исследовании социологии пространства А.Ф. Филиппов. Во-первых, «пространство есть именно *феномен*, который может восприниматься по-разному, в разных модусах». В теоретическом модусе восприятия оно оказывается кантовской «бездейственной чистой формой» [Филиппов, 2008, с. 106] и в этом качестве осмысливается на философском уровне. Философская рефлексия безусловно сопряжена с конкуренцией разных способов видения предмета, однако носит преимущественно рациональный (и неэмоциональный) характер, требует определенных знаний и навыков, и если и оказывает влияние на массовые представления, то опосредованно и в длительной перспективе. Как верно заметил Филиппов, «подлинно социальное значение имеет *смысл пространства* (выделено мною. – О. М.) или, точнее говоря, именно тех фрагментов пространства, которые мы называем территориями, местами, регионами» [там же, с. 116]. Именно *место* как конкретное пространство, имеющее границу и «воспринимаемое как неделимое единство» [там же, с. 261], оказывается предметом означивания и символической конкуренции.

Во-вторых, означивание места опирается не только на разделяемые смыслы, но и на телесные практики. Если принять вывод Филиппова о том, что для поведения «имеет силу не понятие, не образ, не общее представление о пространстве, а его практическая схема», т.е. «смысловой комплекс знаний и умений, позволяющих ориентироваться в пределах определенного региона» [там же, с. 193, 262], то необходимо признать, что такие комплексы отчасти формируются на дорефлексивном уровне, в процессе взаимодействия тела и физического пространства. Разумеется, на уровне рефлексии практические схемы конкретных пространств опираются на социально разделяемые представления о них, что создает предпосылки для их превращения в предметы символической политики. Однако эта возможность не всегда реализуется в действительности, поэтому при изучении социальных аспектов бытия в пространстве (и времени) необходимо учитывать не только влияние мифов, стереотипов и прочих разделяемых представлений о месте, но и силу телесных привычек, заключенных в практических схемах. Это становится очевидным, например, при анализе социальных взаимодействий в

городских пространствах: во многом основанные на рутинных поведенческих моделях, они в то же время включают символические компоненты – имеют *значение*, опираются на нарративы места [Licari, 2011, p. 49–51], могут становиться «темой коммуникации» [Филиппов, 2008, с. 120], оказываются предметом оспаривания, отражают отношения власти и доминирования [Thornham, Parry, 2015]. Исследователя символической политики интересует именно эта сторона социологии пространства.

Изучение конкурирующих символов, мифов, нарративов, образов мест (стран, территорий, регионов, городов и проч.) может опираться на заделы, созданные в дисциплинарных рамках географии, истории, урбанистики, литературоведения, киноведения, истории архитектуры, а также прикладных исследований электоральных процессов, географии малого бизнеса и местного самоуправления, брендинга территорий и др. Такие исследования отчасти стимулируются развитием индустрии культурного наследия: формирование и культивирование образов тех или иных географических мест сегодня оказывается важной экономической и политической задачей. К сожалению, достаточно большая литература о социальном воображении пространства пока слабо систематизирована и не всегда известна специалистам из смежных областей. Хотелось бы надеяться, что наш сборник, в котором наряду с политологами участвуют географы, социологи, языковеды и специалисты по истории кино, внесет определенную лепту в наведение междисциплинарных мостов.

Разумеется, здесь возможны различные исследовательские ракурсы. Географа, изучающего образ места, интересует то, как «конкретное географическое пространство, со всеми его социокультурными, художественными, политико-экономическими коннотациями, задает... условия репрезентации и интерпретации практически всех возможных в данном месте и в данное время дискурсов» [Замятин, 2014, с. 449]. Рефлексия социолога связана с выбором позиции наблюдателя социальных взаимодействий, имеющих место в структурированном пространстве [Филиппов, 2008, с. 119–147]. Вместе с тем предметом изучения могут быть и двусторонние связи между территорией и идентичностями проживающих на ней групп, т.е. анализ того, как социальные отношения структурируют пространство (наделяют его участки различной ценностью, выстраивают их иерархию), и в то же время – как социумы «впитывают» определенные свойства «своего места». Н.Ю. Замятина называет это концепцией социогеографического пространства [Замятина, 2012].

Внимание же исследователя символической политики скорее будет сосредоточено на публичных коммуникациях, в которых разные акторы пытаются продвигать собственные интерпретации конкретных пространств, а также их границ.

В круг таких акторов входят представители разных профессиональных групп – политики, журналисты, публичные интеллектуалы, кинематографисты, краеведы, музейщики, скульпторы, архитекторы, – все, кто так или иначе участвует в создании и продвижении смыслов места. Иногда деятельность такого рода носит целенаправленный характер и именуется брендингом территории. Однако куда чаще образ места формируется в процессе спонтанного взаимодействия акторов. Позиция политиков, облеченных властью, на этом поле двояка: они, с одной стороны, стремятся использовать образы территорий как символический ресурс для достижения различных целей; а с другой стороны – имеют возможность принимать решения, меняющие социальные характеристики пространства (например, границы территории, названия географических объектов, часовые пояса и др.).

Смыслы места являются частью символических репертуаров, на которые опираются индивидуальные и коллективные идентичности, – в частности, территориальные, региональные, национальные, макрополитические и проч. [Политическая идентичность... 2012]. При этом пространственные образы не выступают как нечто самостоятельное по отношению к другим составляющим такого рода репертуаров – они тесно переплетены с историческими, литературными, художественными, маркетинговыми и иными конструкциями. Однако если исторические символы и нарративы отсылают к прошлому, то пространственные образы тесно связаны с настоящим; поэтому они оказываются особенно ценным ресурсом политики идентичности там, где запас символов «актуализированного» прошлого относительно скуден, а географические границы приобретают значение политического ресурса.

Социальное конструирование пространства – основная тема четвертого выпуска ежегодника «Символическая политика».

Как обычно, его открывает рубрика «Символическая политика как предмет изучения: Теоретические и методологические проблемы», в которой представлены статьи Г.В. Пушкаревой, Г.И. Мусихина, Б. Петерссона и Г.Л. Тульчинского. Профессор Московского университета Г.В. Пушкарева предлагает модель, описывающую функционирование символических форм в политике. Отталкиваясь от сущностных черт человека как *animal*

symbolicum, она анализирует особенности функционирования символов-сигнификаторов и символов-интеграторов и описывает механизмы проблематизации и поддержания «символического универсума», т.е. мифов, объясняющих природу политических отношений и их высший смысл. Профессор московского кампуса ВШЭ *Г.И. Мусихин* обосновывает собственную концепцию политической символизации, выводя ее содержание из анализа теории символа, созданной немецким романтизмом. Предлагаемое им понятие указывает на множественность смыслов политической коммуникации, конвенциональность которых заранее не обеспечена. По мысли автора, политическая символизация состоит в коллективном смысловом взаимодействии, производящем и воспроизводящем смыслы. Профессор Университета Мальмё (Швеция) *Б. Петерссон* рассматривает применение концепции легитимности в недемократических средах, где легитимность не основывается на легально-рациональных принципах (в веберовском смысле). Сопоставляя харизматическую легитимность и личную популярность, он анализирует основания поддержки президента В. Путина и дилеммы, которые могут возникнуть в процессе передачи политической власти. Профессор петербургского кампуса ВШЭ *Г.Л. Тульчинский* предпринимает попытку систематизации уровней нарративных практик в символической политике. Таким образом, ежегодник 2016 г. продолжает теоретические дискуссии, начатые в предыдущих выпусках «Символической политики».

Рубрика «Символическая политика и социальное конструирование пространства» представлена статьями географов, политологов и лингвистов. Известный географ-страновед *Л.В. Смирнягин* рассуждает об изменении значения пространства для территориальной организации общества в постиндустриальную эпоху: если прежде место определялось положением относительно других мест, то сегодня решающую роль стали приобретать собственные качества места, зависящие от смыслов, которые придают ему люди в ходе социальных взаимодействий. По мысли автора, данное обстоятельство влечет за собой трансформацию фундаментальных понятий географической науки. Его коллега *Н.Ю. Замятина* анализирует практику брендинга территорий в российском контексте. Она тщательно вписывает данное понятие в систему категорий, описывающих представления о территории, и анализирует составляющие механизма образно-символической репрезентации места. Замятина предлагает рассматривать бренд как форму символического капитала территории. На основе эмпирического анализа описаний терри-

торий на официальных сайтах субъектов РФ она выделяет различные подходы к презентации регионов и выявляет некоторые их недостатки. Казанские политические лингвисты *Н.М. Мухарямов* и *О.Б. Януш* обращаются к анализу лингвокультурных пространств, рассматривая их как символические конструкты, в формировании которых значительную роль играют международно-политические и историко-географические факторы. Авторы анализируют перспективы тюркоязычного и финно-угорского «миров», конструирование которых опирается на различные комбинации символических, риторических, дискурсивных начал. Представители политологической школы МГИМО *И.Ю. Окунев* и *И.Г. Остапенко* публикуют результаты любопытного эмпирического исследования символического потенциала «столичности» российских городов, которые считаются в тех или иных отношениях «столицами», не будучи при этом центрами реальных государств. С помощью концептуального картирования авторы выделяют специфический пласт «столичности» не только в сознании жителей, но и в пространственно-символической организации самих городов.

Рубрику *«Политика идентичности: Воображение России»* открывает статья тюменских географов *М.Г. Агапова* и *Ф.С. Корандея*, посвященная феномену популярной картографии – практике массового символического использования картографических изображений территорий. Для ее анализа авторы вводят концепцию географического топоса как инструментальной разновидности географического образа, используемой в популярных дискурсах. На примере карты Тюменской области в статье показано, каким образом в контексте, когда сборка регионального социума происходит не столько на историко-культурных, сколько на территориальных основаниях, географический топос может превращаться в важный политико-символический ресурс. Статья пермского политолога *О.Б. Подвинцева* продолжает тему социального конструирования структуры пространства на примере анализа ментальной границы между Уралом и Сибирью. Предметом анализа является их идентификационная «состыковка» в двух пограничных регионах – Тюменском крае и Курганской области. Иркутский историк и философ *М.Я. Рожанский*, анализируя советские фильмы о Сибири, показывает, как от 1930-х к 1970-м годам менялся образ Москвы, выступавший в качестве неизменного фона в кинематографической Сибириаде. Эти изменения иллюстрируют примечательную трансформация структуры воображаемого пространства страны и формирование стереотипных представлений о «центре» и сибирской «пе-

риферии». В статье *Р.В. Евстифеева, И.В. Задорина, П.Л. Крупкина и С.Д. Лебедева* представлены результаты социологического исследования локальных идентичностей во Владимире, Смоленске и Ярославле. Полученные результаты позволяют сделать вывод о наличии во всех трех городах достаточно выраженной локальной идентичности, имеющей культурные основания. Слабее представлены элементы идентичности, связанные с современностью, с ритуалами воспроизводства идентичности и представлениями о структуре сообщества и его границах. Результаты исследования рассматриваются авторами как основа для дальнейшего изучения потенциала политической солидарности.

В рубрике «*Политика как производство смыслов*» собраны статьи, анализирующие политические дискурсы и практики. Новосибирские политологи *С.В. Козлов* и *Д.В. Березняков* исследуют особенности конструирования системы пространственных координат в риторике президента Украины П. Порошенко. Они показывают, как «революция достоинства» становится ключевым элементом пересборки национального нарратива, превращаясь в «миф основания» современной украинской государственности. Аспирантка МГИМО МИД России *Л.И. Закирова* анализирует деятельность негосударственных акторов, формирующих образ России в США. Петербургские политологи-международники *В.Н. Коньшев, А.А. Сергунин* и *С.В. Субботин* описывают структуру современного российского дискурса о политике в Арктике, выделяя основные парадигмы в подходах к определению ее принципов и приоритетов. *В.Н. Ефремова*, продолжая свое исследование государственных праздников, публикует статью о политическом использовании самого «неполитического» из российских праздников – Нового года.

В рубрике «*Перечитывая классику*» можно найти реферат статьи *М. Эдельмана «Эскалация и ритуализация политического конфликта»*, в которой символическая политика рассматривается как инструмент управления политическими конфликтами. В ней также представлен реферат книги *А. Дёрнера «Политический миф и символическая политика»*, излагающей предложенную автором концепцию символической политики. Под этим термином Дёрнер понимает обслуживаемое различными семиотическими средствами стратегическое применение символического капитала. Особое внимание германский теоретик уделяет функциям политического мифа.

Рубрика «*С книжной полки*» предлагает вниманию читателя две рецензии. *О.Ю. Малинова* рассказывает про книгу тартусского политолога-международника В. Морозова «Постколониальная иден-

тичность России: Соподчиненная империя в европоцентрическом мире». А петербургский исследователь *С.В. Акопов* дает оценку книге *О.Ю. Малиновой* «Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности».

Литература

- Замятин Д.Н. Постгеография: Капитал(изм) географических образов. – СПб.: Гуманитарная Академия, 2014. – 592 с.
- Замятина Н.Ю. Территориальные идентичности и социальные структуры // Общественные науки и современность. – М., 2012. – № 5. – С. 151–163.
- Политическая идентичность и политика идентичности / [Отв. ред. И.С. Семеновко] – М.: РОССПЭН, 2012. – Т. 2: Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке. – 471 с.
- Филиппов А.Ф. Социология пространства. – СПб.: Владимир Даль, 2008. – 285 с.
- Licari G. Anthropology of urban space: Identities and places in the postmodern city // World Futures. – L., 2011. – Vol. 67, N 1. – P. 47–57.
- Thornham H., Parry K. Constructing communities: the community centres as contested site // Community development journal. – Manchester, Eng., 2015. – Vol. 50, N 1. – P. 24–39.

О.Ю. Малинова,
доктор философских наук,
главный научный сотрудник ИНИОН РАН,
профессор МГИМО МИД России,
e-mail: omalinova@mail.ru

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Г.В. Пушкарева *

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ФОРМЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Аннотация. Предлагается классификация символических форм политической реальности, исходя из сущностных черт человека как animal symbolicum. Выделен уровень символов, выполняющих функцию обозначения политической реальности, а также уровень символического универсума, позволяющего человеку наделять смыслом эту реальность.

Ключевые слова: человек как animal symbolicum; символы-сигнификаторы; символический универсум.

G.V. Pushkareva

Symbolic forms and construction of political reality

Abstract. A classification of symbolic forms of political reality, based on the essential features of person as «animal symbolicum», is suggested. We distinguish level of symbols-significators, performing the function of political reality designation, and the level of symbolic universe, which allows a person to give meaning to this reality.

Keywords: person as the «animal symbolicum»; symbols-significators; symbolic universe.

Размышляя о природе человека, Э. Кассирер высказал мнение, что его главной сущностной чертой является способность создавать символический мир и жить в нем. «Вместо того, чтобы определять человека как animal rationale, – писал он, – мы долж-

* Пушкарева Галина Викторовна, доктор политических наук, профессор кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, e-mail: gvpush@mail.ru

Pushkareva Galina, M.V. Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia), e-mail: gvpush@mail.ru

ны... определить его как *animal symbolicum*. Именно так мы сможем обозначить его специфическое отличие, а тем самым и понять новый путь, открытый человеку, – путь цивилизации» [Кассирер, 1988, с. 30].

Символическое в человеке проявляется, с одной стороны, в его способности создавать символические формы социального и политического бытия и превращать эти формы в объективную данность, в среду своего существования. А с другой – в его умении адекватно ориентироваться в созданном предшествующими поколениями символическом пространстве, распознавать смыслы символических структур, понимать определяемые ими требования к выбору моделей поведения в конкретной ситуации. Именно сочетание способности создавать символические формы и умения приспособливаться к ним превращают человека в *animal symbolicum*.

Все формы социальной жизни являются продуктом взаимодействий людей, которые в свою очередь, как отмечал один из основателей символического интеракционизма Дж. Мид, возможны только «посредством значимых символов» [Мид, 1988, с. 222]. Именно способность человека создавать символы, несущие в себе определенный запас информации, позволили ему передавать социальный опыт новым поколениям, создавать устойчивые формы взаимодействий, нормативные порядки. Как писал Дж. Мид, «Символизация конституирует объекты, которые не были конституированы прежде и не существовали бы, если бы не контекст социальных отношений, в котором происходит символизация» [там же, с. 223].

Политическая реальность, как мы уже отмечали [Пушкарева, 2015], также формируется, функционирует и развивается в символической форме, как комплекс представлений о правилах и смыслах политических взаимодействий. Символическое в пространстве современной политики представлено сложным комплексом различных феноменов, созданных усилиями многих поколений. Эти феномены далеко не всегда определяются как символы. Как справедливо отмечает О.Ю. Малинова, «в общественных науках существует целый набор терминов для описания символической... функции социально конструируемых смыслов: *дискурсы, идеи, представления, образы, мифы, фреймы, нарративы*, собственно *символы* (в более узком значении знака или изображения, условно “воплощающего” некие явления или идеи) и др. Это далеко неполный перечень понятий, схватывающих различные связи и эффекты, которые возникают вследствие того, что человеческое сознание способно “осваивать”

социальный мир исключительно за счет символической редукции, осуществляемой на основе социально конструируемых и коллективно разделяемых смыслов» [Малинова, 2013, с. 11].

Многообразие понятий отражает сложность и многогранность символического и связанную с этим необходимость введения новых категорий для «схватывания» проявлений ранее не изученных его свойств, для смещения ракурса исследовательской практики. Любое многообразие нуждается в классификации, помогающей определенным образом упорядочить выделенные феномены. В данной статье предлагается идентифицировать символические формы политического, исходя из сущностных черт человека как *animal symbolicum*, т.е., во-первых, посмотреть на политические символические формы как на продукт деятельности человека. Это позволит понять, для решения каких задач они создавались и как обретали свою объективность. Во-вторых, посмотреть на символические формы политического бытия через призму особенностей их освоения человеком. Есть основания полагать, что формирование у человека знания о содержании тех или иных символов зависит от специфических функций последних в политическом пространстве. Опираясь на данные суждения, мы постараемся показать, что несмотря на многообразие созданных человеком символических форм они сводимы к двум основным видам.

Символы-сигнификаторы и символы-интеграторы

Сигнификация – обязательное условие существования любых социальных объектов, которые в отличие от природных, материальных не даются нам в наших ощущениях. Мы не можем их видеть, слышать, осязать, они существуют только потому, что люди вырабатывают общее знание о нормах и правилах взаимодействий. Но это знание надо определенным образом выразить, чтобы оно стало достоянием тех, кто не участвовал в создании тех или иных правил.

Этнографы и антропологи, изучающие первобытные племена, отмечали, что возникновение властных отношений неизменно сопровождалось наделением старейшин и вождей особыми знаками отличия. Например, вождь племени тхенду (Индия) «выделялся среди окружающих своей внешностью и поведением: это и особый костюм с украшениями в виде черепа обезьяны или из крупных раковин и рогов, это и полное достоинства поведение» [Ранние формы... 1995, с. 91]. Цари Древнего Рима являлись перед народом

в золотой короне, имитирующей венки из дубовых листьев. Они располагались на сидении, украшенном слоновой костью, одетые в пурпурную тунику, расшитую золотом, и расписной плащ, держа в руках скипетр с орлом. Использование всех этих предметов позволяло визуализировать нормативные требования, придать им внешне обязывающий характер без предварительного разъяснения необходимости того или иного выбора модели поведения.

Символ не является простым знаком. Он, как отмечал А.Ф. Лосев, «всегда есть обобщение» [Лосев, 1995, с. 44], предполагающее некоторое толкование связи между обозначаемым и обозначающим. Так, череп обезьяны превращался в символ власти у племени тхенду по мере того, как ему приписывались некоторые магические свойства. И если на ранних этапах толкованием символов занимались особые люди – шаманы, жрецы, – то со временем образовалась особая отрасль знания – геральдика, вобравшая в себя исторический опыт объяснения смысловых значений различных знаков.

Политические символы-сигнификаторы существуют не только в виде предметов, используемых для обозначения статусно-ролевых позиций, политических групп, нормативных требований и т.д. Более распространено вербальное выражение различных смысловых значений. Словами человек обозначает различные виды политических различий в политическом пространстве, структуры и организации, институциональные порядки.

Слова-символы позволяют воспроизводить более сложную картину сложившихся в обществе политических отношений, но сила их эмоционального воздействия меньше. Вождь, увешанный магическими амулетами, не только привлекал внимание, но и производил яркое впечатление как на своих соплеменников, так и на тех, кто попадал в это племя впервые. Современный человек, как правило, не верит в магические амулеты и старается рационально смотреть на окружающий мир, но и его не оставляют равнодушным внешние атрибуты политических отношений. Визуальный символ быстрее идентифицируется, привлекает внимание, активизирует определенные эмоции. Не случайно современный мир политики по-прежнему наполнен визуально воспринимаемыми символами.

Особое место среди символов-сигнификаторов занимают символы-действия, когда в качестве обозначающего выступает не предмет, а тот или иной вид активности человека. Рукопожатие или угрожающий жест, массовый митинг или одиночный пикет, встреча политика с работниками предприятия или с жителями

микрорайона – все эти действия обретают символический характер по мере того, как люди наделяют их одинаковым смыслом. В отличие от символов, презентующих объективную политическую реальность (институты, структуры, организации, группы, статусы), символы-действия обозначают намерения и ожидания людей в пространстве политических отношений. Организованный оппозицией митинг – это символ недовольства политикой правительства, посещение главой государства населенных пунктов, жители которых пережили стихийное бедствие, – символ заботы власти о своих гражданах.

Специфика символов-действий состоит в том, что они предполагают организацию соответствующих видов активности, вовлечение людей в определенный вид взаимодействия. Даже если символический жест делает один человек, например глава государства, необходимо, чтобы этот жест увидели, о нем узнали многие люди, чтобы они смогли в этом жесте увидеть требуемый смысл. Проблема состоит в том, что одни и те же действия разными людьми могут наделяться противоположными смыслами. Встреча политика с населением пострадавшего от наводнения поселка может быть проинтерпретирована его сторонниками как забота о гражданах, а его политическими оппонентами – как популизм. Таким образом, номинативная функция символов-действий в политике проблематична, поскольку она зависит от целого ряда условий, делающих возможными различные способы интерпретации смысловых значений таких символов.

Итак, символы-сигнификаторы создавались по мере появления потребности в экстернализации опыта политических взаимодействий, передаче его новым поколениям. Человек не только стремился к означиванию политических объектов, норм и правил, но и пытался наполнить создаваемые знаки особым смыслом, подчеркивая тем самым их важность и особую роль в жизни социума.

Для всех обществ характерно бережное отношение к символам-сигнификаторам, их смысловые значения передаются новым поколениям, что обеспечивает преемственность в представлениях о политической реальности. Усваивая смыслы символических обозначений, человек свободно ориентируется в пространстве политических отношений, распознает объективные ограничения и адекватно интерпретирует намерения других людей.

В периоды революционных потрясений, когда распадается институциональный политический порядок, а революционные силы приступают к ниспровержению символов прежней власти,

символы-сигнификаторы становятся проблематичными, создавая человеку серьезные трудности в ориентации в политическом пространстве. В таких кризисных ситуациях ранее усвоенное знание о символах приходит в противоречие с теми взаимодействиями, которые индивид наблюдает в реальной жизни, что ведет к появлению внутреннего когнитивного напряжения, психологического дискомфорта. Человеку в выборе «правильной» модели поведения уже не помогает интериоризированное символическое знание, он в большей степени становится зависимым от своих инстинктов и эмоциональных состояний. Однако будучи *animal symbolicum*, он даже в условиях политической аномии ищет возможности восстановления символов-сигнификаторов, помогающих ему обрести точку опоры в ускользающей политической реальности.

Рано или поздно человек задается вопросами о том, почему именно так, а не иначе устроен мир политики, насколько справедлив политический институциональный порядок, насколько эффективны правители и т.п. Чтобы эти вопросы не породили сомнения в объективности политической реальности, что чревато ее распадом, создаются символы-интеграторы, призванные придать политическому порядку некий высший смысл.

Символы-интеграторы представляют собой не обозначение, наполненное некоторым смыслом, определенного объекта политической реальности или намерений и ожиданий людей, а мыслительную конструкцию, призванную эту реальность легитимировать. В символах-интеграторах воплощается стремление человека объяснить устойчивость политического порядка, оправдать сложившиеся политические отношения, найти в спонтанно складывающихся политических институтах и процессах некоторую гармонию. В символах-интеграторах отсутствует характерная для символов-сигнификаторов смысловая связь между обозначаемым и обозначающим. В них символическая конструкция разворачивается в области, недоступные для актуального восприятия, находящиеся за пределами непосредственного опыта человека. П. Бергер и Н. Лукман называли такого рода конструкции символическим универсумом [Бергер, Лукман, 1995, с. 157–159].

В политическом символическом универсуме любого общества представлены «теории», объясняющие природу политических отношений, их высший смысл, назначение. Эти «теории» первоначально возникают в виде *мифов*, где финальный смысл политических отношений определяется отсылкой к внешним силам в виде богов, героев и иных трансцендентных сущностей. В мифе все

сущее определяется не как результат сложного взаимодействия различных факторов, которые можно исследовать, а как итог деятельности сил, намерения и помыслы которых невозможно постичь, а потому они не подлежат оспариванию и не могут вызывать сомнения. В мифе политическая картина мира упрощается, она становится доступной для понимания простого человека и не будоражит его мыслями о неопределенности политического бытия. Кроме того, мифы смягчают восприятие власти как отношения, основанного на неравенстве и принуждении. Правители наделяются особыми качествами, они предстают в виде властителей, радеющих за свой народ, а жестокие и подчас деспотические способы осуществления власти объясняются некой высшей целесообразностью, недоступной для понимания простым смертным.

Мифы – продукт мыслительной активности человека, озабоченного в конкретной ситуации проблемой сохранения сложившейся системы властных отношений. Шаманы, оракулы, жрецы, богословы, современные пропагандисты вносили и вносят свой вклад в создание мифов, легитимирующих политические порядки в разных странах. Мифы легко усваиваются массовым сознанием, потому что в них сложное объясняется через простое, «неумопостигаемое через умопостигаемое... трудноразрешимое через менее трудноразрешимое» [Мелетинский, 1976, с. 169]. Оседая в глубинах человеческой памяти, мифы начинают восприниматься как нечто непреложное, что не может быть подвергнуто критическому анализу.

Другим видом символов-интеграторов являются *идеологии*, понимаемые в данном случае как системы политических ценностей. В мифах логика рассуждений о причинах, объясняющих, почему так устроен мир, развернута в прошлое. Был некто, кто создал политический порядок. Или как варианты: утвердил тип государственности, предложил основные принципы организации власти, способствовал внедрению некоторых архетипов политического поведения и т.п. Идеология создается на иной основе, она предлагает человеку ценностные ориентиры, политические идеалы, открывает будущее, объясняет политический порядок, исходя из представлений о желаемых, кажущихся справедливыми формах политического бытия.

Появлению идеологий предшествовала своеобразная революция в мировой политической мысли, приведшая к появлению мыслителей, способных искать истоки устойчивости политических порядков не в действиях внешних сил, а в верности людей определенным принципам политической организации общества. Создан-

ные великими умами человечества теории общественного договора, правового государства, социального равенства, демократии и т.п. способствовали инкорпорации в политический символический универсум новых символов-интеграторов. Политические мифы не исчезли, но доминирующими способами легитимации политических порядков становились ценностные системы. В современном обществе целесообразность тех или иных политических институтов обосновывается необходимостью утверждения принципов демократии, правового государства, национального суверенитета и т.д.

Таким образом, политический символический универсум не обозначает возникшие в политическом пространстве объекты и группы акторов, их намерения и ожидания, а объясняет мир политических отношений, фундаментальные принципы его устройства. Символический универсум возникает в связи с естественным желанием человека сделать политический мир более понятным. Это стремление человека к определенности обосновано и хорошо описано в так называемых кризисных экспериментах известного американского социолога Гарольда Гарфинкеля. Он убедительно показал, что человек всегда старается найти даже в хаотичных действиях других людей некоторый смысл, пытаясь таким образом снять психологическое напряжение, которое всякий раз возникает, когда он оказывается в ситуации неопределенности, и найти точку опоры в системе социальных отношений [Гарфинкель, 2003].

Политический символический универсум создается человеком, чтобы наполнить смыслом мир политики, который для большинства членов общества не является «миром в пределах моей досягаемости» [Шюц, 2004, с. 418]. Политика вторгается в повседневную жизнь человека лишь в определенных ситуациях, оставаясь в целом областью, «трансцендирующей за рамки нашего опыта повседневной жизни» [там же, с. 501]. Символы-интеграторы должны были включить этот удаленный от реальности повседневного бытия мир в единую систему представлений человека об обществе, придать ему значимость, сделать осязаемым то, что не представлено в его непосредственном опыте. В этом заключается интегративная функция политического символического универсума. С его помощью формируется целостная картина мира политики, общими смыслами объединяются разрозненные политические структуры, процессы, действия отдельных политических акторов.

Символический универсум помогает решать еще одну важную для любого общества задачу – формирования общенациональной идентичности. Народ, включенный в сложившуюся сис-

тему властных отношений, должен чувствовать себя единой общностью, обладающей общими интересами, общей исторической судьбой, общей культурой. Если люди в своем большинстве ощущают свою принадлежность к единому народу-нации, то им легче понять и согласиться с той ролью, которую государство выполняет в обществе, претендуя на право защищать и управлять общественными делами. Мифы об особой судьбе народа-нации, ценности национального самосознания и патриотизма составляют особый сегмент политического символического универсума.

С развитием политической науки принципы конструирования символического универсума, казалось бы, должны измениться. Современное научное знание способно предложить вполне валидные теории, объясняющие механизмы функционирования политического институционального порядка, взаимосвязи между политическими структурами, мотивацию политических акторов и т.п. Однако символический универсум конструируется не для того, чтобы дать объективное знание о взаимосвязях в политической сфере, а с целью оправдать сложившийся политический порядок и / или помочь сформировать в массовом сознании систему представлений о желательных и нежелательных моделях политического поведения, о справедливых и несправедливых политических решениях, полезных и вредных политических структурах и т.п.

Механизмы функционирования символического в обществе

Как функционирует символический универсум, и при каких условиях он способен выполнять свои интегративную и ценностно ориентационную функции? Ответ на этот вопрос предполагает прояснение общих механизмов функционирования символического в обществе. Начнем с символов-сигнификаторов. Они существуют главным образом потому, что человек способен усваивать, запоминать символические обозначения различных форм политического бытия в ходе политической социализации. Овладевая символическим языком, принятым в культуре данного общества, человек становится носителем символического. Его память хранит информацию о значениях определенных знаков, о смыслах тех или иных символов. И эта информация не лежит ненужным грузом, она работает. Благодаря усвоенному знанию человек способен различать свойства объектов по их символическим формам, ори-

ентироваться в политическом пространстве, адекватно распознать намерения политических акторов.

Усваивая информацию, человек не только обретает свойства *animal symbolicum*, но и становится хранителем символического. Он учит распознавать политические символы своих детей, помогая им таким образом войти во взрослую политическую жизнь. Он проявляет заинтересованность в том, чтобы и другие люди разделяли его знания о символах, потому что только на основе совместно разделяемого знания возможны упорядоченные взаимодействия в мире политических отношений.

Символический универсум формируется и функционирует не только благодаря способности людей усваивать символические значения, но и на основе веры. Конечно, символы-сигнификаторы тоже требуют безоговорочного принятия их смыслового содержания. Люди должны быть уверены, что их понимание символа разделяется другими людьми, только тогда они будут реагировать на него как на знак, сигнализирующий о необходимости выбора определенной модели поведения. Если символ-сигнификатор не срабатывает, не вызывает у других людей ожидаемой модели поведения, то он неизбежно ставится под сомнение. Таким образом, в ходе взаимодействия люди постоянно проверяют «истинность» символов, т.е. их соответствие реальным ожиданиям, нормативным требованиям, структурным ограничениям, и в случае необходимости корректируют их смысловое содержание.

Символы-интеграторы не регулируют непосредственные взаимодействия, их «истинность» не может быть подтверждена опытным путем. Можно только верить в особое предназначение нации, в божественное происхождение власти, в существование неких тайных сил, направляющих ход политического процесса в стране и мире, в справедливость определенных политических принципов, в неизбежность построения идеального государства и т.д. Поэтому если пространство, конструируемое символами-сигнификаторами, существует и обретает свойства объективности в процессе усвоения членами общества соответствующей информации, то символический универсум нуждается в веровании, в формировании у человека внутренней убежденности в истинности выраженных в мифах и идеологиях суждений, даже если они не отражают его личный опыт.

Еще одной особенностью символического универсума является его проблематичность, т.е. открытая возможность оспаривания его смыслового содержания. Любой миф или идеология могут быть поставлены под сомнение в силу отсутствия эмпирических доказа-

тельств их истинности. И нет ни одного общества, где не возникали бы «девиантные версии символического универсума» [Бергер, Лукман, 1995, с. 174], т.е. оспаривающие право доминирующих мифов и идеологий определять смысл политических властных отношений и предлагающие его альтернативные интерпретации.

Проблематизация политического символического универсума имеет место во всех обществах. В ее основе, во-первых, лежат «издержки» политической социализации. Каждое новое поколение никогда не бывает полностью похожим на предшествующее. В процесс усвоения необходимых для воспроизводства политического порядка знаний всегда вмешиваются факторы, препятствующие абсолютно точной передаче знаний. Кому-то не так объяснили смысл символа-интегратора, кто-то по-своему проинтерпретировал его содержание, кому-то эта информация показалась незначимой и он не обратил на нее внимание, а кто-то получил возможность обратиться к девиантной версии символического универсума. В итоге нарушается однородность представлений, возникают основания для критического отношения к тому, во что верило предшествующее поколение.

Вторая причина проблематизации символического универсума заключается в самой специфике властных отношений в обществе. У власти всегда есть оппоненты, те, кто недоволен политикой правящей элиты, и те, кто рассчитывал, но не смог в конкретной ситуации обрести властные полномочия. Именно эти группы создают девиантные версии символического универсума, оппонировавшие официальным ценностям и мифам. Политика, как отмечал П. Бурдьё, всегда была ареной символической борьбы за сохранение или трансформацию социального мира посредством сохранения или трансформации видения этого мира [Бурдьё, 1993, с. 192–193].

Наконец, следует отметить еще одну особенность символического универсума. Он не создается одномоментно, в нем всегда представлены исторические напластования символических представлений разных эпох. Это связано с инерционностью массового сознания, его способностью воспроизводить архаичные, возникшие в другие исторические эпохи политические образы. Причина этого – в специфике мнемонических процессов, в способности памяти человека удерживать ранее усвоенные образы и суждения. В итоге актуальное сознание человека формируется как под влиянием текущей информации, так и под влиянием тех представлений и стереотипов, которые возникли у него на этапе первичной со-

циализации. Поскольку некоторые политические образы отражены в народном фольклоре, сказках, то у детей при знакомстве с ними неизбежно складываются однотипные представления, архаичные по сути, но способные оказывать самое серьезное влияние на его последующее отношение к политической власти.

Кроме того, архаичному, основанному на мифологических интерпретациях, способу объяснения мира политики большинство людей отдают предпочтение во все времена. Это связано с обозначенными выше свойствами мифов, их простотой, доступностью для понимания и т.д. В этом заключается еще одна причина того, что созданные в предшествующие периоды мифы оказываются востребованными в современных условиях. Они могут модифицироваться, но по своей сути все равно будут оставаться укорененной в массовом сознании верой в исключительность нации, в справедливого правителя, в героя, способного спасти страну в трудные в кризисные годы, и т.п.

Существование архаичного и современного в политическом символическом универсуме может придавать ему особый национальный колорит, если прошлое вполне органично вписывается в матрицу новых ценностных ориентиров. Однако возможно и другое, когда старые мифы начинают мешать формированию современных ценностей. Например, укорененный в массовом сознании миф о царе-батюшке, ориентирующий на политическую пассивность и ожидание правильных решений от властей, может затруднять процесс интериоризации ценностей гражданской ответственности и политической активности населения. В итоге символический универсум становится фрагментарным, а не целостным. В обществе в лучшем случае возникает дискуссия о том, какие ценности должны определять облик символического универсума, а в худшем – начинается поиск тех, кто мешает конструированию символического универсума на той или иной основе, например на основе современных ценностей.

Проблематизация политического символического универсума имеет свои пределы. Если начинает расти доля тех, кто выражает сомнение в приемлемости используемых властями символов-интеграторов, разочаровывается в официальных мифах и перестает верить в официальные идеологические концепты, то символический универсум распадается. Исчезает его интегрирующая сила, он оказывается неспособным обосновать необходимость сложившихся политических институтов, убедительно объяснить целесообразность политического порядка, охраняемого государством.

В итоге размывается легитимность политической власти в обществе, что ведет к нарастанию кризисных процессов в функционировании политической системы, чреватых ее разрушением. Такого рода процессы, как правило, ускоряются, если оппозиционные группы, иницируя борьбу за политические изменения, начинают целенаправленно дискредитировать символический универсум, легитимирующий политический режим.

Проблематизация политического символического универсума, недостаточность его самоподдерживающих механизмов, прежде всего в виде социализации, побуждает государство, правящую элиту создавать дополнительные механизмы его поддержания. Появление таких механизмов, с одной стороны, рассматривается как способ консервирования сложившегося политического порядка путем формирования в массовом сознании представлений о его справедливости, целесообразности, законности и т.д. Действительно, при сохранении старых символов-интеграторов неизбежно сужаются возможности для трансформаций политического порядка. Но с другой – без механизмов поддержания символического универсума любой политический режим будет испытывать трудности легитимации в силу естественной в таких условиях активизации его девиантных версий. А это в свою очередь чревато дестабилизацией политического порядка, развитием кризисных процессов, способных привести к политическому хаосу.

Механизмы поддержания символического универсума представляют собой способы и технологии регулирования процессов политической коммуникации в обществе с целью формирования в сознании членов общества определенных политических представлений. Символический универсум способен выполнять свою интегрирующую функцию только при условии, что большинство членов общества искренне верят в официальные мифы и / или разделяют ценности официальной идеологии. Механизмы поддержания символического универсума создаются для того, чтобы инкорпорировать и обеспечивать актуализацию в массовом сознании основных мифологических и / или идеологических концептов, легитимирующих сложившуюся систему власти.

Конечно, речь не идет о том, чтобы у каждого члена общества сформировать целостную систему идеологических взглядов или сделать его носителем некоего сокровенного знания, раскрывающего трансцендентные основания политического бытия. Искусство поддержания символического универсума заключается в том, чтобы сделать конституирующие его мифы и идеологии само со-

бой разумеющимися для каждого человека, чтобы они воспринимались как нечто естественное, соответствующее природе вещей, что не вызывает сомнений в их истинности и непреложности.

Современное государство использует разнообразные технологии удержания человека в рамках политического символического универсума. К ним относится, в частности, формирование «исторической памяти», т.е. такой способ подбора и интерпретации исторических событий, чтобы у человека укреплялась общенациональная идентичность на основе чувства гордости за ту общность, к которой он принадлежит. Имиджевые технологии помогают на конкретных примерах актуализировать в массовом сознании мифологические представления о правителях, заботящихся о своем народе, и героях, спасающих страну от невзгод. Технологии формирования повестки дня позволяют акцентировать внимание граждан на ценностях, составляющих основу политического символического универсума. Смысл таких технологий – «материализовать» абстрактные конструкции символического универсума, наполнить их конкретными фактами, событиями, действиями. В итоге мифы и идеологии как бы получают подтверждение в среде реальных взаимодействий и поступков конкретных людей, они начинают восприниматься как данность, как объективная реальность.

Осознает ли себя человек как *animal symbolicum*? В большинстве случаев вряд ли. И дело не только в подчас искренней уверенности в рациональности своего поведения, в способности трезво оценивать свое участие в политической жизни общества. Символическое настолько органично встраивается в структуру личности, что индивид не замечает, как оно руководит его мотивацией при выборе той или иной модели поведения, как оно влияет на его восприятие политических событий и действий политических акторов. Свою зависимость от политических символов индивид ощущает только тогда, когда попадает в чуждую, незнакомую символическую среду. Он сразу утрачивает способность ориентироваться в политическом пространстве, ему с трудом удается идентифицировать намерения участников политических акций, он как бы становится слепым и к тому же утратившим важные смысловые ориентиры. Символическое – это для человека и «ворота» в политическую реальность, и способ обретения точки опоры в сложном комплексе политических отношений, и сама политическая реальность.

Литература

- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. – М.: Медиум, 1995. – 323 с.
- Бурдьё П. Социология политики. – М.: Socio-Logos, 1993. – 336 с.
- Гарфинкель Г. Обыденное знание социальных структур: документальный метод интерпретации в профессиональном и непрофессиональном поиске фактов // Социологическое обозрение. – М., 2003. – Т. 3, № 1. – С. 3–19.
- Кассирер Э. Опыт о человеке: Введение в философию человеческой культуры // Проблема человека в западной философии: Переводы / Сост. и послесл. П.С. Гуревича; Общ. ред. Ю.Н. Попова. – М.: Прогресс, 1988. – С. 3–30.
- Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – М.: Искусство, 1995. – 320 с.
- Малинова О.Ю. Конструирование смыслов: Исследование символической политики в современной России / РАН ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки. – М., 2013. – 421 с.
- Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М.: Наука, 1976. – 407 с.
- Мид Дж. От жеста к символу // Американская социологическая мысль. Тексты / Под ред. В.И. Добренькова. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С. 215–224.
- Пушкарева Г.В. Когнитивные механизмы конструирования политической реальности // Полис. Политические исследования. – М., 2015. – № 1. – С. 55–70.
- Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности / Под ред. В.А. Попова. – М.: Восточная литература РАН, 1995. – 350 с.
- Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. – М.: РОССПЭН, 2004. – 1056 с.

Г.И. Мусихин*

КОНЦЕПТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИМВОЛИЗАЦИИ КАК ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ПОЛИТИКИ

Аннотация. Специфическое содержание политической символизации выводится из анализа теории символа, созданной немецким романтизмом. Автор утверждает, что современные исследователи в области социальных наук пользуются высоким «репутационным статусом» символа как особой эстетической реальности, но при этом отказываются от содержания, обусловившего этот статус. Политическая символизация концептуализируется в статье как множественность смыслов политической коммуникации, конвенциональность которых заранее не обеспечена. Внимание акцентируется на том, что говорить, думать и знать в контексте политики приходится одновременно. Поэтому концептуальный акцент делается не на политической онтологии, гносеологии и семантике как таковых, но на взаимосвязях в политическом сообществе. Понимание речи как социальной символизации помогает выйти за рамки восприятия политических символов как «картины мира» или «зеркала реальности». Процесс политической символизации состоит в коллективном смысловом взаимодействии, не только воспроизводящем существующие смыслы, но и производящем новые.

Ключевые слова: теория символа; политический романтизм; политическая символизация; символический синтез.

G.I. Musikhin

The concept of political symbolization as a dialectical conception of politics

Abstract. The article draws substance of political symbolization from the theory of the symbol, introduced by the German Romantics, who highly valued symbols as a matter of human aesthetics. Author exposes the contradiction between the use of the

* Мусихин Глеб Иванович – доктор политических наук, профессор департамента политической науки НИУ ВШЭ, e-mail: glebmus@yandex.ru

MusikhinGleb, Higher School of Economics (Moscow, Russia), e-mail: glebmus@yandex.ru

symbol's «privileged status» in the dimension of aesthetics and neglect of its very essence in the social sciences. Political symbolization is conceptualized in terms of multiplicity of unstated meanings in communication within political context. Political actors speak, think and know in political context simultaneously. Therefore, the conceptual focus of the research is not on the political ontology, epistemology and semantics as such but on the relationships in the political community. The understanding of language as a social symbolization goes beyond the perception of political character as a «world view» or «mirror of reality». The process of political symbolization is a collective interaction of meanings not just reproducing the existing meanings but generating new ones as well.

Keywords: theory of symbol; political romanticism; political symbolization; symbolic synthesis.

Существует устойчивое мнение¹, что символ – это разновидность знака [Кассирер, 2002, с. 21–28; Lacan 1997, p. 65–68]. Даже если семантически это так, меня в первую очередь интересует обстоятельство, которое лежит на поверхности, но которому не уделяется должного внимания. Почему символ обладает качеством, которое можно фигурально назвать *«смысловой и эстетической респектабельностью»* – особенно в сравнении со знаком, который так и остается инструментальным понятием анализа? И если символ – всего лишь разновидность знака, как ему удалось выбраться в интеллектуальные и эстетические «аристократы», хотя его «знаковая семья» осталась в «подмастерьях»?

Здесь особенно важно посмотреть, когда понятие и слово «символ» стало приобретать такое привилегированное значение, и почему это произошло [см. подробнее: Мусихин 2015 а, с. 130–144].

Понятие символа как разновидности знака можно зафиксировать еще у Аристотеля и проследить далее через все Средневековье и Новое время. Это сама по себе захватывающая история. Однако я не буду на ней останавливаться, благо это уже сделано задолго до меня Цветаном Тодоровым [Тодоров, 1998]. Он же обнаружил *исток эстетического и интеллектуального взлета символа, и имя этому истоку – немецкий романтизм*.

Именно в эстетике романтизма следует искать корни того направления художественного творчества, которое получило название *символизм*. При этом немецкий романтизм никогда не ограничивался «чистым искусством», так как политическая направленность творчества многих немецких романтиков была очевидна [Schmitt, 1925; Мусихин, 2002, с. 37–52]. «Парадокс» в том, что именно ро-

¹ Хотя есть и исключения [см.: Гиренок, 2010].

мантики стали родоначальниками концепции «искусства для искусства». Я не случайно взял слово «парадокс» в кавычки: здесь следует говорить не о парадоксальности, а о *диалектичности*. Как известно, Гегель во многом опирался на диалектические идеи, сформулированные именно романтиками (в частности, Шеллингом).

Можно сказать, что немецкий романтизм наделил понимание символа новым смыслом, которым были «очарованы» многие представители искусства и интеллектуального творчества в последующие 200 лет. Хотя можно предположить, что многие из них не осознавали, «откуда ноги растут». В основе этого нового понимания лежала конфронтация с *рационализмом* Просвещения. Максимум, на что был способен последний, по мнению Адама Мюллера, это на изобретение, но «не в изобретении, а в открытии состоит сущность познания... Не в массе внешних явлений ищет оно проявление полноты жизни, но в собственном, одушевленном, плодотворном ощущении жизни» [Müller, 1920, S. 120]. По мнению романтика, картезианский рационализм выхолащивает жизненные явления, делая их всего лишь *знаками* своей системы, но жизненные реалии «не желают только обозначать и объяснять, они хотят чувствовать и захватывать» [Müller, 1920, S. 126].

Романтизм отвергает аналитическое рационалистическое исследование действительности, заменяя его не-рациональным (для кого-то иррациональным, для кого-то диалектическим) слиянием (синтезом) с реальностью. Именно такой *синтетический* подход стал одним из главных орудий романтизма в споре с аналитическим «разделением» органически целостной реальности. По мнению Новалиса, последователи Декарта превратили «бесконечную прекрасную музыку мироздания в монотонный скрип чудовищной мельницы, которая приводится в движение потоком случайностей и по этому же потоку плывет “мельница в себе”, без создателя и мельника, своеобразный запретный *perpetuum mobile*, мельница, перемальывающая саму себя» [цит. по: Greiffenhagen, 1977, S. 85].

Романтики упрекали картезианский рационализм в статичности, предложив в качестве альтернативы «*динамическую концепцию разума*», согласно которой «мысль не должна писать портрет мира – она должна сопровождать его движение» [Манхейм, 1994, с. 627], т.е. «вместо того, чтобы рассматривать мир как вечно меняющийся в отличие от статичного Разума», романтизм «представляет сам разум и его нормы как меняющиеся и находящиеся в движении» [Greiffenhagen, 1994, S. 616].

Неудивительно, что превалирующий акцент в романтическом взгляде на мир – это акцент эстетический, даже если речь идет о сферах жизни, далеких от мира прекрасного. И если Маркс видел свою философию в политэкономии, то для романтизма *философией была эстетика*. И именно поэтому символ у романтиков занимает особое, привилегированное место. В духе своего мировосприятия романтизм *перенес акцент символизации с взаимоотношений реальности и символа на взаимодействие автора и создаваемого им символа*. Сходство между символом и символизируемой реальностью не исчезло, однако формальное подобие перестало быть для него определяющим, сходство стало определяться наличием тождественной внутренней структуры реальности и динамического разума автора.

Как это ни парадоксально (точнее, как ни диалектично), романтический символ как прекрасное бесполезен, так как утилитарное имеет свою цель вне себя самого, а романтически истолкованное прекрасное не нуждается в оправдании внешнего порядка. Оказывается, что *символ* прекрасен в той мере, в какой он нетранзитивен, т.е. (в диалектической логике) *целостен*. Символу можно уподобиться, но его нельзя разложить на составные элементы и перевести в другую форму.

В таком понимании *символ не есть разновидность знака*, символ есть *завершение диалектической триады «означаемое – означающее – символ»*. То есть символ содержит в себе и то, что обозначалось, и сам знак, но все это присутствует в нем в снятом виде и не составляет сущность символа как такового. Более того, для романтизма первостепенное значение имеет не новое качество символа как состояния и значения, а то, что *символ не есть состояние как статус, но всегда становление как процесс*. Можно сказать, что романтики первыми поставили проблему *символизации* как процесса становления в противоположность *обозначению* как ставшему. Это в очередной раз отсылает нас к предложенной романтиками динамической модели разума, которую Фридрих Шлегель так проиллюстрировал на примере философствования: «Как только человек думает, что стал философом, он перестает им становиться» [цит. по: Тодоров 1998, с. 201].

Именно эстетически понятый концепт *становления* охватывает все романтическое понимание действительности вообще и политической действительности в частности. Особенно это относилось к символической эстетизации романтиками государства. Как отмечал Карл Шмитт, романтики рассматривали «государство

как произведение искусства» [Schmitt, 1925, S. 172], которое должно создаваться государственными деятелями, осуществляющими государственное управление как творческий процесс, так как «одухотворенное государство поэтично само по себе» [Novalis, 1931, S. 182].

В связи с этим становится более понятным намерение Адама Мюллера «сплавить Бёрка и Гёте в чем-то более высоком третьем» [цит. по: Schmitt, 1925, S. 60]. Это «высокое третье» *символизирует* государство как нерасчленяемое единство, не сводимое к сумме составных частей. Именно такому государству «нужно платить налоги с тем же чувством, с каким даришь цветы любимой» [Schmitt, 1925, S. 173–174].

Истолкованное таким образом государство противопоставлялось конвенционально понимаемому политическому сообществу Просвещения. Романтическое государство было результатом уникального, а потому *неконвенционального* коллективного творчества, в ходе которого происходит *символизация* политической власти, что ведет к уникальному коллективному самоосознанию, создающему *Staatspersönlichkeit*, государство-личность, которое «не возникло по воле индивидов, так как оно само великий индивид» [Joachimsen, 1922, S. 146].

Это был принципиально иной способ толкования политики, в котором «государство историко-политической действительности являлось только случайным произведением искусства по отношению к производительной творческой деятельности романтического субъекта» [Schmitt, 1925, S. 172]. Сейчас бы это назвали *коммуникативным подходом к политике*, но в контексте столкновения принципов Великой французской революции и *ancien régime* это получило идеологизированную оценку как эстетское и мистическое бегство от реальности. И справедливости ради следует признать, что такая оценка не была безосновательна, так как именно немецкий романтизм стал одним из родоначальников немецкого консерватизма, причем в его реставрационной ипостаси. Реставрационные пристрастия не позволили романтикам «операционализировать» свои интеллектуальные прозрения в рамках современной им политической философии. Как бы изящно они ни выдавали политическую архаику за романтическую эстетику, в актуальном политическом пространстве она оставалась архаикой.

Собственно эстетической теории романтизма «повезло» больше, так как она оказала существенное влияние на развитие всей европейской культуры. Именно романтизму принадлежит

инновационная идея о креативной роли языка, который не только передает мысли и смыслы, но и способен производить их.

Романтическая интерпретация языка связана с уже упоминавшейся динамической концепцией разума, в рамках которой *язык как речь* есть непрерывное становление, которое невозможно объяснить надлежащим образом, опираясь только на конкретные высказывания. Язык как становление содержит в себе механизм производства нового смысла как приращения *нового качества*, которого не было в непосредственно произносимых словах; оно появляется только как результат интерактивного *толкования*, и результат этого толкования *не предопределен*. Показательно, что этот эвристический подход к языку заимствовал у романтиков Вильгельм фон Гумбольдт, один из родоначальников теории языка в Германии и убежденный *либерал*, оппонент политического романтизма. Фраза Гумбольдта: «в языке, как в непрестанном горении человеческой мысли, не может быть ни минуты покоя, ни мгновения полной остановки. По своей природе он представляет собой устремленное вперед развитие, движимое духовной силой каждого говорящего» [Гумбольдт, 1984, с. 158] – вполне органично звучала бы и из уст Фридриха фон Шлегеля или Новалиса.

Такое динамическое понимание языка согласовывалось с динамическим пониманием романтической *символизации*, которая отличается от *обозначения* тем, что акцент делается на процессе *экспрессии* в противовес процессу подражания и *репрезентации*. Подобным образом понятая символизация продуцирует *импрессию* как особое воздействие на участника *коммуникации*. Поэтому слова в процессе символизации – это не знаки предметного мира, а образы того, кто говорит и встречает отклик у слушающих, т.е. *выразительность доминирует над репрезентативностью*. Именно в этом смысле следует понимать слова Новалиса: «Образ – это не аллегория, не символ чего-то иного, он – символ самого себя» [Novalis, 1931, S. 174].

Предложенный романтизмом символический синтез (или синергия) получил особенное распространение в сфере искусства и теории эстетики. Во многом благодаря романтикам искусство стало трактоваться как сфера, в контексте которой выражается то, что нельзя сказать с помощью языка как системы знаков, даже если это словесное искусство. Поэтому символизация сопровождается разговором не о том, что невозможно выразить, а об ассоциа-

циях (число которых не predetermined, а потому не согласуемо), вызываемых изначальной художественной идеей как источником символизации¹.

Тем самым в романтической интерпретации символизации возникает понятие *несказуемого*, которое проявляется во множественности «вторичных» толкований вследствие изначальной недостаточности конкретного смысла, адекватного логике. Можно сказать, что в процессе символизации *означаемое выходит за рамки означающего*, но не как само означаемое, а только в *толкованиях участников коммуникации*. В контексте *несказуемого* следует понимать слова Фридриха Шлегеля о том, что символы являются представлениями «элементов, которые сами по себе непредставимы» [цит. по: Тодоров, 1998, с. 227], поэтому, например (и здесь уже подключается старший из братьев Шлегелей – Август Вильгельм), только «прекрасное есть символическое выражение бесконечного» [Schlegel, 1964, S. 81–82].

Здесь будет крайне полезна отсылка к кантовской «Критике способности суждения», которая иллюстрирует очевидный *софизм современных социальных наук*, пользующихся понятием символ как рядоположенной разновидностью знака: «Хотя это и принято новейшими логиками, но слово *символический* употребляют неправильно и искажают его смысл, если противопоставляют его интуитивному способу представления; ведь *символическое есть только вид интуитивного*» (курсив мой. – Г. М.) [Кант, 1966, с. 373]. Софизм состоит не в том, что современные науки об обществе отказываются от романтической трактовки символа. В этом, конечно же, нет ничего предосудительного – несмотря на парадигмальный академический диктат [Кун, 1975], концептуальную свободу никто не отменял. Софизм в том, что *современные исследователи пользуются высоким «репутационным статусом» символа как особой эстетической реальностью, обоснованной романтизмом, но при этом отказываются от содержания, обусловившего этот статус* [Бурдые, 1993, с. 66–67; Малинова, 2010, с. 90–105; Edelman, 1967].

Нечто подобное в свое время произошло со знаменитым принципом «священной частной собственности». Священность и неприкосновенность собственности была обоснована Джоном Локком, который рассматривал собственность не просто как вла-

¹ Примечательно, что о чем-то подобном писал Кант, только в ином философском контексте [Кант, 1966, с. 333].

дение, а как часть личности, преобразованную трудом (для удовлетворения жизненных потребностей личности) часть природы. В этой концептуальной логике собственность действительно священна и неприкосновенна, так как священна и неприкосновенна сама личность. Все, что сверх этого, в логике Локка может быть признано законным, но священным и неприкосновенным не является [Локк, 1988, с. 276–291]. Однако со временем «манчестерский либерализм» и его последователи изъяли из локковской концепции собственности гуманистический и деятельностный компоненты, оставив только владение как таковое, которое при этом продолжало оставаться священным [Батиста, 2012].

Символизация как множество неконвенциональных смыслов коммуникации

Возьму на себя смелость утверждать: именно несказуемость или интуитивность символа, что в современных терминах можно концептуализировать как *множественность смыслов коммуникации, конвенциональность которых заранее не обеспечена*, следует считать *сутью процесса символизации* вообще и политической символизации в частности. В свое время наиболее полно и последовательно особое качество символа проанализировал Гёте, который не был последовательным романтиком, однако в понимании символического был солидарен с романтизмом. Гёте провел *систематическое сравнение символа с аллегорией*; именно с последней символ сейчас отождествляют довольно часто [Тодоров, 1998, с. 234–239].

Первое отличие символа и аллегии касается *разной связи между означающим и означаемым*. В аллегории означающее существует для того, чтобы мы сразу же увидели в нем означаемое. В символе означающее сохраняет свою ценность и «непрозрачность». То есть если аллегория транзитивна, то символ нетранзитивен и синтетичен одновременно. Иными словами, аллегория ориентирована только на понимание, а символ – на восприятие и понимание одновременно. Второе отличие состоит в том, что аллегория проявляет свое значение непосредственно, а символ – косвенно. Существование аллегии не самостоятельно, смысл ее существования не в ней самой, а в том, что она означает. Символ же существует *для самого себя* в диалектическом смысле (не «в себе» и не «для другого»), хотя эти состояния и содержатся в син-

тезе в снятом виде). Третье различие проистекает из отношения обозначения. Если в аллегории это отношение *предмет – объект*, то в символе это отношение *предмет – идеал*. Когда мы хотим зафиксировать значение (а не толкование) символа, мы всегда делаем это в логике частного примера, поэтому в интерактивном толковании мы можем видеть «сквозь» частный пример (но не вместо него) общий смысл символа. Четвертое различие относится к способу *восприятия*. Когда (и если) мы воспринимаем символ, проявляется его косвенный смысл (смыслы), и именно это производит символический эффект, который не предзадан и не предсказуем. Восприятие аллегории происходит конвенциональным образом через ее заученный смысл (значение). Поэтому символизация всегда *лаконична* – в отличие от большинства эксплицитных курсов, которые могут быть сколь угодно пространственными.

Таким образом, *аллегория как знак и символ как символ*, по мнению Гёте, различаются не логикой перехода означающего в означаемое (последняя присутствует и в символизации в снятом виде), а *способом возникновения общего смысла в частном*: «В аллегории явление превращается в понятие, понятие в образ, но так, что понятие по-прежнему содержится в образе, и его можно целиком сохранить и выразить в образе. В символах явление превращается в идею, идея в образ, но так, что идея остается бесконечно активной и недоступной в образе, и даже будучи высказанной на всех языках, она остается неизречаемой» [цит. по: Тодоров, 1998, с. 239]. Можно сказать, что Гёте в данном высказывании проводит мысль о том, что смысл аллегории фиксирован и конвенционален, т.е. конечен, а смысл символа неконвенционален, поэтому бесконечен, следовательно, если он и подлежит фиксации, то контекстуальной.

В рамках романтической традиции было предпринято еще одно принципиально различие. Это различие *символизации и схематизации*. Строго говоря, данное различие не есть заслуга романтизма. О нем писал и Кант в своей «Критике способности суждения». Однако у последнего это различие не носит принципиального характера, так как схематизация и символизация согласуются по форме рефлексии, различаясь по ее содержанию [Кант, 1966, с. 373].

В собственно романтической традиции соотношение аллегории, схематизации и символа дал Шеллинг, используя классическую диалектическую логику соотнесения: «Тот способ изображения, в котором общее обозначает особенное или в котором

особенное созерцает себя через общее, есть схематизм. Тот же способ изображения, в котором особенное обозначает общее или в котором общее созерцается через особенное, есть аллегория. Синтез того и другого, где ни общее не обозначает особенного, ни особенное не обозначает общего, но где и то и другое абсолютно едины, есть символ» [Шеллинг, 1966, с. 106].

Тем самым Шеллинг обозначил уникальное место символа, характерное для романтической мыслительной традиции. Данная уникальность в романтической интерпретации состоит в том, что он *одновременно и существует, и имеет значение*, при этом *акцент* в разном контексте может делаться на *разные модусы* (в каких-то случаях принципиальнее толкование символа как существующего, в каких-то ситуациях важнее обсуждение его значений). Эта непредзаданная множественность воплощений и толкований символа привела к тому, что понятие символа в романтизме совпадало с понятием прекрасного.

Эстетический «шлейф» политической символизации как угроза визуализации

Можно утверждать, что именно эстетическая безупречность и смысловая плюральность романтически понятого символа сделала его столь популярным элементом творчества и рефлексии. Символ при этом вышел в своей популярности далеко за пределы искусства, в том числе в сферу толкования политического. Однако «шлейф эстетического» сохраняется за процессом символизации в любой сфере применения символа (и в рефлексии политики также). Это ведет к тому, что символическое содержание политики зачастую отождествляется с визуализацией политического, так как визуальное восприятие символического является наиболее простым и доступным для толкования. Тем самым существует *двойная угроза ошибочного восприятия*.

Во-первых, если оставаться в рамках романтического толкования символа, *не всякий комплекс визуальных знаков в политике есть символ*, т.е. не все визуальные политические знаки запускают неконвенциональный процесс символизации, ведущий к коллективному самоосознанию. Во-вторых, политическую символизацию нужно искать в первую очередь *не в визуализации смыслов, а в самих смыслах*, которые в подавляющем большинстве случаев представлены не зрительными образами, а речевым толкованием.

Иначе говоря, политические символы – это не картинки, это слова. И даже если «картинка» становится политическим символом, то только потому, что словесно истолкована, хотя слова при этом могут не произноситься и не фиксироваться.

Однако нужно помнить, что толкование, запускающее процесс политической символизации, происходит только в том случае, если одновременно осуществляется производство смысла и выражается несказуемое. При этом принципиальное значение имеют *не объекты толкования* как таковые, а *позиции тех, кто толкует*.

Поэтому можно утверждать, что действительная политическая символизация всегда непрогнозируемое явление. Политический символ обладает «ментальностью», которой лишены политические знаки. Процесс реальной символизации ведет к мгновенной целостности, которая не сводима к последовательности моментов. Вследствие этого *корректнее говорить именно о политической символизации, нежели о политических символах*, так как символ есть скорее специфическая *деятельность, а не продукт последней*.

Специфичность политической символизации как деятельности состоит и в том, что она (символизация) способна создать *эффект чувственного (квази-осязаемого) присутствия*, так как множественное толкование политических идей через символизацию «сжимается в точку» явления, которое происходило лишь «как бы», но в коллективном восприятии наделяется большей явленностью, нежели реальные события.

Эту особенность способности суждения Кант в свое время обозначил как суждение о возвышенном [Кант, 1995, с. 182–185]. Данная логика суждения, относясь не к символизации как таковой, тем не менее, взятая как когнитивная матрица, удачно накладывается на объяснение возникающего в ходе символизации эффекта чувственного присутствия.

Множественность толкования и потому нетранзитивность политической символизации ведет к тому, что последняя, образно говоря, «не помещается в головых». Эта *эпистемологическая ограниченность коллективного опыта порождает коллективное воображение как элемент самоосознания*. Фантазия замещает чувственный опыт, как если бы она сама была таковым. Мы не можем чувственно ощутить свободу, справедливость или единение государства со своими гражданами. Однако «*I have a dream*» или «Братья и сестры» в 1941 г. создают (создавали) эффект мгновенного присутствия в коллективной жизни: либо свободы и справедливости (в первом случае), либо единения государства с гражданами (во втором).

Политическая символизация как преодоление границ между «политическим разумом», «политическим знанием» и «политическим языком»

Устойчивые дискурсы как «языковые обычаи» способны изказать рациональное осмысление политической реальности. Достаточно устойчивы в наше время научные дискурсы о языке, о разуме и о знании. Во многом поэтому *анализ языка политики, компетенций политики и политической информации* рассматриваются академическим сообществом как *самостоятельные* модулы политической реальности. При этом очевидно, что *говорить, думать и знать в контексте политики приходится одновременно*, и разделение этих сфер возможно только теоретически или аналитически, а значит, оправданно только в случае приращения понимания политики, происходящего вследствие такого разделения как очевидного допущения. Если такого приращения не происходит, то вышеназванное разделение выглядит более чем сомнительным [см. подробнее: Мусихин, 2015 b, с. 45–57].

Можно признать, что все три вида деятельности (говорить, думать и знать) связаны с созданием сферы символического в жизни человека вообще и в политической реальности в частности. *Политические идеи, как никакие другие, являются результатом интерактивного взаимодействия, выступая, в свою очередь, стимулом этого взаимодействия.* Даже самое глубокое знание о политике как результат изошренного размышления о ней возникает для того, чтобы быть *рассказанным* как можно большему количеству людей. Именно *диалог* – самая устойчивая и критически необходимая форма политического общения со времен античности [Derrida, 1997; Festenstein, Thompson, Rorty, 2001]. Даже *грамотность как таковая (умение читать и писать) в политике не столь необходима, как делиберация.*

Следует отметить, что именно распространение грамотности стало цензовым фактором современной политики, маскируя ее символическое содержание. Грамотность создала фундамент для возможности теоретического и аналитического разделения политического слова, политической мысли и политического знания. Однако в процессе политической делиберации это разделение претерпевает символическое снятие (достаточно вспомнить, сколь неуместно выглядит политик, читающий по бумажке правильные слова).

Причины разделения мыслительного, познавательного и языкового модулов политики, конечно же, выходят далеко за рамки

политического контекста. Во многом это следствие исторически сложившихся стереотипов о природе человека, согласно которым *человеческий разум* выступает в качестве «*независимой переменной*» по отношению к языку и познанию. Что может быть «естественнее» отождествления разума с «вечными» законами логики? В сравнении с этой константой сонм меняющихся человеческих языков представлялся как сфера, нуждающаяся в автономном изучении. То же относилось и к процессу постоянного накопления (или потери) знания, сопровождавшемуся выработкой специфических инструментов познания.

Разделение исследования сфер разума, знания и языка не будет проблематичным, если просто признать за этими понятиями существование трех различных областей анализа, которыми *de facto* занимаются разные сообщества ученых. Однако вышеназванное разделение приобретает сомнительный смысл, если отождествлять эти три понятия с различными функциями, которые в лучшем случае *каким-то образом* соединяются между собой, образуя «целостность» человеческой личности. Более того, самый поверхностный экскурс в историю покажет, что даже такое стабильное понятие и слово, как «разум», было подвержено сильному влиянию веяний «интеллектуальной моды». Разум мог быть на пике популярности (во времена Просвещения), а мог подвергаться интеллектуальным «гонениям» (в период расцвета постмодернизма). Поэтому взаимосвязь между разумом, знанием и языком может быть полнее понята, если концентрироваться именно на символическом характере самой взаимосвязи и ее динамики, а не на онтологических основаниях данных трех понятий, так как динамика их онтологии может заблокировать исследование как таковое (достаточно назвать имена И. Канта и К. Леви-Строса, чтобы осознать возникающие на этом пути сложности) [Кант, 1999; Леви-Стросс, 1994].

Акцент на символическом характере взаимосвязи между разумом, знанием и языком концентрирует внимание не на политической онтологии, гносеологии и семантике как таковых, не на понимании природы «человека политического» (*homo politicus*) и не на поведении индивидуального политического актора, но *на взаимосвязях в политическом сообществе*. Мы фиксируем и анализируем повторяющуюся коллективную необходимость ясно выразить в стандартизированной знаковой форме политическую позицию по отношению к отправителю и получателю политического сообщения. Этого недостаточно для понимания структур языка, знания и мысли *в качестве* субстанциональных, сущест-

вующих будто бы независимо от людей, которые говорят, думают и знают о политике. Но именно такая эпистемологическая «скромность» позволит нам опираться на особенности строения языка, мысли и знания в политическом сообществе, способных к политической символизации.

Можно отметить, что даже чистый анализ тех или иных функций из аналитически разделенных сфер политики имплицитно предполагает наличие привнесенного компонента из другой сферы, но анализ осуществляется с допущением, что такого привнесения не было [см.: Lasswell, Smith, Casey, 1946]. Значительное число исследований политического языка сосредоточиваются на анализе языка как такового, не задаваясь вопросом о том, как могут существовать речевые акты без знания того, о чем говорить [см.: Wodak, 1989; Герасимов, 2002]. Лишь на первый взгляд такой вопрос не нужен вследствие очевидности. Тот же дискурс-анализ в лучшем случае фиксирует «платоновскую тень» того, что и как мы знаем о том, что мы знаем. Мы изучаем политические процессы, события и представления не иначе, как через языковую систему, даже если это выражено в количественных показателях, зачастую не акцентируя внимание на том, что *многие смыслы производятся именно при соприкосновении сферы языка и знания о политике.*

Ориентация на функциональную разделенность проявлений человеческой рефлексии вообще и политической в частности отражается и на терминологическом уровне. В науке принято пользоваться термином «мышление», реже – термином «разум» и фактически никогда – термином «дух». Хотя так было не всегда. Вспомним гегелевскую диалектику абсолютного духа и немецкую академическую традицию «Geistgeschichte» [Дильтей, 2004]. Современное символическое понятие «дух» возникает в среде немецкого романтизма, противопоставлявшего аналитическому рационализму органический символический синтез [см. об этом: Шеллинг, 1966; Mueller, 1920; Novalis, 1931; Schlegel, 1964]. При этом и рационально-аналитическое понимание разума, и органически-символическое понимание духа исходят из одного и того же допущения *об ожидаемой последовательности возможных будущих действий без реального совершения каких-либо действий.* И если для символического органицизма это естественное состояние, символизирующее ожидание будущего, то аналитический функциональный подход пытается замаскировать лаг между реальностью и не-реальностью, называя это научным прогнозом, хотя степень достоверности такого прогнозирования в политике

весьма сомнительна. Поэтому *если сравнивать выражения «духовная сфера» и «функции мышления», то последнее более научно только стилистически, но не фактически.*

Лишь обозначив относительность аналитического разделения мышления, знания и языка, можно сделать интуитивное допущение, что именно язык (как речь) – тот элемент интеграции, который соединяет эти три сферы в символическое целое. Если прибегнуть к метафоре, то данное единство можно уподобить устройству *телескопической трубы, где именно язык выполняет роль механизма схлопывания и раздвижения сфер мышления и познания.* В этом смысле язык – не только средство коммуникации, но и способ ориентации в сферах мышления и знания. Символические конструкции языка действительно снимают различия между мыслительным и познавательными процессами вообще и между политической информацией и ее осмыслением в частности. И именно при помощи языка мы можем актуализировать эти различия. Анализируя символическое пространство политики, можно увидеть пространство политических смыслов и понять их соотношение, а через это увидеть политическое сообщество как таковое, а не только как совокупность структурных и функциональных элементов.

Символический синтез политической реальности лучше других способов позволяет понять разнообразие политических сообществ (так же как разнообразие языков очевидным образом демонстрирует разнообразие человеческих сообществ). При этом процесс политической символизации не есть одностороннее действие или воздействие. *Символическое пространство политики возникает как спонтанное неконвенциональное социальное взаимодействие, порождающее при этом устойчивые (и уже конвенциональные) модели отношений.* Их было бы неверно отождествлять с процессом политической символизации, в противном случае будет заблокирован способ понимания возникновения нового политического качества. Это то же самое, что отождествить структуру языка с самим смыслообразованием: тогда получится, что язык самим фактом своего существования делает невозможным индивидуальное мышление вообще.

Политическая символизация между реальностью и фантазией

Возникшие из политической символизации модели социальных отношений способны оказывать снимающее воздействие на коллективную память. Значительная часть *информации из прошлого не будет отрицаться целенаправленно, она просто не будет воспроизводиться в символических конструкциях*. Будет происходить символическое «телескопическое» сжатие социальных воспоминаний и генерализация фрагментов прошлого, актуальных для политического сообщества в тот или иной момент времени. Это показывает *символическую основу того, что мы называем фантазией или воображением*. Передача генерализованной информации о несуществующем составляет важную часть политической жизни, и было бы упрощением называть это ложью или дезинформацией. Хотя К. Маркс в свое время так и сделал, назвав подобную генерализованную фантазию идеологией [Маркс, 1960]. Однако политические фантазии как знание о несуществующем не исчерпываются идеологией.

Риску предположить, что *без воображения массовая самоидентификация в политике была бы невозможна*. Люди в массе своей не владеют полной политической информацией; более того, лакуны реальных знаний о политике, как правило, очень велики [см.: Converse, 1964]. Эти лакуны и заполняются *политическими фантазиями, которые в какой-то степени конгруэнтны политической реальности, но самой этой реальностью не являются*. Во многом именно поэтому подавляющее большинство граждан даже в развитых либеральных демократиях не разбираются в идеологиях как таковых, но когда дело доходит до выбора, «невежественный» электорат почему-то делает безошибочный идеологический выбор [Carpini, Keeter, 1996], т.е., не разбираясь в доктрине социализма, его сторонники выбирают правильно, так же как и сторонники консерватизма.

Можно допустить, что политические фантазии присущи политической элите в не меньшей степени, нежели неэлитным группам граждан. Экспертное знание еще не означает способности реального воздействия на жизнь социума. Мировой финансовый кризис 2008 г. не стал неожиданностью для экономистов, однако политическая элита «грезила» об обратном, формируя тем самым реальную цепь политических событий.

Если посмотреть на политическую действительность, то можно обнаружить явную особенность, на которую не обращают должного внимания. Если дело касается важных вопросов, мы никогда не услышим от политиков фразы: «Я не знаю / мы не знаем», хотя реальность незнания и неспособности дать адекватное действительности объяснение в политике встречается довольно часто. Факт незнания или неспособности объяснения всегда маскируется *риторическими языковыми конструкциями*, которые в пространстве политической символизации есть *как будто бы знание, понимание и объяснение*. При этом «как будто бы» в ходе символической политической генерализации понятий опускается (или телескопически схлопывается) [Луман, 2001].

Риторические политические конструкции действительно до некоторой степени конгруэнтны реальности, поэтому нельзя просто сказать, что «политика – грязное дело». Люди тысячелетиями видели восход и закат Солнца, давая объяснение как этому событию, так и тому, что такое Солнце. И только в XX в. стало возможным эмпирически обоснованное научное знание о том, что есть Солнце (не факт, что это знание полное и окончательное). И это имело место в случае со знанием физических явлений, не обладающих, в отличие от социума и индивида, способностью к причиненной причинности [Кант, 1964]. Поэтому можно сказать, что *политические фантазии есть символическое выражение политической реальности*. О чем-то подобном говорил М. Фуко, доказывая реальность и производительную силу дискурса [Фуко, 2012]. Однако, на мой взгляд, дело обстоит шире и глубже, так как политические символические конструкции не обязательно являются дискурсами.

Необходимо осознавать, что политические «грезы» – неотъемлемая часть осмысления политической реальности. Символический потенциал производства политических фантазий не менее важен для существования сообщества, чем поиск истины. Подобный процесс политической символизации вырабатывает устойчивые модели *должного*. Если реальности должного и действительного близки по смыслу – называем это рациональной (разумной) политикой; если эти реальности расходятся, речь идет об иррациональности в политике. При этом *рациональное и иррациональное* в данном контексте есть идеальные типы, которые *снимаются как полярные противоположности символическим характером человеческого мышления*. Сочетание рационального и иррационального создает реальную ткань политической действительности как интерактивного взаимодействия. В ходе интеракции отнюдь не все

политические фантазии проходят проверку реальностью, как и не все факты получают статус существующих со стороны политического воображения. Это не предзаданный и не конвенциональный процесс политической символизации, но именно он позволяет сохранять автономию как индивидуальных, так и коллективных суждений о политике, несмотря на попытки политических технологий поставить эти суждения под контроль. Иначе разнообразные антиутопии, рисующие картины полного контроля над коллективным и индивидуальным сознанием, давно стали бы реальностью.

Сама политическая реальность, понимаемая символически, включает элемент политической фантазии, так же как последняя предполагает отсылку к политическим фактам. В связи с этим можно говорить о специфическом коллективном чувстве политической реальности (в кантовском смысле *sensus communis* из «Критики способности суждения» [Кант, 1995]). Неспособность позитивистского видения политики к анализу такого чувства политической реальности привела к разрыву между теорией культуры и современной политической наукой. В результате ссылка на то, что культура влияет на политику, стала бессодержательной и не подлежащей аналитической операционализации. Позитивистский эмпиризм превратил культуру в *беспричинную причину политических событий*. Данное «превращение» заключается в объяснении всех социально и политически значимых событий культурной принадлежностью как таковой. Это можно проиллюстрировать знаменитой концепцией о столкновении цивилизаций [Хантингтон, 2003]. С. Хантингтон объясняет грядущее столкновение разных культур их разным культурным происхождением. Фактически такой подход можно описать следующим тезисом: христианская и исламская цивилизация столкнутся, и мы не знаем, почему.

Игнорирование не-позитивистского символического содержания политики делает культуру *последней, но бессодержательной инстанцией объяснения политики*. Зачастую исследователи обращаются к концепту культуры только в случае, если все остальные подходы не дали никаких результатов. Когда экономические, демографические, организационные, политические, экологические и прочие объяснения исчерпывают себя, в ход идет культура, которая «такова, какова она есть, так как она такова» [Thompson, Verweij, Ellis, 2006]. При этом представляется трюизмом, что театр, живопись, литература и другие виды художественной культуры взаимодействуют с политикой, и взаимодействие это – социальное и интерактивное. То есть ни у кого в научном сообществе не вызывает

возражений, что коллективно воспринимаемый и репродуцируемый художественный вымысел так или иначе находится в состоянии взаимовлияния с политической жизнью. Более того, подобного рода фантазии имеют социальный характер, ибо индивид, оставшийся один на один со своими фантазиями без всякого выхода в социум, может представлять опасность как для других, так и для себя. Такие социальные фантазии, зачастую находясь в очевидной конфронтации с рационально выведенным знанием, тем не менее стимулируют развитие мышления вообще и рационального восприятия политики в частности. При этом механизмы символизации могут сделать эту взаимосвязь непредсказуемой. Вспомним знаменитый лозунг в Италии времен ирредентизма: «Viva Verdi!», который стал зашифрованным призывом к освобождению и объединению страны (V.E.R.D.I.: по-итальянски аббревиатура «Виктор-Эммануил король Италии»).

**Вместо заключения:
Политическая символизация
как производство новых смыслов**

*Понимание речи как социальной символизации помогает нам выйти за рамки понимания политических символов как «картины мира» или «зеркала реальности». Тем самым мы можем преодолеть ложную альтернативу, трактующую язык либо как «окно» в политическую реальность, либо как «занавес», эту реальность прикрывающий. Выход за пределы подобных пространственных метафор осуществляется через понятие *смысла*. Слова имеют смысл, только если мы имеем дело с речью как процессом социальной коммуникации. Процесс *политической символизации* состоит не только (и не столько) в передаче определенным образом закодированной знаковой информации, он состоит в коллективном смысловом взаимодействии, *не только воспроизводящем существующие смыслы, но и производящем новые*. Новые смыслы могут возникнуть как продукт индивидуального интеллектуального творчества, но символическое значение они приобретают только в результате социального взаимодействия.*

Это символическое значение всегда неразрывно связано с политической реальностью, либо соответствуя ей, либо отворачиваясь от нее (искажая ее). Для нас принципиально важно, что и то и другое *имеет смысл*. Политические фантазии не менее значимы, чем

экспертное знание о реальных политических процессах. И в том и в другом случае общие понятия образуют общий смысловой фонд языка, понятный и тем, кто грезит, и тем, кто анализирует. Это общает *политической символизации универсальную коммуникативную функцию*.

При этом нужно помнить о том, что политическая символизация синтезирует в себе как когнитивные искажения, произведенные языковой знаковой системой, так и эпистемологические «постулаты», которые могли бы быть верны независимо от политической конъюнктуры. Для примера можно вспомнить часто воспроизводимое экспертным сообществом аксиоматическое утверждение «рынку нет альтернативы», которое на самом деле *символизирует* ситуативный социально-политический консенсус экспертного сообщества о преимуществе рыночного механизма над плановым. В данном случае для нас не является первостепенно значимым, имеет ли место идеологическая иллюзия или ситуативное экспертное соглашение об истине, принципиально важно, что и в том и в другом случае участникам политической коммуникации *понятно*, о чем *идет речь*, а значит языковое толкование как средство политической коммуникации обладает очевидной самостоятельностью, но одновременно принципиально важно то, кто именно им пользуется.

Здесь возникает извечный вопрос о курице и яйце: что же первично – социально структурированная модель политических смыслов и значений или ситуативно складывающаяся речевая ситуация? Однако мы не должны забывать, что в случае с политической символизацией метафора эволюции бессмысленна (т.е. ошибочна). *Политическая символизация не эволюционирует, а развивается*. Новое качество (появление смысла) возникает из существующего массива знания тех, кто им обладает. Однако акт возникновения не является результатом конвенции коммуницирующих, но сам выступает основой нового соглашения о смыслах.

Символы, будучи посредниками между объектами и субъектами, обладают способностью быть *почти* идентичными с действительностью, но самой действительностью не являясь. Это и есть тот «зазор», производящий новые социальные смыслы, так как мы можем посмотреть на социальную реальность и изнутри, и со стороны, символически отождествляя себя с ней и одновременно абстрагируясь от нее. Подобное символическое отождествление и абстрагирование делают трудноразличимой, а порой *бессмысленной* границу между политическими фактами и политическими фантазиями. И то и другое мы знаем; и то и другое мы способны

отождествлять с политической реальностью и отделять от последней. Принципиально значимым здесь является то, запускается ли процесс политической символизации (на фактической или иллюзорной основе), ведущей к коллективной самоидентификации.

Литература

- Батиста Ф. Кобден и Лига. Движение за свободу торговли в Англии. – Челябинск: Социум, 2012. – 732 с.
- Бурдые П. Социология политики. – М.: Socio-Logos, 1993. – 336 с.
- Герасимов В.И. Политический дискурс-анализ // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2002. – № 3. – С. 61–71.
- Гиренок Ф.И. Автография языка и сознания. – М.: МГИУ, 2010. – 176 с.
- Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. – М.: «Прогресс», 1984. – 400 с.
- Кант И. Критика способности суждения. – СПб.: Наука, 1995. – 512 с.
- Кант И. Критика чистого разума. – М.: Наука, 1999. – 653 с.
- Кант И. Сочинения: В 6 т. – М.: Мысль, 1964. – Т. 4. – 543 с.; М.: Мысль, 1966. – Т. 5. – 564 с.
- Кассирер Э. Философия символических форм. Язык. – М., СПб.: Университетская книга, 2002. – Т. 1. – 271 с.
- Кун Т. Структура научных революций. – М.: Прогресс, 1975. – 288 с.
- Леви-Стросс К. Первобытное мышление. – М.: Республика, 1994. – 384 с.
- Локк Д. Сочинения: В 3 т. – М.: Мысль, 1988. – Т. 3. – 436 с.
- Луман Н. Власть. – М.: Праксис, 2001. – 256 с.
- Малинова О.Ю. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // Полис: Политические исследования. – М., 2010. – № 2. – С. 90–105.
- Маркс К. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – М.: Политиздат, 1960. – Т. 3. – 689 с.
- Мусихин Г.И. Концептуализация политической символизации // Полис: Политические исследования. – М., 2015 а. – № 5. – С. 130–144.
- Мусихин Г.И. Россия в немецком зеркале (сравнительный анализ германского и российского консерватизма). – СПб.: Алетей, 2002. – 256 с.
- Мусихин Г.И. Символизация как контекстуальный синтез политической онтологии, политической эпистемологии и политического языка // Общественные науки и современность. – М., 2015 б. – № 6. – С. 45–57.
- Тодоров Ц. Теория символа. – М.: Дом интеллектуальной книги, 1998. – 408 с.
- Фуко М. Археология знания. – СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2012. – 416 с.
- Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2003. – 603 с.
- Шеллинг Ф.В.Й. Философия искусства. – М.: Мысль, 1966. – 496 с.
- Carpi D.M., Keeter S. What Americans know about politics and why it matters. – New Haven: Yale univ. press, 1996. – 397 p.
- Converse P. The nature of belief systems in mass publics // Ideology and discontent / Apter D. (ed.). – N.Y.: Free press, 1964. – P. 206–261.

- Derrida J. Politics of friendship. – L.: Verso, 1997. – 308 p.
- Edelman M. Myths, metaphors and political conformity // *Psychiatry*. – Oxford, 1967. – N 3. – P. 217–228.
- Festenstein M., Thompson S. Richard Rorty: Critical dialogues. – Cambridge: Polity press, 2001. – 256 p.
- Greiffenhagen M. Das Dilemma des Konservatismus in Deutschland. – München: Piper Verlag, 1997. – 425 S.
- Joachimsen P. Zur historischen Psychologie des deutschen Staatsgedanken // *Dioskuren*. – München, 1922. – Bd. 1. – S. 106–177.
- Lacan J. *Ecrits: A Selection*. – N.Y.: Norton, 1997. – 384 p.
- Lasswell G.D., Smith B.L., Casey R.D. Propaganda, communication and public order. – Princeton: Princeton univ. press, 1946. – 435 p.
- Müller A. Vorlesungen über die deutsche Wissenschaft und Literatur. – München: Drei Masken Verlag, 1920. – 231 S.
- Novalis. *Fragmente // Einführung in die romantische Staatswissenschaft / Baxa J.* (Ed.). – Jena: Gustav Fischer, 1931. – S. 152–187.
- Schlegel A.W. *Die Kunstlehre*. – München: Kohlhammer, 1964. – 338 S.
- Schmitt K. *Politische Romantik*. – München: Duncker & Humblot, 1925. – 234 S.
- Thompson M., Verweij M., Ellis R.J. Why and how culture matters // *The Oxford handbook of contextual political analysis / Goodin R.E., Tilly C.* (ed.). – Oxford: Oxford univ. press, 2006. – P. 319–340.
- Wodak R. *Language, power and ideology: Studies in political discourse*. – Amsterdam: Walter Benjamins, 1989. – 288 p.

Б. Петерссон *

ЛЕГИТИМНОСТЬ, ПОПУЛЯРНОСТЬ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО МИФА: СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУССИИ

Аннотация. В статье рассматривается применение концепции легитимности в недемократических средах, где легитимность не основывается на легально-рациональных принципах (в веберовском смысле). В частности, рассматриваются и сравниваются харизматическая легитимность и личная популярность. На основе полученных общих выводов автор обращается к современной российской политике и анализирует основания личной поддержки президента В. Путина и дилеммы, которые могут возникнуть в процессе передачи политической власти.

Ключевые слова: легитимность; рационально-легальная; традиционная и харизматическая легитимность; миф; популярность; передача власти.

B. Petersson

Legitimacy, popularity and the construction of political myth: Contemporary discussions

Abstract. The article discusses the application of the concept of legitimacy to non-democratic settings where legitimacy is built on grounds that are not legal-rational in the Weberian sense. In particular, Weberian-type charismatic legitimacy and individual popularity are discussed and compared. Finally, and against the backdrop of these general perspectives, the article addresses contemporary Russian politics and the basis of popular support for president Putin personally, as well as the dilemmas that may lie ahead once that a process of political succession unfolds.

* **Петерссон Бу**, PhD., профессор кафедры политической науки, международной миграции и межэтнических отношений и заместитель декана по научным исследованиям Факультета культуры и общества Университета Мальмо, Швеция, e-mail: bo.petersson@mah.se

Petersson Bo, Malmö University (Sweden), e-mail: bo.petersson@mah.se

Keywords: legitimacy; legal-rational; traditional and charismatic legitimacy; myth; popular support; succession of power.

Концепт легитимности имеет долгую историю в политической науке и общественной мысли. Согласно общепринятому определению, легитимность понимается как широко распространенное убеждение «в том, что правительство, институт или лидер имеют право на управление» [Encyclopedia Princetoniensis, 2014]. Иными словами, легитимность связана с всеобщим убеждением в том, что существующая организация власти является правильной, приемлемой, справедливой и держится на согласованных правилах. На уровне индивидов легитимность может быть определена как психологическая черта [Tyler, 2006], выражающая такое убеждение. В силу легитимности люди чувствуют, что они должны подчиняться решениям и правилам, и следуют им добровольно, на основе обязанности и ответственности перед другими, а не из страха наказания или в расчете на вознаграждение. Это не то же, что действовать из страха принуждения или потому что власть убеждает вас, суля экономические блага. Между убеждением и принуждением – большая разница, что легко подтвердит любой родитель. Именно поэтому легитимность так важна для успеха власти.

Как еще в конце 1960-х годов отмечал Герберт Келман, чтобы национальное государство работало эффективно, основные принципы его идеологии должны разделяться населением [Herbert Kelman, 1969]. Способность добиваться добровольного согласия от большинства людей в силу их чувства обязанности позволяет государству и обществу функционировать в периоды дефицита, кризиса и конфликта. Она создает запас поддержки, на который можно положиться при неблагоприятных обстоятельствах, – поддержки, которая не зависит от личного интереса или принуждения. Это эквивалент диффузной реципрокности (the diffuse reciprocity), о которой в 1980-е годы так много говорили исследователи теории игр. Напротив, когда необходимое согласие между правителями и управляемыми исчезает, социальный порядок в конечном счете распадается. В этой ситуации Левиафан может пасть.

Значительная часть современных академических дискуссий о легитимности отталкиваются от веберовских идеальных типов рационально-легальной, традиционной и харизматической легитимности [Weber, 2006, p. 157–158]. Именно первый из этих трех типов, обнаруживаемый в педантичной приверженности конституционным правилам и опирающийся на мандат народного согла-

сия, считается основой зрелой и устойчивой легитимности современных демократий. Но даже если так, уже из пионерских работ Вебера было ясно, что западный идеальный тип легитимности – не единственный способ социальной организации, позволяющий добиться внутреннего оправдания и стабильности государства. Более того, даже если легитимность в сущности хорошая вещь, с нею связан и потенциальный риск. О нем напоминает тот же Герберт Келман: посредством легитимности люди наделяют других людей правом действовать от их имени, в результате они могут начать думать, что их собственное поведение уже не нуждается в моральной оценке, если оно согласуется с преобладающими убеждениями [Herbert Kelman, 1969] или с тем, что я бы назвал политическими мифами. Другими словами, когда политический лидер, полагаемый легитимным, побуждает людей действовать определенным образом, они могут согласиться именно потому, что он легитимен, а не потому, что они считают рекомендуемое поведение моральным или правильным. В действительности оно может быть совершенно аморальным. Это особенно сомнительно, когда легитимность правителя покоится не на рационально-легальных, а на харизматических основаниях.

С нормативной точки зрения вопрос о том, можно ли применять данное понятие в недемократическом контексте, нередко становится предметом споров [Peter, 2014]. Уделяя должное внимание опасности концептных натяжек [Pakulski, 1986], многие исследователи тем не менее адаптировали концепт легитимности к контексту недемократических государств [Political legitimacy... 1995; Schlumberger, Bank 2001; Regime legitimacy... 2008], а также международных отношений [Hurd, 2008] и даже международных организаций [Beetham, Lord, 1998] и компаний [Tyler, 2006]. Я разделяю этот подход. Вне зависимости от того, являются ли основания легитимации демократическими, можно говорить, что государство цементируется чем-то помимо принуждения или материальных интересов, ибо обретение и поддержание социальной стабильности, которая опирается на тот или иной тип легитимности, имеет огромные последствия и для внутренней политики государств, и для их поведения на международной арене.

Адаптируя веберовский концептуальный аппарат к советской политической системе, Т.Г. Ригби некогда предложил понятие целерациональной легитимности, вырастающее из логики, согласно которой цель (например, построение коммунизма) оправдывает средства [Political legitimation... 1982]. Позже попытку диверсифи-

цировать веберовскую триаду предпринял Лесли Холмс, включивший в число подтипов легитимности эвдемонический¹ тип, согласно которому народное согласие поддерживается до тех пор, пока сохраняется минимальный уровень достатка [Holmes, 1997]. Здесь разница между легитимностью и приемлемостью оказывается минимальной. Тем не менее этот тип полезен для анализа многих современных стран, включая и Россию. В связи с этим стоит также указать на имеющееся в более поздней литературе различие между размытой (*more diffuse*) и долговременной легитимностью, опирающейся на общность ценностей правителей и управляемых (легитимность «на входе»), – и легитимностью «на выходе» [McDonough, Barnes, LópezPina, 1986; Scharpf, 1999], или легитимностью, определяемой функционированием власти (*performance-based legitimacy*) [Burnell, 2006], которая зависит от способности политических лидеров обеспечивать блага. Считается, что второй вариант не столь долговечен и подвергается эрозии в периоды экономического спада. Это немаловажный фактор для современной России. Думаю, здесь мы можем на время опустить различие между легитимностью и приемлемостью, чтобы вернуться к нему позже.

Легитимность не возникает из воздуха; убеждение людей в том, что организация власти является приемлемой, справедливой и поддерживается в соответствии с согласованными правилами, нуждается в некоем идейном основании. Эти основания можно назвать легитимирующими идеологиями, или основополагающими нарративами, или социальными убеждениями, или этосами, – или легитимирующими политическими мифами, как предпочитаю называть их я. Они являются политическими, поскольку затрагивают фундаментальные основания распределения власти и авторитета в обществе; и они являются легитимирующими, поскольку рассказывают убедительные для значительного числа людей истории о том, почему это устройство является приемлемым, справедливым и основанным на согласованных правилах.

Что я понимаю под мифами? Моя интерпретация данного понятия несколько отличается от тривиальной и повседневной. Как напоминает Кьяра Боттичи, миф не имеет отношения к неправде в философском смысле слова [Bottici, 2007]. Конечно, мифы могут быть неправдой – или правдой; однако ни то ни дру-

¹ Эвдемонизм – направление этики, которое признает, что ценность морального действия заключается в его способности приносить счастье. (*Прим. перев.*)

гое в действительности не имеет значения, поскольку единственное, что важно, – это то, что значительное количество людей относятся к ним так, как если бы они были правдой. Главное – то, что они выражают культурное знание, которое воспринимается как естественное и считается «разумеющимся» в бартовском смысле слова. В интересах политических элит стремиться стать самыми заслуживающими доверия хранителями знаков (the most credible keepers of the seal) – теми, кто лучше всех воплощает мифы и больше всех старается действовать в соответствии с ними. Мифы поддерживают легитимность лидеров, особенно искусных в этой игре. Если их население не разделяет общие представления о том, почему за их национальное сообщество стоит сражаться, если государство лишено такой мотивирующей силы, в конечном счете немногое может сохранить его целостность [Rouhana, 1997].

Самое лучшее определение мифа – самое краткое: миф – это «важная история» [Boer, 2009, p. 9]. Политические мифы – это нарративы, которые считаются правдой существенной группой людей или на основании которых действует такая группа [Pettersson, 2013]. Внешне все политические мифы могут распознаваться как истории или нарративы, однако, как указывают Боттиче и Шаллан, «не все нарративы способны обрести статус мифа» [Bottici, Challand, 2013, p. 4]. Точнее говоря, нарратив становится мифом, когда получает широкое признание как правда или как нечто очевидное и не подлежащее критической проверке.

Каким образом история, рассказываемая мифом, оказывается важна? Почему она важна настолько, что люди широко принимают ее? Один из ответов заключается в том, что политический миф – это «общепринятый нарратив, который придает значение политическим обстоятельствам и опыту социальной группы» [Bottici, Challand, 2013, p. 92]. Кроме того, на коллективном уровне мифы вызывают «эмоциональную привязанность, которая мотивирует политическое действие [ibid., p. 4]. Последнее обстоятельство чрезвычайно важно: там и тут политические мифы выступают как приглашение к действию. Между легитимностью и политическим действием, с одной стороны, и политическими мифами – с другой, существует сильная связь, которая делает миф особенно важным предметом политического анализа, хотя порой ему и не уделяется достаточно внимания [ibid.].

Более того, политические мифы тесно переплетены с идентичностью, что может служить ответом на вопрос: почему истории, рассказываемые мифами, для многих столь важны? Мифы говорят с

людьми на эмоциональном уровне, причем так, что люди этого даже не замечают. Действительно, сети нарративов, из которых состоит национализм и другие банальные и возбуждающие «измы», состоят из политических мифов [Billig, 1995; Petersson, 2009]. Они образуют ментальные структуры включения и исключения, определяющие, кто принадлежит к данному сообществу, а кто нет.

Вполне естественно, что политические мифы поддерживаются властями, поскольку они наделяют легитимностью и носителей власти, и проводимую ими политику [McDonald, 2010]. Если мифы пользуются успехом, они вписываются в политические практики, ритуалы и институты и закрепляются в преобладающих представлениях и нормах [della Sala, 2010]. Они становятся самоочевидными и редко подвергаются сомнению. В этом смысле политические мифы имеют большое сходство с концепцией изобретенных традиций, некогда предложенной Хобсбаумом и Рейнджером [The invention... 1983].

Однако это не означает, что политические мифы никогда не оспариваются или существуют в вакууме. Дункан Белл пустил в оборот понятие национального мифологического пространства (*national mythscapes*) – «протяженной во времени и пространстве дискурсивной сферы, где происходит борьба за контроль над памятью людей и непрерывно происходит обсуждение, оспаривание и ниспровержение мифов» [Bell, 2003, p. 66]. Белл подчеркивает, что мифы конструируются и формируются, причем «нередко с помощью намеренных манипуляций и целенаправленных действий» [ibid., p. 75]. В национальном мифологическом пространстве мифы находятся под постоянным давлением, поскольку они оспариваются и соперничают с другими конструируемыми мифами [Bell, 2003; Tranter, Donoghue, 2014]. И на уровне электората, и на уровне политических и иных элит имеет место то, что можно назвать непрерывной «проверкой на пригодность» [Clunan, 2014]. Это постоянное соревнование, в котором торжествуют мифы, выдерживающие такой тест. Если проверка успешно пройдена, тесты на пригодность служат для дальнейшей легитимации политических лидеров. С другой стороны, если мифы не выдерживают проверки, они переопределяются или заменяются, возможно, вместе с отстаивавшим их политическим лидером. Лишь действительно влиятельные мифы остаются практически нетронутыми на протяжении долгого времени. Именно они принимаются как должное и не подвергаются рефлексии. Например, Майкл Биллиг в своей известной книге напоминает (не используя термин «миф»), что наиболее могущественным и принимаемым на веру политическим

мифом XX в. является представление о нациях-государствах как основных кирпичиках или блоках политической карты западного мира [Billig, 1995].

Усложняя картину, Боэр высказал предположение о том, что политический миф подвержен внутренним противоречиям и может быть оспорен и ниспровергнут изнутри. Если политические элиты не действуют в согласии с мифом, его содержание может послужить фактором поражения инкубентов. Боэр называет это «коварством мифа» [Boer, 2009, p. 26]. Однако когда миф успешен, он создает «фикцию абсолютной правды» [ibid., p. 35], т.е. принимается как нечто несомненное. Многие политические лидеры стремятся утвердить истины, которые принимались бы на веру и тем самым легитимировали их власть.

Чтобы понять, что делает легитимирующие мифы «важными историями», нужно вернуться к вопросу об идентичности. Если принять тезис о том, что легитимность заключается в том, что люди рассматривают существующее распределение власти в обществе как приемлемое, справедливое и основанное на согласованных правилах, становится очевидно, что легитимность связана с когнитивной оценкой информации о поведении политиков. Эту картину необходимо дополнить эмоциями, т.е. вернуть в нее идентичность. Очевидно, что представления о «мы» не определяются исключительно когнитивно, они имеют и эмоциональную составляющую. Это обстоятельство отражает Ольга Малинова, когда пишет, что для политической риторики характерно тесное переплетение эмоциональных и когнитивных элементов [Малинова, 2015]. Без эмоционального клея ни одно политическое сообщество не сохранит свою целостность на протяжении долгого времени. И политические лидеры знают об этом.

То, что успешное конструирование политических мифов требует их переплетения с принципами национальной идентичности, – одновременно и дилемма, и ресурс для политических элит. Если такого переплетения не удастся добиться, миф может оказаться не релевантным и утратит свое значение; он даже может превратиться в объект для насмешек. Успешные политические мифы вбирают и выражают народные чувства и представляют широкие кластеры социальных убеждений [Bar-Tal, 2000], имеющих значение для повседневной жизни членов сообщества. Жизнеспособные политические мифы должны звучать в унисон с чувствами населения.

У всех наций, больших и малых, есть собственные политические мифы, обеспечивающие коллективные установки и основания для оправдания действий, а также представляющие «нас». Малые государства, вроде Швеции, могут повествовать, например, о своей уникальности в смысле социального обеспечения граждан и конструирования «дома для всех» (people's home) [Trägårdh, 2000]. Национальные лидеры Франции до сих пор утверждают, что их страна живет в соответствии с идеалами славы [Hellman, 2011], аполитические лидеры США постоянно твердят мантры об американской исключительности и предрасположенности к мировому лидерству [Lipset, 1988; Nye, Alterman, 2000]. Более того, политическое мифотворчество имеет место не только на уровне национальных государств. После холодной войны Европейский союз построил свой престиж и легитимность, претендуя на роль нормативной силы, что также требует серьезных усилий по конструированию политических мифов [Manners, 2002].

Набор и композиция политических мифов меняются от страны к стране, однако сам факт их наличия остается данностью. Что же в таком случае мы имеем в России? Она отнюдь не уникальна в своем стремлении связать национальную идентичность и широко распространенные политические мифы, и я бы сказал, что в этом отношении Россия похожа на другие государства.

В первую очередь и безотносительно к обстоятельствам с российской идентичностью сплетено притязание на признание в качестве великой державы [Lo, 2002, p. 20; Prizel, 1998]. Это главный политический миф, на основе которого очевидным образом строится национальное «мы». Его хорошо выражает часто цитируемое высказывание Владимира Путина в период его первого президентства о том, что «либо Россия будет великой, либо ее не будет» [цит. по: Shevtsova, 2003, p. 175]. По словам одного из наблюдателей, «великодержавная идентичность фундаментальна не только с точки зрения идентичности, но и для перспектив сохранения властного режима» [Vendil Pallin, 2009, p. 268]. Иными словами, кредитоспособность в качестве хранителя великодержавной традиции имеет ключевое значение для легитимности путинской администрации. Именно с учетом этого нужно оценивать чрезмерно настойчивые действия России на международной арене, будь они направлены против Грузии, Украины или Сирии.

В российском мифологическом пространстве можно выделить и другой политический миф, имеющий существенное значение для анализа политической динамики, хотя и не столь важный,

как миф о великой державе. Это твердая вера в первостепенную ценность политической стабильности, поддерживаемой твердой рукой стоящей у руля власти, альтернативой чему являются периодически наступающие смутные времена.

Третий могущественный политический миф – вера в высокую духовность России, вечно осаждаемой интригами агрессивно-го Запада.

Вернемся теперь к различию между долговременной легитимностью и кратковременной популярностью [McDonough, Barnes, LópezPina, 1986; Bratton, van de Walle, 1992; Rose, Munro, Mishler, 2004]. В общем и целом первая носит более системный характер и больше закреплена в общности ценностей правителя и управляемых, тогда как вторая опирается скорее на личные характеристики, нежели на институциональное устройство. Если рассуждать, опираясь на веберовскую триаду, популярность ближе всего к харизматическому идеальному типу легитимности. Их не так просто развести друг с другом, однако в принципе можно сказать, что различие связано с временными горизонтами. Популярность – краткосрочный товар, это очевидно каждый раз, когда рейтинги правительства идут вниз всего лишь через несколько месяцев после выборов. Харизматическая легитимность – самый недолговечный тип легитимности, но она все же более основательно упрочена, нежели простая популярность. Харизматическая легитимность может ускользать, однако она не исчезает за одну ночь, скорее – постепенно утекает от политиков, которые некогда ею обладали. Опять же, следуя веберовскому сценарию, имело бы смысл воспользоваться харизматической легитимностью для формирования легитимности рационально-легальной, ибо последняя более прочно закреплена в институциональной организации и лучше выдерживает проверку временем.

Однако нельзя говорить о хронологическом и одностороннем переходе от популярности к харизматической легитимности и далее – к легитимности рационально-легальной. Как предупреждают некоторые исследователи, легитимность и популярность могут быть противоположны друг другу. Так, Владимир Гельман пишет, что стремление президента Путина опираться на личную популярность и высокие рейтинги доверия может быть препятствием для развития рационально-легальной легитимности государственных институтов. Между первой и второй – поистине каннибалистское отношение [Gel'man, 2010]. Конечно, это создает проблемы: высокие рейтинги доверия президента Путина сосуществуют с низким доверием госу-

дарственным институтам, и такая ситуация едва ли может быть устойчивой на протяжении долгого времени.

И Гельман, и Стивен Фиш высказывают предположение, что предположительно менее прочной может быть легитимность по умолчанию, связанная с отсутствием жизнеспособных альтернатив [Gel'man, 2010; Fish, 2001]. Но действительно ли это легитимность? Не идет ли речь скорее о приемлемости? В любом случае такая легитимность слишком далека от веберовского идеального типа легальной рациональности, даже если она кажется отдаленно похожей на традиционную легитимность. Такой баланс выглядит сомнительным. Если дела пойдут не слишком гладко, это может вызвать разочарование, что в конечном счете приведет к появлению соперников, даже если прежде их не было. С точки зрения лидера, может показаться, что эту проблему нужно решать, уповая на магию, апеллируя к эмоциям и пытаясь выжать все возможное из популярности или даже харизматического лидерства. И здесь мы имеем дело с уродливой обратной стороной легитимности, о которой шла речь выше: люди могут мириться с поведением, согласующимся с распространенными политическими мифами, даже если стороннему наблюдателю оно будет казаться очевидно аморальным.

Это фундаментальная дилемма, связанная с политическим преемничеством, поскольку ни один харизматический лидер не живет вечно. Может ли легитимность, не закрепленная в представлении о том, что организация власти приемлема, справедлива и опирается на согласованные правила, продолжаться несмотря на смену поколений политических лидеров? Более того, может ли она передаваться, как эстафетная палочка, от инкумбента к преемнику? Традиционная легитимность Вебера несомненно обладает такой способностью, однако организация власти, опирающаяся на харизматическую легитимность, выглядит в данном случае более проблематично.

Таким образом, лидер, который не смог или не захотел обеспечивать процесс рационально-легальной легитимации и не основал династию, которая будет ему наследовать, независимо от собственных усилий делать противоположное, готовит почву для затяжной борьбы за власть после своего ухода. Новые претенденты, чтобы привлечь сторонников, скорее всего, перейдут в политическое наступление, изобретая новые легитимирующие мифы или используя старые. Это процесс с неопределенным исходом; его наблюдатели в

стране и за рубежом, скорее всего, будут страстно желать материализации веберовского типа легально-рациональной легитимности с ее четко установленными правилами передачи власти.

Литература

- Малинова О.Ю. Миф как категория символической политики: Анализ теоретических развилков // Полис: Политические исследования. – М., 2015. – № 4. – С. 12–21.
- Bar-Tal D. Shared beliefs in a society: Social psychological analysis. – L.: Sage, 2000. – 232 p.
- Beetham D., Lord C. Legitimacy and the EU. – L.: Longman, 1998. – 144 p.
- Bell D. Mythscapes: memory, mythology and national identity // British journal of sociology. – L., 2003. – Vol. 54, N 1. – P. 63–81.
- Billig M. Banal nationalism. – L.: Sage, 1995. – 200 p.
- Boer R. Political myth: On the use and abuse of biblical themes. – Durham: Duke univ. press, 2009. – 254 p.
- Bottici C. A philosophy of political myth. – N.Y.: Cambridge univ. press, 2007. – 286 p.
- Bottici C., Challand B. Imagining Europe: Myth, memory, and identity. – N.Y.: Cambridge univ. press, 2013. – 205 p.
- Bratton M., Walle N., van de. Popular protest and political reform in Africa // Comparative politics. – Chicago, Ill., 1992. – Vol. 24, N 4. – P. 419–442.
- Burnell P.J. Autocratic opening to democracy: Why legitimacy matters // Third world quarterly. – L., 2006. – Vol. 27, N 4. – P. 545–62.
- Chen C. Institutional legitimacy of an authoritarian state: China in the mirror of Eastern Europe // Problems of post-communism. – Armonk, NY, 2003. – Vol. 52, N 4. – P. 3–13.
- Clunan A.L. Historical aspirations and the domestic politics of Russia's pursuit of international status // Communist and post-communist studies. – Oxford, 2014. – Vol. 47, N 3. – P. 281–290.
- Encyclopedia Princetoniensis. – 2014. – Mode of access: <http://pesd.princeton.edu/?q=node/255> (Дата посещения: 03.10.2014.)
- Fish M.S. When more is less: Superexecutive power and political underdevelopment in Russia // Russia in the new century: Stability or disorder? / V.E. Bonnell, G.W. Breslauer (eds). – Boulder: Westview press, 2001. – P. 15–34.
- Gel'man V. Regime changes despite legitimacy crises: Exit, voice, and loyalty in post-communist Russia // Journal of Eurasian studies. – Oxford, 2010. – Vol. 1, N 1. – P. 54–63.
- Hellman M. «Le petit coq gaullois» or «the global diplomat»? How France's self-image is reflected in the press discourse on the United States, 1984–2009 // International journal of cultural studies. – L., 2011. – Vol. 14, N 1. – P. 53–70.
- Herbert Kelman C. Patterns of personal involvement in the national system: a sociopsychological analysis of political legitimacy // International politics and foreign policy / Ed. J. Rosenau. – N.Y.: Free press, 1969. – P. 276–88.
- Holmes L. Post-communism: An introduction. – Durham, NC: Duke univ. press, 1997. – 384 p.

- Hurd I. After anarchy: Legitimacy and power in the United Nations Security Council. – Princeton, N.J.: Princeton univ. press, 2008. – 221 p.
- Lipset S.M. American exceptionalism reaffirmed. *International // Review of sociology*. – N.Y., 1988. – Vol. 2, N 3. – P. 25–69.
- Lo B. Russian foreign policy in the post-Soviet era: Reality, illusion and mythmaking. – Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002. – 223 p.
- Malinova O. (2014) «Spiritual Bonds» as state ideology // *Russia in Global Affairs*. – 2014. – 18 December. – Mode of access: <http://eng.globalaffairs.ru/number/Spiritual-Bonds-as-State-Ideology-17223> (Дата посещения: 16.03.2016.)
- Manners I. Normative power Europe: a contradiction in terms? // *Journal of common market studies*. – Oxford, 2002. – Vol. 40, N 2. – P. 235–258.
- McDonald M. «Lest We Forget»: The Politics of Memory and Australian Military Intervention // *International political sociology*. – Malden, MA, 2010. – Vol. 4, N 3. – P. 287–302.
- McDonough P., Barnes S.H., LópezPina A. The growth of democratic legitimacy in Spain // *The American political science review*. – Washington, D.C., 1986. – Vol. 80, N 3. – P. 735–760.
- Nye J.S. Bound to lead: The changing nature of American power. – N.Y.: Basic Books, 1990. – 307 p.
- Pakulski J. Bureaucracy and the Soviet system // *Studies in comparative communism*. – Oxford, 1986. – Vol. 19, N 1. – P. 3–24.
- Peter F. Political legitimacy // *The Stanford encyclopedia of philosophy* (Spring 2014 Edition) / Edward N. Zalta (ed.). – 2014. – Mode of access: <http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/legitimacy/> (Дата посещения: 03.10.2014.)
- Petersson B. Hot conflict and everyday banality: Enemy images, scapegoats and stereotypes // *Development*. – Cambridge, 2009. – Vol. 52, N 4. – P. 460–466.
- Petersson B. The eternal great power meets the recurring times of troubles: Twin political myths in contemporary Russian politics // *European studies: A journal of European culture, history and politics*. – Amsterdam, 2013. – Vol. 30. – P. 301–26.
- Political legitimacy in Southeast Asia: The quest for moral authority / Alagappa M. (ed.). – Stanford, Calif.: Stanford univ. press, 1995. – 446 p.
- Political legitimacy in communist states / Rigby, T.H. (ed.) – N.Y.: St. Martin's press, 1982. – 177 p.
- Prizel I. National identity and foreign policy: Nationalism and leadership in Poland, Russia and Ukraine. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1998. – 443 p.
- Regime legitimacy in contemporary China: Institutional change and stability / Heberer T., Schubert G. (eds). – L., N.Y.: Routledge, 2008. – 306 p.
- Rose R., Munro N., Mishler W. Resigned acceptance of an incomplete democracy: Russia's political equilibrium // *Post-Soviet affairs*. – Silver Spring, MD, 2004. – Vol. 20, N 3. – P. 195–218.
- Rouhana N.N. Palestinian citizens in an ethnic Jewish state: Identities in conflict. – New Haven: Yale univ. press, 1997. – 300 p.
- Sala V., della. Political myth, mythology and the European Union // *Journal of common market studies*. – Oxford, 2010. – Vol. 48, N 1. – P. 1–19.
- Scharpf F. Governing in Europe: Effective and democratic? – Oxford: Oxford univ. press, 1999. – 243 p.

- Schlumberger O., Bank A. Succession, legitimacy, and regime stability in Jordan // Arab studies journal. – Washington, DC, 2001. – Vol. 9/10, N 2/1. – P. 50–72.
- Shevtsova L. Putin's Russia. – Washington, DC: The Carnegie Endowment for International Peace, 2003. – 306 p.
- The invention of tradition / Hobsbawm E.J., Ranger T.O. (eds.). – Cambridge: Cambridge univ. press, 1983. – 320 p.
- Trägårdh L. Sweden and the EU: Welfare state nationalism and the spectre of «Europe» // European integration and national identity / L. Hansen, O. Waever (eds). – L.: Routledge, 2002. – P. 130–181.
- Tranter B., Donoghue J. National identity and important Australians // Journal of sociology. – L., 2014. – Mode of access: <http://jos.sagepub.com/content/early/2014/10/01/1440783314550057> (Дата посещения: 15.10.2014.)
- Tyler T.R. Psychological perspectives on legitimacy and legitimation // Annual review of psychology. – Palo Alto, Calif, 2006. – Vol. 57. – P. 375–400.
- Vendil Pallin C. Rysk utrikespolitik // Ryssland: Politik, samhälle och ekonomi / Eds. A. Jonsson, C. VendilPallin. – Stockholm: SNS förlag, 2009. – P. 248–269.
- Weber M. Politics as a vocation // Max Weber's complete writings on academic and political vocations / Dreijmanis J. (ed.). – N.Y.: Algora, 2006. – P. 155–207.

Перевод с англ. *О.Ю. Малиновой*,
доктор философских наук,
главный научный сотрудник ИНИОН РАН,
профессор МГИМО МИД России,
e-mail: omalinova@mail.ru

Г.Л. Тульчинский*

НАРРАЦИЯ В СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ: УРОВНИ И ДИАХРОНИЯ

Аннотация. В статье предлагается систематизация уровней нарративных практик в символической политике. Специальное внимание уделяется ситуации, складывающейся в современном цивилизационном опыте символизации прошлого.

Ключевые слова: идентичность; мифы; нарративные практики; символическая наррация; символическая политика.

G.L. Tulchinsky

Narration in symbolic politics: Levels and diachrony

Abstract. The article proposes systematization of the narration levels in the symbolic politics. Special attention is paid to contemporary situation in the civilization experience of symbolization.

Keywords: identity; myths; narrative practices; symbolic narration; symbolic politics.

Политика, как деятельность, связанная с формированием, удержанием, передачей власти, обеспечивающая целостность социума, внутренние и внешние условия его существования и развития, предполагает активное использование символических ресурсов. О возможностях такого рода технологий говорят политические и государственные деятели самого высокого уровня.

В большинстве политологических исследований эта проблематика рассматривается как «мягкая сила» (soft power, smart power),

* Тульчинский Григорий Львович, доктор философских наук, профессор департамента прикладной политологии НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург), заслуженный деятель науки РФ, e-mail: gtul@mail.ru

Tulchinsky Grigory, Higher School of Economics (Saint-Petersburg, Russia), e-mail: gtul@mail.ru

«символическая политика» (как *symbolic politics*, так и *symbolic policy*), «символическая власть» или даже сводится к пропаганде и манипулированию общественным сознанием [обзор концепций и понятийного аппарата этих обсуждений см.: Малинова, 2015], причем в синкретичном формате: преимущественно как некий смысловой контент, транслируемый элитами, располагающими медийными ресурсами. Такая модель «игры в одни ворота» или, модель двустороннего процесса (символическая политика «сверху» и снизу») сильно упрощает дело. За рамками рассмотрения оказываются специфика форм, каналов трансляции (презентации) символического (смыслового) содержания, многоуровневый характер структурирования и предъявления этого содержания. В результате сам механизм символической политики («мягкой силы») предстает чем-то вроде «черного ящика» вне объяснения как трансформаций в самом этом механизме, так и факторов этих трансформаций. Поэтому, на наш взгляд, требуется более конкретный подход, позволяющий различать специфические практики политического использования символических ресурсов. Можно выделить несколько направлений.

Настоящая статья не является результатом эмпирического исследования. Ее можно отнести к теоретико-рефлексивным работам, связанным с выработкой подходов и концептуального аппарата анализа [Штомпка, 2001; Ядов, 2009]. Во-первых, предлагается различение видов (уровней) символической презентации. При этом речь идет преимущественно о символической наррации – нарративных практиках, используемых в дискурсивных способах презентации символов и их интерпретаций. Такой подход представляется оправданным не только в силу ограниченного объема статьи, но и в силу того, что даже визуальная презентация символики так или иначе (в связи с ее интерпретацией), предполагает дискурсию, без которой невозможны анализ, объяснение, да и понимание тоже. Затем, во-вторых, рассматриваются возможности систематизации по типам символизации содержания в таких презентациях и формах этих презентаций. Такие конкретизации позволяют, в-третьих, говорить о диахронии символической политики, т.е. о различиях скорости динамики символизации на различных уровнях ее презентации. При этом если первые два направления практически разработаны и проблема заключается в их систематическом представлении, то третье видится наиболее важным, если не ключевым, в выявлении и осмыслении практических следствий реализации современных практик символической политики.

Особое внимание мы предполагаем уделить ситуации, складывающейся в современном цивилизационном опыте в связи с новыми возможностями символизации.

Уровни символической наррации

Символическая политика, как деятельность, связанная с производством определенных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование [Малинова, 2012], связана не только с выстраиванием приоритетов в балансе интересов социальных сил, но и с формированием картины мира в головах носителей этих интересов, которая, в свою очередь, определяет сценарии их поведения.

Практически любые (если не все!) феномены социальной реальности (события, тексты, изображения, личности, природные объекты и катаклизмы, артефакты культуры и т.п.) могут выступать предметами (и инструментами) символической политики. Таковыми они становятся при двух условиях:

1) они выступают в качестве предмета публичного дискурса – обсуждений, дискуссий, интерпретаций в публичном коммуникативном пространстве, прежде всего – в медиа. Вне публичного пространства они могут быть предметом спецопераций, кулуарных действий, которые, впрочем, в случае огласки тоже становятся инструментом символической политики;

2) в этих спорах и интерпретациях упомянутые феномены социальной реальности связываются с современным контекстом (проблемами, целями).

Второе условие втягивает в символическую политику прошлое (историю, исторические факты), образы будущего, которые тоже становятся средством символической политики. Наука, включая точные науки, количественные методы, будучи втянута в дискуссии о насущных проблемах развития социума, также выступает как часть (средства и технологии) символической политики.

Но в любом случае ключевую роль играет первое условие: чтобы сформировалось чувство единства личности с другими людьми, ее принадлежности конкретному социуму (нации, этносу, политической группе), важна возможность ее включения в разворачивающийся во времени сюжет, в котором данной общности отводится главная и позитивная роль [Bell, 2003]. Поэтому в символической презентации ключевую роль играют нарративы

(от лат. *narrare* – рассказывать) – языковая, дискурсивная практика повествования, разворачивания событий в некоей осмысленной последовательности, имеющей начало, сюжетику развития и финальную развязку.

Нарративы играют важнейшую роль в формировании быденного сознания и традиционного знания. Сказки, легенды, хроники, былины, житийные истории, эпос, биографии известных людей формируют и транслируют представления о происхождении данного социума (рода, племени, нации), важнейших событиях, славят героев, внушают гордость за своих предков, задают образцы нравственного поведения, отличия от соседей и чужезмцев. Тем самым нарративы символизируют действительность, наполняют ее смыслом, задают шаблоны и образцы интерпретации прошлого и настоящего, позволяя позиционировать данный социум, его представителей, выступая эффективным средством формирования, даже конструирования их идентичности [Sommers, 1994].

Со временем к традиционным нарративным средствам социализации добавились средства массовой информации, искусства, индустрия развлечений, система образования, гуманитарные науки. Особую роль при этом играет история, которая нередко и формируется, и развивается в качестве нарратологии по преимуществу: конкретный рассказ и заложенная в нем интерпретация [Уайт, 2002]. Не случайно именно на примере истории была предложена первая типология символической наррации, развертываемой на трех уровнях: информация, опосредованная воображением историка, собранная им из источников; риторика убеждения аудитории в правдоподобности предложенной смысловой схемы; политико-идеологические установки автора нарратива [Topolski, 1999]. Такая схема вполне адекватна и уместна применительно к позиционированию исторического исследования. Однако круг акторов символической наррации существенно шире. В этом процессе активно участвует практически весь политический класс – от высшего государственного руководства до местных депутатов и чиновников, ведущих журналистов и экспертов. Выступления и программы, нормативные акты, государственная символика, официальные ритуалы, церемонии, содержание учебников и учебных программ, памятные даты и праздники – далеко не полный перечень целенаправленного использования символической политики. Важную роль играют СМИ, обыденный опыт, практики и коммуникации: от раннего детства и семейного общения – до

фольклора и межличностных коммуникаций в быту, коммуникаций на работе и в свободное время.

К роли этих «групп влияния» мы еще вернемся, а пока стоит отметить, что, с учетом этой многофакторности и «многоакторности» практик презентации (трансляции) символического содержания, наррация предстает системой, реализующейся как минимум на трех уровнях [Тулчинский, 2015].

1. Демонстрация, череда событий, персонажей, документов, артефактов, формирующая фактологическую базу.

2. Агрегация этих фактов в хронологические и каузальные связи, образующие основу сюжетики.

3. Толкование этого целого, рефлексия над ним, выявляющая направленность процесса развития к финалу как «точке сборки» нарратива, раскрывающей смысл, а иногда и замысел происходившего.

Для пояснения можно использовать аналогию с наррацией кинотекста, также реализующегося на трех уровнях. Во-первых, как просто череда образов и сцен, формирующая узнавание, идентификацию (типичная нарративность видового, домашнего, иногда – документального кино, сюжетов Facebook, Instagram). Во-вторых, как монтаж этих сцен, выстраивающий последовательность, сюжет как пазл, в котором могут быть каузальные нестыковки целого. И, в-третьих, это нарратив в духе итогового рассказа Э. Пуаро или мисс Марпл в финале, достраивающего осмысление до выявления мотиваций персонажей, их ответственности за происшедшее. Иногда такую роль играет закадровый голос главного героя или автора. В иных случаях функцию толкования выполняет сама публика (зрители, критики, журналисты).

Подобно кинотексту, символическая наррация также не всегда реализуется на всех трех уровнях; однако для полноты осмысления необходим третий уровень. Именно наличие определенного изначально известного нарратору завершения приводит все сюжетные линии к одному смысловому фокусу. Поэтому очередной этап развития общества ведет к «сдвигу финала», открывая двери перманентному переформатированию смысловой картины.

О некотором совпадении с моделью Е. Топольски, однако, можно говорить только относительно первого уровня – эмпирической фактологии. Второй уровень в нашей модели не сводится к риторическим приемам убеждения. Это именно смысловое построение, суть которого состоит в выработке объяснения как выявления детерминаций, причинно-следственных связей, каузальности.

Третий уровень тоже строит объяснение, но уже не каузальности («почему?»), а телеологичности, целесообразности («зачем?»), – он предполагает выявление некоего замысла, целей, намерений, мотивации, порождающей или использующей каузальность. Более того, существует и обратная связь: уже на фактологическом уровне явным или неявным образом, но участвует нарратив третьего уровня, сказываясь на самом отборе фактов, критериях такого отбора, включая даже само их распознавание.

Конечно, для исследования практик символической презентации важно понимать ее многоуровневость, явное или неявное присутствие нарратива третьего уровня. Однако простого различения уровней наррации, возможностей их взаимодействия и сочетания недостаточно. Важно различать также сами способы и группы способов наррации на каждом из уровней.

Типы символической наррации

Как уже отмечалось выше, наиболее систематизированы (и давно) представления о содержании предъявляемых и транслируемых нарративов символического. Важно, что такое содержание формируется не произвольно. Для его формирования, развития, наращивания необходимы устойчивые смысловые и знаковые структуры, обеспечивающие кумулятивное приращение символических нарративов. Речь идет о мифах – фундаментальных метафорах, с помощью которых новое неизвестное уподобляется знакомому, делая непонятное понятным. Прирост знания, переход от незнания к знанию обеспечивается именно с помощью систематического уподобления, «зашнуровывающего» неизвестное с помощью известного [Лакофф, Джонсон, 2004; Тульчинский, 1995]. В принципе такие метафоры лежат в основе любого научного понятия (поле, сила, частица, напряжение, черные дыры, абсолютно твердое тело и др.). В этом плане с полным основанием можно говорить о научной мифологии.

Миф, как инструмент осмысления человеком действительности, с помощью которого действительность структурируется, снимает неопределенность, неизвестность, – стоит за реальностью, делая реальность реальной, понятной, осмысленной. Будучи эмоционально окрашенными нарративами, редуцирующими действительность к удобным для восприятия образам, стереотипам, мифы задают устойчивые схемы (рамки, фреймы) восприятия, понима-

ния и репрезентации действительности [Неклюдов, 2012]. Человек, как существо конечное в пространстве и во времени, не может жить в неупорядоченном мире, парализующем отсутствием ориентиров, непредсказуемостью, иллюзорностью, – он стремится найти некую структуру, порядок, устойчивость, закон, смысл, постоянно наполняя окружающий мир смыслами. Именно в этом заключена роль любой мифологии (обыденной, религиозной, политической, научной), задающей метареальность, открывающую человеку «большую реальность, чем сама реальность».

Только осмысленный мир существует реально, имеет подлинное бытие, которого так жаждет человек. Каждый социум существует внутри своей системы мифов вне зависимости от того, сознается это или нет. Этнографами был неоднократно и на разном материале зафиксирован факт, когда разрушение культовых объектов и сооружений вело к тяжелой депрессии, охватывавшей все племя [Элиаде, 1994, с. 17]. А в ситуации неопределенности возникает обостренный запрос на миф, восстанавливающий связность, понятность и осмысленность действительности, происходящего.

Существует великое множество концепций, теорий мифа и мифологического сознания. Не меньше и попыток их систематизации, теоретических интерпретаций самих таких систематизаций¹. Для нашего рассмотрения важно, что мифология постиндустриального общества массового потребления выстроена радикально иначе, чем в традиционной культуре, ищущей трансцендентное обоснование реальности в «иерофании» сакрального. Это культура мифа «здесь и сейчас» – едва ли не первая в истории человечества культурная формация, лишенная какой бы то ни было апофатичности, а полностью и исключительно катафатичная [Гульчинский, 2013]. Однако миф, как и транслирующее его общественное мнение, остается условием осмысления действительности, определяющим понимание, оценки, мотивацию, решения, поступки. Тем самым мифическое сохраняет свою роль. Сохраняется и типовый набор мифов, используемых в символической политике в качестве смысловых фреймов наррации. Укажем основные.

Миф основания – история о начале данного социума, оттуда «есть пошла наша земля». Вокруг этого мифа может идти нешуточная политическая борьба. Так, исторической колыбелью армянского народа и его культуры является Арцах, тогда как колыбелью

¹ Одну из наиболее полных попыток систематизации см.: [Segal, 1999].

азербайджанского этноса является Араратская долина. Исторической родиной сербского этноса является Косово. А сколько интифад начиналось в Израиле из-за мусульманских святынь на Храмовой горе – святыне иудеев и отчасти христиан тоже!

Миф происхождения – непосредственно примыкающая к мифу основания история об историческом моменте, с которого начинается отсчет истории социума. Так, в советской школе учебники отечественной истории начинались с государства Урарту, про которое нынешние школьники не знают ничего, полагая, что Русь началась с крещения Владимира – великого князя киевского. Правда, на эту точку отсчета претендует теперь и Украина.

Главными персонажами исторического мифа являются, прежде всего, *«отцы-основатели»*, *исторические деятели*, сыгравшие ключевую роль в формировании и развитии этноса. К ним примыкают *герои*, которым мы обязаны своим существованием и которые являются образцами нравственного и поведенческого подражания. В «пантеон» исторической наррации входят также деятели культуры, искусства, замечательные труженики, спортсмены.

События, важнейшие в истории. Среди них особую роль играет «великая-историческая-победа-над-смертельным-врагом». В случае крупного конфликта срабатывает его структурирование по модели «Герой – Враг – Жертва». Герой борется с Врагом, чтобы спасти Жертву, а сама Жертва может предстать в двух ипостасях: как victim – жертва-чего / кого-то, и как sacrifice – жертва-во-имя-чего / кого-то [см: Цымбурский, 2011, с. 349–353; Эткинд, 2016, с. 228].

С такими событиями связываются *места*, а также *даты*, позволяющие праздновать эти события, отмечать их юбилеи, приобщаться к ним.

Перечень мифологем исторической наррации дополняют изделия рук человеческих – как предмет особой гордости: от артефактов традиционных и этнографических искусств и ремесел – до достижений современной технологии. В принципе, мифологический «контент» достаточно стандартен и хорошо известен этнографам, специалистам по культурной идентичности и туристическому легендированию и брендингу стран и регионов [см., например: Ширинкин, 2014].

Специального внимания заслуживает систематизация форм символической презентации. Наиболее очевидны они на втором и третьем уровнях наррации, когда речь идет именно об интерпретационных (герменевтических) практиках истолкования. Разные исследователи уделяют им внимание, делая акцент на учебниках и

учебных программах [Историческая политика, 2012], литературе, других видах искусства [Эткинд, 2016], традициях, массовых мероприятиях, ритуалах, праздниках [The invention... 1983], прессе и других медиа, публичных спорах специалистов и журналистов [Андерсон, 2001]. По выражению А. Эткинда, они образуют «мягкую» (*software*) форму презентации, в отличие от «жестких» (*hardware*) форм такой презентации, к которым он относит музеефикацию, монументы, мемориалы, памятные знаки, архитектурные памятники, места исторических событий, связанные с жизнью замечательных людей [Эткинд, 2016, с. 225–228].

Тот же автор справедливо подчеркивает особую роль «жестких» форм презентации, задающих ориентиры в пространстве страны, регионов и поселений, – маркеры привязки презентаций и нарративов к реальному чувственному опыту¹. Действительно, любая мифология не только повествует, но и предполагает выходы мифического в мир с помощью специальных практик презентации, реализующих сопричастность мифическому: ритуалы, празднования, церемонии, реконструкции, инсталляции, перформансы, хэппенинги, игры. Поэтому представляется важным дополнить типологию А. Эткинда третьей формой – *хронотопом, событиями (special events)*, происходящими в специальное время в специальных местах и обеспечивающими возможность практической сопричастности – вплоть до интерактивных телесных практик [Герасимов, 2016].

Показательно, что выделенные три формы презентации символического («мягкая» – интерпретационная; «жесткая» – материализованная в объектах; и «хронотопная» – событийная) в принципе соответствуют трем кантовским априорным формам чувственности – пространству, времени и разуму – рамкам, условиям самой возможности фактичности, распознавания чего-то в качестве факта и ориентации в окружающем мире. В этом ракурсе теория и практика символической политики обретают перспективу серьезного эпистемического, антропологического и онтологического основания. Однако это интересное и важное соответствие выходит за рамки данного рассмотрения.

Заслуживает внимания предложенная Х. Уайтом и продолженная В. Цымбурским модель выстраивания наррации в соответствии с литературными жанрами [Цымбурский, 2011]. Эта модель

¹ О роли современных публичных пространств см.: [Лопатина, Тульчинский, 2015].

представляется чрезвычайно перспективной для анализа наррации третьего и отчасти второго уровней. Однако в рамках данного рассмотрения важным представляется акцент на новых цивилизационных возможностях символической презентации, открывающихся на всех уровнях наррации. Современные информационно-коммуникативные технологии порождают неоднозначные ситуации восприятия и достоверности на каждом из этих уровней.

В первую очередь это относится к фактологическому уровню. В обществе модерна человек все меньше готов верить в подлинность того, что отличается от привычного ему. Доверие собственному восприятию вытеснило доверие умозрительным концепциям, преданиям, легендам, религиозным текстам. Однако такое секуляристское «разволшебствление мира» рано или поздно порождает дефицит массово мыслимого достоверным, потребность в обретенном доподлинно настоящего, данного в восприятии (прежде всего – визуально): мимесиса и предметности в искусстве, фактологических (протокольных) описаний в экспериментальной науке уже оказывается недостаточно.

Такие возможности открывают новые технологии запечатления окружающей действительности, прежде всего – экранные формы, вариации которых получили развитие начиная с фотографии и кино и формы которые множатся и множатся благодаря компьютерным технологиям, Интернету и мобильной связи: Facebook, Instagram, YouTube, фотосессии, селфи... Полная и преумноженная запечатленность реальности. Мир факторизирующейся и фрактализирующейся реальности с документальной подпиткой мифотворчества. Документальность понимается как собственно правда жизни и реальности, как гарант достоверности отображения действительности и истории. При этом произвольный монтаж этих осколков реальности предстает как погружение в достоверность и углубление ее понимания. В современном кинематографе, на ТВ и в других СМИ, как традиционных, так и сетевых, немало такого рода «удостоверяющих» жанров: репортаж, хроника, интервью, документальное кино, документальная драма, историческая реконструкция, мокьюментори, семидокумьентори, реалити-шоу [Сальникова, 2014]. В ход идут фото- и видеоматериалы различного происхождения, компьютерное моделирование, костюмированные реконструкции.

Немаловажно и то, что массовое общество в сочетании с интенсификацией коммуникации имеет следствием глубокую вовлеченность практически всего населения земли в происходящее на

планете – если не непосредственно, то через СМИ, через web 2.0. и web 3.0. Фотография, кино, медиа – особенно телевидение и Интернет – визуализируют происходящее в разных концах мира, позволяя чувствовать себя виртуальным участником войн, революций, перекраивания границ, катастроф, массовых убийств, этнических чисток.

Это делает современные технологии символической наррации чрезвычайно удобными для политических режимов в идеологическом обосновании и оправдании их действий и даже легитимности [Gill, 2013]. Нарративы символической политики, при должной настойчивости и последовательности элиты, рано или поздно становятся частью актуальной картины мира. Если не нынешнего поколения, то следующего: при наличии политической воли и социальной базы в лице пассионарного меньшинства, при нынешних средствах коммуникации это происходит стремительно, буквально на глазах [Сидоров, 2015]. Такое впечатление легкости, однако, довольно обманчиво.

Диахрония символических нарративов

Символические нарративы транслируются не только на различных уровнях и в различных формах, но и в разных символических пространствах («полях») с различным временным лагом возможных изменений содержания, что в конечном счете и определяет результаты символической политики. Одно дело – динамичная презентация символических нарративов в СМИ, транслирующих реакцию политического класса на текущие проблемы, интерпретацию этих проблем, их источники и возможные решения. Другое дело – нарративы, транслируемые системой образования, которая инерционна по самой своей природе, а попытки в образовании угнаться за динамикой медийных трансляций чреваты сбоем и противоречиями – иногда трагикомичными. Но в обществе существуют и еще более инерционные, довольно устойчивые режимы трансляции и воспроизводства мифологии. И с этими «режимами» символической презентации работают разные акторы.

Как уже отмечалось, главными акторами символической политики являются элиты, располагающие символическим и публичным (известностью и узнаваемостью) капиталами, авторитеты общественного мнения, имеющие доступ к медийным ресурсам: политики, журналисты, религиозные деятели, публичные интел-

лектуалы, гуманитарии, деятели искусства. Именно они обеспечивают наиболее динамичный режим символической презентации, прежде всего на третьем уровне его наррации.

Тем не менее нельзя отрицать относительную устойчивость того, что К. Юнг называл «архетипическим» – мифофреймов, возникших на заре антропогенеза. Между архетипами и современными мифами лежит пласт традиционной культуральной мифологии, отражающей и выражающей исторический опыт народов. Это не пресловутая ментальность, а именно ценностно-нормативное содержание исторического опыта, образующего культурный код, обладающий большой исторической инерцией воспроизводства. Именно он сказывается в проблемах класса «культура тоже имеет значение» [Культура... 2002; Харрисон, 2014] или «культура как ресурс и барьер модернизации».

Воспроизводство ценностно-нормативного содержания конкретной культуры осуществляется в узком кругу тех, кто участвует в формировании этнического и кланового самосознания. Это семья, родные, близкие, друзья – акторы «сплывающего доверия» [Веселов, 2011], радиус которого меньше, чем у институционального доверия, «наводящего мосты», но более значим для базовой идентичности личности. И такая мифология является более долговременной, устойчивой, инерционной, чем транслируемая медийными средствами символической политики.

Промежуточную позицию между относительно устойчивой, инерционной мифологией и динамичностью медийной символической политики занимают нарративы, транслируемые системой образования, подвижность которой относительно ограничена.

Конечно, СМИ играют свою роль, особенно – телевидение, которое в фильмах, сериалах, ток-шоу моделирует реакцию на события, погружая их в бытовые ситуации, дискурсию известных узнаваемых людей. Важнейшую роль выполняют при этом новости, сам отбор которых, комментарии, интонации транслируют, визуализируют символические нарративы. В XX столетии к средствам массовой мобилизации общественного сознания добавился спорт. Победы страны на эстрадных подмостках и спортивных аренах граждане видят по телевизору и – исполняются гордости. Затем на том же телеэкране им показывают другую победу, одержанную в ходе операции, которая (в телевизоре же) выглядела как еще одно успешное выступление наших в такой красивой форме *military style*. «Война кажется телерепортажем, а то и компьютерной игрой, где у нас в запасе 10 жизней» [Левинсон, 2015].

Если человек, сформировавшийся в книжной культуре линейного чтения, выстраивания нарративов, прослеживания сюжетных линий, способен понимать достаточно сложные смысловые построения, то человек экранной цифровой культуры оперирует только смыслами «твиттерного» формата и не может работать со сложными знаковыми и смысловыми структурами. Источники информации воспринимаются им как блюда на «шведском столе», с которого он набирает произвольные наборы по своему усмотрению.

В мозаичном, клиповом сознании мифология и выражающие ее нарративы менее устойчивы, осмысление оказывается неглубоким и «коротким», не способным на «длинные мысли». Такое сознание оказывается не способным не только на выявление причинно-следственных связей, но и на простое прослеживание хроникальной последовательности событий. Прошлое каждый раз пересоздается как новое – под сиюминутное настоящее.

Такое сознание, имеющее дело с реальностью в духе телевизионного *zapping'a*, если и способно к эмпатии, то непродолжительной, неустойчивой, вспышками приходящей и быстро уходящей, забываемой. Социализация заведомо оказывается неполной. Недаром в электронных социальных сетях образуются видимость сообществ, между которыми доминируют негативные агрессивные отношения. И в какой-то момент идеократия может оказаться неспособной управлять политическим стебом, подогреваемым из своих же кабинетов [также см.: Рубцов, 2015].

Тенденции накопления различных интерпретаций усиливаются благодаря демократизации, доступности информации, что делает возможным не только широкий диалог, но и артикуляцию различных версий, их оценок. Тем самым активируются, стимулируются процессы формирования этнического, расового, конфессионального, гендерного самосознания, которые, в свою очередь, усиливают наращивание различных нарративов. Получается система с положительной обратной связью по дифференциации и дивергенции форм группового сознания, идентичностей. Культивирование эклектизма мультикультуральности и толерантности уже привело не столько к созданию некоего нового единства, сколько к нарастанию многовекторного конфликтного разнообразия – в Европе, Азии, Америке.

В связи с этим небезосновательными выглядят характерные для начала XXI столетия оценки происходящего как «конца идеологий», распада «больших нарративов», определявших политическую картину мира на протяжении XIX–XX столетий [Копосов,

2013]. Это подтверждают и результаты попыток выработки «национальной идеи» России, ставшие притчей во языцех. Ускоренный режим презентаций в символической политике чреват неоднозначными следствиями.

Так, в России с начала 2000-х установился курс на построение и продвижение официального нарратива «тысячелетней России» (в любую эпоху и в любых границах) как особой цивилизации, что потребовало соединения трех ценностно-символических комплексов: дореволюционного, советского и постсоветского [Малинова, 2015, с. 175–184]. Такая принципиальная эклектика (сочетание в геральдике и другой государственной символике наследия царской России и СССР; празднование советских, досоветских и постсоветских праздников; использование наград и регалий различных эпох и т.п.) развязывала руки для маневрирования, построения удобных нарративов, удовлетворявших соответствующие возрастные, этнические, профессиональные группы населения.

В результате возникли разрывы между уровнями и формами символической презентации прошлого. Идея возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку обсуждалась на серьезном уровне, и московские коммунисты, собрав необходимое количество подписей, решили пока отложить инициирование референдума за восстановление памятника. При этом чрезвычайно трудным оказался вопрос о памятнике жертвам сталинских репрессий в Москве: на той же Лубянке лежит соловецкий камень, однако идею полномасштабного мемориального комплекса лишь недавно удалось сдвинуть с мертвой точки. В Грозном в 1992 г. поставили памятник жертвам репрессий, но в 2008 г. он перенесен из центра на окраину, а инициатива создания памятника Н.С. Хрущеву как «освободителю чеченского народа» сошла на нет. Излишняя динамика сказывается на «жестких» формах, приводя к переименованиям улиц, городов, разрушению памятников, что вступает в достаточно острое противоречие с долговременной культурной памятью. Все это показывает, что для внятной символической политики пригоден не всякий исторический материал, даже, на первый взгляд, достаточно убедительный.

В 2014 г., в связи со 100-летием начала Первой мировой войны, была предпринята добросовестная попытка вернуть эту великую драму, ключевую для понимания истории XX в., в актуальную символическую политику. По стране прокатилась волна социальной рекламы, были сняты фильмы, поставлены спектакли, прошла серия

специальных событий, тематических мероприятий, были поставлены монументы в память безымянных героев. Но существенного, серьезного общественного резонанса эта символическая презентация важнейшей и трагической страницы отечественной истории не вызвала. Думается, по причине затруднения выстроить нарратив третьего уровня – вписать тему Первой мировой в контекст мифа Тысячелетнего Государства России, государственной идеологии с акцентом на порядок, силу, властную вертикаль. В той войне не было недостатка в массовой самоотверженности, солдатском героизме, подвигах, талантливейших полководцах... Но не только не было победы, а само российское государство рухнуло. И даже возникновение в результате этой катастрофы и гражданской войны новой советской империи не компенсирует этого главного несоответствия. На фоне активного формирования государственнического нарратива уже мало актуальна и запоздалая идея примирения «красных» и «белых» [Сидоров, 2015].

В 2015 г. в России появился официальный документ, в котором перечислены традиционные духовно-нравственные ценности страны. Распоряжением Правительства РФ Федерации № 996-р от 29.05.2015 утверждена стратегия воспитания в РФ до 2025 г. «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством», говорится в документе. Кроме того, в одном из разделов стратегии говорится о «развитии в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности» [Распоряжение... 2015].

Тем не менее до сих пор остается не решенным главный вопрос о культурном позиционировании России в системе координат Восток – Запад. Трудности с продвижением модернизационных реформ и недостаток признания со стороны условного Запада, очевидная неспособность отвечать западным стандартам в политике, правовой культуре и экономике подтолкнули российскую элиту навстречу давно созревавшему запросу «жить своей жизнью». При этом необходимость сохранять и поддерживать международный статус, межгосударственные отношения, включенность в мировую экономику вынуждают поддерживать хотя бы формальную видимость свободы, демократии, прав человека и т.д. Между уровнями символической презентации, реализующимися в разном режиме, не складывается полноценная связная коммуника-

ция. В терминологии, предложенной в свое время А.С. Ахиезером [Ахиезер, 1998], это оставляет Россию в пространстве маятниковых инверсивных шараханий, вновь делая актуальной проблему выработки медиативного пути¹.

Такие конфликты «памятей» начинают принимать международный характер. И дело уже не столько в «конflikте культур» в духе С. Хантингтона, который сам по себе стал опытом нарративной реконструкции, сколько в реалиях «проснувшегося ислама», довольно неожиданным всплеске православного фундаментализма в России, не объяснимого исключительно практикой пропагандистского манипулирования.

Всплески антимодернизационных настроений широкой общественности в таких странах, как Алжир, Мексика, Турция, Россия, где относительно малочисленная элита разделяет и транслирует новые смыслы и ценности постиндустриального общества, тогда как собственно многочисленное население руководствуется памятью культурной традиции, – наглядные тому примеры. Пример России в этом плане особенно примечателен. В стране за полтора столетия не только радикально, но и – по историческим меркам – мгновенно менялась собственность, каждый новый политический режим начинал с отрицания сделанного предыдущим. Символические нарративы менялись настолько быстро и радикально (с переписыванием учебников, переименованием улиц и городов, выносом трупов), что к их сменам выработался не только иммунитет, но уже, похоже, и идиосинкразия.

Не исключено, что нестыковки между обеспеченным традиционным мифическим содержанием сознанием и современной, непрерывно меняющейся, склонной к дивергенции мифологией перерастают в противоречие. Похоже, мы вступаем в разгорающийся конфликт между двумя типами мифологий и символизаций. Речь идет о нуждающемся в осмыслении запросе на нарратацию третьего уровня, выходящую за пределы сиюминутного политического контекста. Уже в последнее десятилетие XX столетия ситуация технологически (Интернет), политически (кризис либерализма), социально (расслоение и радикализация среднего класса), культурально (активизация фундаментализма) стала переформатироваться. Активно формируется социально-культурная и технологическая платформа для смены политических реалий.

¹ См. материалы круглого стола: [Медиация... 2013; 2014].

Поэтому важна упорядоченная, систематическая коммуникация, в несколько этапов (по мере интенсивности социальной коммуникации и ее организационных форм) ведущая к закреплению традиций – вплоть до их полной институционализации в организационно-правовые формы, воплощения в материальной среде [Тульчинский, 2010]. Такие стадии проходят любые ценностно-нормативные системы – не только в политике, но и в бизнесе, науке, искусстве, религии. Также и формирование повестки дня в символической политике должно своевременно дополняться созданием инфраструктуры для воплощения транслируемых смыслов, образов, когда коммуникация дополняется материальными артефактами (hardware) и событиями, в которых смыслы оседают новым культурным слоем для последующих поколений, входят в их образ жизни.

В связи с этим особенно перспективными представляются исследования диахронического плана, которые могут уточнить соотношение и эффективность взаимодействия долговременных символических нарративов, зависящих от текущего политического момента медийных нарративов и нарративов «среднего времени», транслируемых в образовательных программах, сфере искусства.

Литература

- Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. – М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2001. – 288 с.
- Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика России). – Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998. – 804 с.
- Веселов Ю.В. Доверие и справедливость. Моральные основания современного экономического общества. – М.: Аспект-Пресс, 2011. – 231 с.
- Герасимов С.В. Массовые праздники и социальное партнерство. – СПб.: Алетей, 2016. – 138 с.
- Историческая политика в XXI веке / Под ред. А. Миллера, М. Липман. – М.: НЛЮ, 2012. – 648 с.
- Копосов Н.Е. Исторические понятия о мире без будущего // Как мы пишем историю? / Отв. ред. Г. Гарета, Г. Дюфо, Л. Пименова. – М.: РОССПЭН, 2013. – С. 57–93.
- Культура имеет значение / Под ред. Л. Харрисона, С. Хантингтона. – М.: МШПИ, 2002. – 320 с.
- Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. – М.: УРСС Эдиториал, 2004. – 256 с.
- Левинсон А. Война как спорт на ТВ // Ведомости. – М., 2015. – № 3821, 28 апреля. – С. 6.

- Лопатина С., Тульчинский Г. Публичные пространства в обществе массового потребления: гражданский и политический потенциал // *Топография популярной культуры* / Ред.-сост. А. Розенхольм, И. Савкина. – М.: Новое литературное обозрение, 2015. – С. 285–302.
- Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. – М.: РОССПЭН, 2015. – 207 с.
- Малинова О.Ю. Символическая политика: контуры проблемного поля // *Символическая политика: Сб. науч. тр.* / РАН. ИНИОН. – М., 2012. – Вып. 1. – С. 5–16.
- Медиация как социокультурное явление // *Философские науки*. – М., 2013–2014. – 2013. – № 11. – С. 34–52; 2013. – № 12. – С. 51–70; 2014. – № 1. – С. 58–72; 2014. – № 2. – С. 39–62; 2014. – № 3. – С. 64–83; 2014. – № 4. – С. 64–84; 2014. – № 5. – С. 132–149.
- Неклюдов С. FAQ: Мифология в культуре // *ПостНаука*. – М., 2012. – 27 ноября. – Режим доступа: <http://postnauka.ru/faq/6599> (Дата посещения: 19.12.2015.)
- Путин В.В. Россия и меняющийся мир // *Московские новости*. – М., 2012. – № 33 (225), 27 февраля. – Режим доступа: <http://www.mn.ru/politics/78738> (Дата посещения: 19.12.2015.)
- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». – М., 2015. – Режим доступа: <http://government.ru/docs/18312/> (Дата посещения: 12.02.2016.)
- Рубцов А. Дым с огнем, или Поражение конспирологии // *Ведомости*. – М., 2015. – № 3789, 13 марта. – Режим доступа: <http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/12/metafizika-vlasti-dim-s-ognem> (Дата посещения: 22.11.2015.)
- Сальникова Е.В. «Докумиф, или погоня за реальностью // *Наука телевидения: Научный альманах*. – М.: ГИИ, 2014. – Вып. 11. – С. 48–84.
- Сидоров А. История в стиле легио: Зачем нам памятники и что с ними делать // *Lenta.ru*. – М., 2015. – 4 июля. – Режим доступа: <http://lenta.ru/columns/2015/07/04/monuments/> (Дата посещения: 06.10.2015.)
- Тульчинский Г.Л. Историческая память в символической политике и информационных войны // *Философские науки*. – М., 2015. – № 5. – С. 24–33.
- Тульчинский Г.Л. Развитие знания: Зашнуровывающая метафора и модели // *Философия и методология науки*. – СПб., 1995. – С. 72–75.
- Тульчинский Г.Л. Этапы политической институционализации: от идеи к институту // *Политические институты в современном мире*. – СПб.: Аллегро, 2010. – С. 358–360.
- Тульчинский Г.Л. Total branding. Мифодизайн постинформационного общества. Бренды и их роль в современном бизнесе и культуре. – СПб.: Изд-во СПб ун-та, 2013. – 280 с.
- Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2002. – 528 с.
- Харрисон Л. Евреи, конфуцианцы и протестанты: Культурный капитал и конец мультикультурализма. – М.: Мысль, 2014. – 285 с.
- Цымбурский В. Конъюнктуры Земли и Времени. Геополитические и хронополитические интеллектуальные расследования. – М.: Изд-во «Европа», 2011. – 372 с.
- Ширинкин П.С. Туристское легендирование: Региональные аспекты. – Пермь: Пермск. гос. акад. искусства и культуры, 2014. – 260 с.

- Штомпка П. Теоретическая социология и социологическое воображение // Социологический журнал. – М., 2001. – № 1. – С. 148–158.
- Элиаде М. Священное и мирское / Пер. с фр., предисл. и коммент. Н.К. Гарбовского. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 144 с.
- Эткинд А. Кривое горе. Повесть о непогребенных. – М.: НЛО, 2016. – 228 с.
- Ядов В.А. Современная теоретическая социология как концептуальная база исследования российских трансформаций. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – СПб.: Интерсоцис, 2009. – 138 с.
- Bell D.S.A. Mythscapes: Memory, mythology, and national identity // British journal of sociology. – L., 2003. – Vol. 54, N 1. – P. 63–81.
- Gill G. Symbolism and regime change in Russia. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2013. – viii, 246 p.
- The invention of tradition / Ed by E. Hobsbaum and T. Ranger. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1983. – 320 p.
- Olick J. Collective memory: The two cultures // Sociological theory. – N.Y., 1999. – Vol. 17, N 3. – P. 333–348.
- Segal R.A. Theorizing about myth. – Amherst: Univ. of Massachusetts press, 1999. – 216 p.
- Sommers M.R. The narrative constitution of identity: A relational and network approach // Theory and society. – Dordrecht, 1994. – Vol. 23, N 5. – P. 606–649.
- Topolski E. The role of logic and aesthetic in constructing narrative wholes in historiography // History and theory. – Middletown, 1999. – Vol. 38, N 2. – P. 198–210.
- Wright G.H. von. Explanation and understanding. – Ithaca: Cornell univ. press, 2004. – 256 с.

ТЕМА ВЫПУСКА: СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

Л.В. Смирнягин*

ЭВОЛЮЦИЯ МЕСТА В ХОДЕ «ПРОИЗВОДСТВА ПРОСТРАНСТВА»

Аннотация. Переход развитых стран из индустриальной эпохи в постиндустриальную существенно изменил значение пространства для территориальной организации общества. В недавнем прошлом общественное значение конкретного места пространства определялось его положением относительно других мест. Сегодня решающую роль стали приобретать собственные качества места («место вместо местоположения»). Эти качества зависят прежде всего от смыслов, которые придают им люди в ходе социальных взаимодействий. В этом свете социальное пространство оказывается культурным продуктом («производство пространства» по А. Лефевру). Обсуждение проблемы сопровождается примерами из географии США.

Ключевые слова: географическое положение; место; расстояние; производство пространства; Фуко; Лефевр; местоположение; постиндустриальная эпоха.

L.V. Smirnyagin

Evolution of Place in context of the «production of space»

Abstract. Territorial organization of society in developed countries is changing because of their transition from the industrial era to the postindustrial one. In the recent past the very value of each concrete place at Earth's surface has depended on its position among other places, but now it depends first of all on the features and characteristics of this place as such («the place instead geographical position»). In contemporary society the features of the space are products of social interactions between a humans.

* **Смирнягин Леонид Викторович**, профессор кафедры социально-экономической географии зарубежных стран географического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор географических наук, e-mail: smirnyagin@hotmail.com

Smirnyagin Leonid, M.V. Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia), e-mail: smirnyagin@hotmail.com

That's why it is possible to tell about «production of the geographical space» (after H. Lefebvre). These theses are accompanied with some particular examples from geography of the USA.

Keywords: geographical position; place; distance; production of space; Foucault; Lefebvre; location; post-industrial era.

С легкой руки Мишеля Фуко Пространство стало весьма модной темой в социальных науках. Наступило, по мысли Фуко, некое отрезвление: триста последних лет вся Наука была озабочена лишь изменениями, процессами, динамикой, тенденциями и тому подобными ипостасями Времени, а теперь, дескать, настала пора обратить внимание и на состояния, на статику, на существующее в данный момент, т.е. по большому счету на Пространство. Еще недавно оно сильно уступало Времени как объект исследования, заслуживающий интереса, оно казалось слишком очевидным, банальным, слишком легко доступным для наблюдения. Можно счесть типичной фразу Л. Хённингхаузена: «Пространство осознается реальнее, бытовее, чем время, – как живопись воспринимается реальнее, чем музыка» [Hönnighausen, 2005, p. 42]. Этот предрассудок, это принижение значимости Пространства по сравнению с Временем стоил науке немалых искажений и потерь, и для исправления этого предрассудка придется, очевидно, сместить акцент на Пространство.

В этом свете география приобретает роль хранилища неких сокровенных знаний о Пространстве, поскольку она ориентирована на его изучение почти с той же полнотой, что и геометрия. Надежды на то, что география готова к этой роли, высказывались неоднократно, притом вовсе не самими географами, а далеко за пределами географии. Сошлемся на слова видного российского социолога А. Филиппова, который занимается именно социологией пространства: «Социология пространства на самом деле развивается, но не столько социологами, сколько географами. Здесь, в общем, все логично: если географию понимать как “науку о пространстве”, а социальную географию – как науку о человеческом поведении в пространстве, о размещении в пространстве социальных институтов, о планировании пространства, о перемещениях людей, в конце концов, об их представлениях о пространстве, то область социологии пространства будет, кажется, почти исчерпана» [Филиппов, 2000].

Увы, эти надежды не имеют оснований в реальности. География слишком сильно ориентирована на весьма конкретное пространство – земное, ее основу издревле составляли знания о физической географии земной поверхности, будь то рельеф, климат,

воды или живая природа. Поэтому профессиональному географу весьма непросто предаться размышлениям о некоем абстрактном пространстве и его свойствах в отрыве от предметов и явлений, это пространство заполняющих. Попытки такого абстрагирования, и весьма успешные, не раз делались немецкими географами прошлого и позапрошлого века. Достаточно назвать такие имена, как Альфред Геттнер, Карл Риттер, Александр фон Гумбольдт. Однако в современной географии они оказались на периферии, а в советской географии «удостоились» (особенно Геттнер) жестокой критики, порой просто заушательской. На мой взгляд, в научном наследии географии не накоплены такие знания о Пространстве, которые можно счесть вкладом общенаучной значимости.

Таково состояние научного багажа географии. Однако если взглянуть на современную географию, то становится очевидным, что она деятельно приступила к исправлению своих эпистемологических промахов, словно во исполнение заветов Фуко. Принято считать, что стартом обращения географов к проблемам Пространства послужили труды И. Валлерстайна, но я склонен думать, что правильнее назвать в этом качестве работы Анри Лефевра и прежде всего его книгу «Производство пространства» [Lefebvre, 1974]. Вышедшая еще в середине 70-х годов, книга была многократно переведена на английский и другие языки; у нас публиковалось краткое изложение сути взглядов Лефевра [Лефевр, 2010]. Суть книги отлично передает само ее название: пространство, окружающее людей, во многом создано ими самими, потому что оно насыщено смыслами, которые люди ему придали и в соответствии с которыми (а не с «реальными свойствами» пространства) люди ведут себя в этом самом пространстве. Из этого следовало, что для правильного понимания действий человека и общества в пространстве нужно изучать не только и даже не столько само это пространство, сколько представления общества о нем.

Целый отряд географов (в основном английских и американских) деятельно откликнулся на идеи Лефевра. В географической научной литературе замелькали слова *space* (пространство) и *place* (место) в разных сочетаниях, излюбленными заголовками статей и заглавиями книг стали «*Space and place*». Уже в 70-х годах появились «лефеврианские» по духу труды американца И-Фу Туана [Tuan, 1997], а в 80-х вышли две книги географов, которые снискали немалый почет в других социальных науках, – британца Дейвида Харви «Истоки постмодерна» [Harvey, 1990] и американца Эдварда Соджи «Постмодерные географии» (именно так, во множественном числе) [Soja, 1989].

Пересмотр фундаментальных понятий

В свете этого начался и пересмотр фундаментальных понятий географической науки. Речь идет о понятиях, составляющих ядро этой науки вне зависимости от смены парадигм. Число таких понятий обычно невелико – на то они и фундаментальные, а не расхожие. Смена парадигм не отменяет эти понятия, но приводит лишь к пересмотру их толкования. Те, кто исследует развитие географической науки, обычно насчитывают смену десятка парадигм на протяжении только лишь XX в.: географический детерминизм – *area studies* – количественная география – поведенческая география – прикладная география – структурализм и неомарксизм – постмодернизм – постструктурализм [Mattews, 2008]. И сквозь все эти парадигмы прошли в неизменном составе около дюжины понятий, которые составляют каркас географии как науки. Тем не менее толкование каждого из них постоянно подвергалось пересмотру. Его провоцировали, разумеется, не только философские усилия географов, но прежде всего перемены в самом социуме и в технических средствах освоения пространства.

Представляется, что есть среди этих понятий два, которые служат аксиоматическим основанием для многих других. Эти понятия – *Место* и *Расстояние*. Так, Расстояние непосредственно порождает такие важные понятия из числа фундаментальных, как близость и трение пространства. Близость (*nearness*) была буквально воспета Вильямом Бунге [Бунге, 1967] именно в качестве базового понятия. Хотелось бы в связи с этим помянуть и популярный на Западе (но неизвестный у нас) полшутиливый закон Тоблера: все влияет на все, но то, что ближе, влияет сильнее¹.

Отдельного анализа заслуживает понятие *трения пространства* (*distance decay*). Трение отражается здесь степенью при параметре расстояния, который в гравитационной формуле и в формуле потенциалов стоит в знаменателе. Гравитационное уравнение применяется в географии по аналогии с ньютоновской формой, где расстояние берется в квадрате, но у Ньютона это обозначает всего

¹ Уолдо Тоблер высказал эту идею в августе 1969 г. в Анн-Арборе (шт. Мичиган) на съезде по количественной географии, притом в следующих словах: «Я изобрел первый закон географии: все имеет отношение ко всему, но ближние вещи влияют сильнее, чем отдаленные» [цит. по: Barnes, 2004, p. 278]. Кстати, этот номер «Анналов» был почти полностью посвящен обширным комментариям к «закону Тоблера».

лишь, что действие равно противодействию, а в географии эта степень имеет совсем иной смысл, обозначая именно трение пространства. Поэтому ее величина нуждается в особом обосновании и может принимать, в теории, любые значения.

$$M_{ij} = k \frac{P_i P_j}{d_{ij}^2},$$

где M – сила взаимодействия между точками i и j , P – мера значимости объекта, размещенного в одной из этих точек, а d – расстояние между точками. По сути, это уравнение в географии обозначает лишь то, что величина взаимодействия объектов прямо пропорциональна их размерам и обратно пропорциональна разделяющему их расстоянию. Скажем, взаимодействие двух городов (например, валовая миграция между ними) тем сильнее, чем больше численность населения этих городов, и тем меньше, чем больше расстояние между ними. Примерно таков же и смысл модели потенциалов, которая суть производное от гравитационной модели. Присвоение расстоянию степени равносильно тому, что Расстоянию приписывается некое особое свойство.

Оба исходных фундаментальных понятия – Место и Расстояние – порождают проблему, которая получает сегодня едва ли не первостепенное значение для дальнейшего развития географии. Это проблема *восприятия пространства* человеком в ходе его практической деятельности. Подобное восприятие может разительно отличаться от «природной» геометрии поверхности Земли, но трактовать эти отличия как простую социальную патологию и потому игнорировать их – значит впасть в тягостную ошибку. Ведь общество живет согласно своим представлениям, а не пресловутой «объективной геометрии». На этой базе сложилась особая и весьма авторитетная (не у нас, конечно) субдисциплина – поведенческая география, однако надо заметить, что она лишь частично покрывает данную тематику, подавая различия между «первой» и «второй» реальностями пространства в основном как некую небезынтересную особенность человеческого поведения.

Немало важнейших экспликаций имеет и понятие Места. Главная из них, наверно, *место само по себе*, как таковое, – его характеристики, свойства, особенности, а также координаты положения на земной поверхности. Особого внимания географов удостоивается восприятие места человеком и местным сообществом.

Во-вторых, это *район* и большая группа связанных с ним понятий – ареал, иерархия районов, районирование и т.п., а также, разумеется, региональная идентичность [см.: Смирнягин, 2005]. С районом и местом тесно связано еще одно фундаментальное понятие, которое вполне сравнимо с двумя «главными», – это Граница. Его можно субординировать Месту только в том смысле, что граница кладет пределы месту, оконтуривает районы, вообще упорядочивает систему мест. Важность границы самой по себе, в отрыве от места, возникает существенно реже – будь то барьер или зона контакта (хотя случаи эти весьма интересны и примечательны).

Есть в географической науке понятие, которое можно считать ключевым, поскольку оно связывает собой почти все остальные фундаментальные понятия нашей науки. Это *Географическое положение* (ГП). Можно утверждать, что каждый элемент пары Расстояние и Место обретает подлинный смысл только при опосредовании другим элементом этой пары. Расстояние – это всегда от одного места до другого, и одно из главных качеств Места (если не самое главное) есть расстояние от него до других мест, существенных для него. В понятии ГП выражена квинтэссенция географического мышления, придающая ему сугубо системный характер, потому что совокупность географических объектов видится здесь в своей взаимосвязи, во взаимовлиянии, а не как груда разрозненных данностей. Я склонен думать, что именно ГП является объектом наибольшего внимания российской и советской школы географии. Разработка ГП – не менее яркая визитная карточка этой школы, нежели теория территориально-производственного комплекса (ТПК) или районирование. Могу заверить как американист, что эта тема в американской географии далеко не так популярна.

«Смерть пространства»?

Пересмотр содержания фундаментальных понятий неизбежно вызывает Потрясение всего здания науки. Сегодня подобное начинается происходить с ГП. Причин несколько. Наиболее очевидная – это стремительный технический прогресс в области транспорта и связи. Он не просто сокращает расходы на перемещение как составную часть издержек любого производства, но и порождает, в том числе и у широкой публики, иллюзию того, что расстояния вообще перестают играть существенную роль в жизни общества (по крайней мере в странах благополучного Запада).

Журналисты начинают писать книги под броскими названиями «Смерть пространства» (так названа нашумевшая книга сотрудницы журнала «Экономист» Френсис Кейрнкросс [Cairncross, 1997]).

Ф. Кейрнкросс воспроизвела заимствованный у Мирового банка график, на котором показано, сколь сильно упали издержки транспорта и связи за XX в. – с момента внедрения конкретного средства в практику и до 1990 г. Падение издержек – в десятки раз! И это даже с учетом того, что после 1980 г. трансокеанский фрахт и авиаперевозки несколько подорожали. Любому экономико-географу ясно, что это в корне меняет факторы размещения производства и оказывает огромное влияние на всю территориальную структуру общества.

Наиболее впечатляющим свидетельством «смерти пространства» стало для многих внедрение Интернета. Воспринимавшийся в 90-х годах как причуда или удел немногих, он превратился в нечто обыденное, общедоступное.

Неудивительно в свете этого, что даже специалистам, географам и экономистам-«размещенцам», начинает казаться, что другие, более важные факторы уже заслонили собой ГП при выборе места для нового предприятия или организации: современные средства коммуникации легко, дешево и надежно свяжут его с рынками сбыта или источниками сырья, а потому при выборе места нужно сосредоточивать внимание на свойствах самого этого места – на уровне налогообложения, на особенностях делового законодательства, на качестве местной рабочей силы, на политической стабильности, на качестве окружающей среды, наконец. Иными словами, прежнюю роль местоположения начинает занимать само место; отсюда и возникает своего рода лозунг – «место вместо местоположения».

Представление о ключевом значении ГП для объекта экономической географии выглядит сегодня анахронизмом из-за коренных сдвигов в структуре современного хозяйства. Ведь это представление сложилось в ходе изучения географами материального производства. Рассуждения и расчеты, касающиеся близости к рынкам сбыта, сырья или топлива, о расположении на транспортных путях и т.п., – все это типичный для экономической географии дискурс, и посвящен он был практически полностью именно материальному производству. Между тем в течение полувека доля сферы материального производства – и в структуре занятости населения, и в структуре валового продукта – неуклонно сокращалась, притом как в развитых, так и в развивающихся странах, хотя

в первых гораздо быстрее. В США, например, доля промышленности в структуре валового продукта страны уже ниже 10%, а сельского хозяйства – ниже 1%, хотя оба эти сектора экономики никак не назовешь депрессивными – настолько полно обеспечивают они нужды населения страны.

Основная часть экономической деятельности связана теперь со сферой, которую принято называть (весьма неточно) сферой услуг, но эта сфера гораздо меньше зависит от средств транспорта. Для нее характерна некая инверсия: потребитель ее продукции сам, как правило, перемещается к месту, где эта продукция производится, при этом он использует по большей части собственный транспорт в виде частного автомобиля и тем самым берет расходы по перемещению в пространстве на себя. Неудивительно, что факторы размещения производства услуг сильно отличаются от тех, которые предопределяют географию материального производства. ГП, конечно, сохраняет свое значение и в этих условиях; более того, у нас есть даже специальные модели, вроде теории центральных мест, которые словно специально придуманы именно для географии сферы услуг. Однако эта география так сильно связана с расселением людей, что оптимизация ГП становится в подобном контексте значительно менее автономной задачей, и значение ее в глазах исследователей поневоле снижается, порой приближаясь к нулю.

Важно учесть, что работа сферы услуг в громадной степени зависит от состояния информации разного рода – о характере сервиса, о возможностях его усвоения, о его местоположении, и сама сфера производства информации развивается в особую и весьма крупную отрасль хозяйства. Основанная на средствах коммуникации, эта отрасль зависит от транспортировки не материального продукта, а информационного, который преодолевает земное пространство, почти не испытывая трения. Поэтому предприятия сферы информации могут размещаться, казалось бы, где угодно. Известно много случаев, когда так называемые колл-центры, обслуживающие заказы американских потребителей через Интернет, размещаются далеко за пределами США, в частности в индийском Бангалоре, где зарплата операторов на порядок ниже, чем в США, хотя и гораздо выше, чем за рутинную работу в самой Индии.

Снижению роли пространства в общественной жизни способствует, казалось бы, и то, что урбанизация почти во всех странах мира переходит в новую стадию, следующую за разрастанием крупнейших городов в агломерации. Речь идет об образовании так называемых мегарегионов – целых созвездий как бы слипшихся

агломераций, взаимодействующих друг с другом и объединенных мощной транспортной инфраструктурой. Провозвестником появления подобных образований стал американский Мегалополис, описанный Жаном Готтманом в его бестселлере 1961 г. [Gottman, 1961]. Прошло полвека, и эта форма, выглядевшая причудой урбанизации, стала отчетливо проявляться по всему миру, но прежде всего в самых развитых странах. Канадский социолог-географ Ричард Флорида обнаружил на нашей планете по меньшей мере 40 мегарегионов с размером годового валового продукта не менее 100 млрд долл. По расчетам Флориды, в этих 40 мегарегионах в 2000 г. проживали всего 18% населения планеты, но тут производились две трети ее валового продукта, здесь жили 88% ученых с наивысшим показателем цитируемости и в 2001 г. было выдано 86% всех патентов на изобретения [Florida, 2007].

Подобный процесс выглядит своего рода парадоксом: технический прогресс открывает перед человечеством широкие возможности размещать свою деятельность как ему заблагорассудится, руководствуясь не нуждами хозяйства или географии природных ресурсов, а собственными интересами, однако на деле мы наблюдаем, как эта деятельность, наоборот, все более стягивается в ограниченное число мегарегионов – ареалов, сравнительно небольших по размерам своей территории¹.

Флорида дал один из вариантов определения мегарегиона, который особенно важен для нашей темы: «Мегарегионы – это интегрированные сети городов и окружающих пригородных хинтерландов, в пределах которых труд и капитал могут перемещаться при очень низких издержках» [Florida et al., 2007, p. 3]. Это ясно указывает на то, что в пределах такого мегарегиона конкретное размещение предприятия или организации уже не заслуживает особых размышлений, потому что до всех смежников и потребителей как бы одинаково близко.

Сплетение всех этих причин и мотивов о «смерти пространства» ведет, казалось бы, к «концу географии» – в полном соответ-

¹ Этот парадокс настолько очевиден, что его отмечают повсеместно. Свидетельство тому – почти буквальное совпадение высказываний на этот счет российских и американских ученых. Вот что пишут наши географы А. Курасов и А. Трейвиш: «Вот и постиндустриальный парадокс: информационно-деловые акторы мыслят и действуют глобально, вроде бы стирая дистанции и границы, но сами вместе со своим сектором устроены иерархично и весьма избирательно, локально» [Курасов, Трейвиш, 2009, с. 36].

ствии с той модой на «концы» всех наук и традиций, которую породила знаменитая книга Ф. Фукуямы «Конец истории» [Fukuyama, 1995]. В свое время М. Десаи сделал некий иронический обзор сочинений, в названии которых содержался этот самый «Конец», и насчитал 18 таких пророчеств: конец экономики, конец физики, конец науки, конец архитектуры и т.д. [Desai, 1996]. В свете вышесказанного остается лишь удивляться, что в этом списке нет книжки под названием «Конец географии».

Перелом в настроениях наступил во второй половине нулевых годов благодаря реакции на книгу колумниста «Нью-Йорк Таймс» Томаса Фридмена «А мир-то плоский» [Friedman, 2005]. Своими красочными описаниями того, насколько уютно чувствует себя автор в самых разных уголках планеты, книга наделала много шума, порождая у широкой публики впечатление, что мир и вправду стал однообразным. Столь сильное (к тому же талантливо сделанное) заявление получило резкий отпор со стороны экспертов самого разного профиля. «Мир не плоский!» – под такими заголовками выступили в солидных журналах нобелевский лауреат по экономике Стиглиц [Stiglitz, 2006] и профессор Гарвардской школы бизнеса П. Гемават [Ghemawat, 2009]. «Мир не плоский» – заявил и Р. Флорида [Florida, Schulte, 2008]. Пожалуй, лишь Ф. Кейрнкросс, автор упоминавшейся книги «Смерть пространства», встала на защиту Фридмена [Cairncross, 2007].

Эта полемика совпала с примечательным событием: в англофонных странах Запада резко возросла репутация географии как науки, причем и в сугубо научной среде, и в глазах широкой публики. Это заслуживает специального исследования, так как значит слишком много для истории нашей науки, сейчас же отметим лишь три главных направления, в рамках которых проявились факторы подобного подъема. Это публикация нескольких научно-популярных книг, которые с помощью идей географического детерминизма как бы заново пересмотрели историю человечества [Diamond, 1998] и его нынешнее социокультурное состояние [Landes, 1998]. Во-вторых, это «реабилитация» географии в экономических науках благодаря деятельности Пола Кругмана, создавшего целое научное течение под названием «новая экономическая география» [Krugman, 1997]. Наконец, в-третьих, это серия блестящих публикаций географов-методологов – прежде всего Д. Харвея [Harvey, 1990] и Р. Соджи [Soja, 1989]. После этих публикаций многие ученые в социальных науках Запада стали воспринимать гуманитарную географию (human geography) как своего

рода купол над другими частными науками, позволяющий объединить их усилия в познании человечества.

Такая обстановка благоприятствовала развороту в сторону исследований важности расстояния, границы и близости в постиндустриальную эпоху. Прежде всего, было показано, что их роль в мировой торговле все еще очень и очень велика, если судить об этом по структуре издержек производства и реализации товара. Вот примечательные расчеты Дж. Андерсона и Э. ванн Винкоопа [Anderson, Wincoop, 2004]. Усредняя ситуацию в мировой торговле, пишут эти авторы, можно представить себе издержки производства некоего товара в 1 долл. Тогда транспортировка его в страну-потребитель составит в среднем около 21 цента. Еще 44 цента придется потратить на государственной границе для преодоления таможенных барьеров и еще 55 центов составят издержки оптовой и розничной торговли. Таким образом, потребитель получит товар по цене 2,7 долл. Здесь учтено не только расстояние, но и время передвижения; только на преодоление расстояний между странами нужно в среднем от одних суток воздушным транспортом до 20 дней морским, а это тоже стоит затрат. Так что о «смерти расстояний», пишут авторы, не может быть и речи, по крайней мере если речь идет о мире материального производства.

Калифорнийские географы Э. Лимер и М. Сторпер показали, что и в нематериальном производстве «смерть расстояний» – лишь иллюзия [Leamer, Storper, 2001]. Об этом убедительно пишут не только географы, но и социологи, антропологи, даже специалисты в области Интернета. Возьмем, к примеру, так называемые деловые услуги, доля которых в издержках производства товаров неуклонно растет. Есть мнение, что такие услуги как бы «любят» работать поодаль от самого производства, максимально приспособив свои особенности к условиям конкретного места (например, продукт конструируется в Детройте, рекламируется из Нью-Йорка, в то время как стратегия фирмы разрабатывается в Чикаго. Но чем глубже такое территориальное разделение труда, тем сложнее проблема координации. Инновации связаны обычно с обменом идеями, которые не могут быть кодифицированы и переданы Интернетом, им нужна физическая близость производителя и потребителя такой информации. Беда Интернета в том, что он – всего лишь посредник, который стоит между контактирующими, но не дает им возможности личного общения. Э. Лимер и М. Сторпер [Leamer, Storper, 2001] писали о том, что отгрузка особо сложной некодифицируемой (uncodifiable) информации все еще нуждается в таких «контейне-

рах», как человеческие существа. Затраты времени на отгрузку этих контейнеров постоянно растут из-за пробок на дорогах и в аэропортах, причем финансовые издержки по таким отгрузкам тоже нарастают по мере того, как растут реальные зарплаты этих человеческих контейнеров, т.е. работников, обладающих знаниями. Отсюда и стремление производств, порождающих инновации, к территориальной концентрации, обеспечивающей личный контакт вместо «отгрузок» этих «контейнеров [ibid., p. 645].

Следовательно, Интернет не только не приводит к рассредоточению производительных сил, но, напротив, порождает стимулы к территориальной концентрации как раз тех видов человеческой деятельности, которые, казалось бы, получили развитие именно в эпоху Интернета и должны испытывать его сильнейшее воздействие. Речь идет о наиболее творческих видах деятельности, которые как раз и порождают инновации.

Таким образом, Интернет и современные виды транспорта отнюдь не лишают географическую близость всякого смысла. Защищая этот дорогой для географов фактор, Лимер и Сторпер позволяют себе пойти гораздо дальше рассуждений о географических последствиях внедрения Интернета: «Исследование исторических сведений о торговле продуктами между странами показывает, что широкомасштабное и неуклонное улучшение технологий преодоления пространства не может совладать с мощной ролью географической близости. Это означает, что современный или будущий прогресс в технологиях коммуникаций, таких как Интернет, тоже не сможет снизить роль близости» [Leamer, Storper, 2001, p. 645].

В западной экономической литературе уже почти полвека принято различать два вида использования товаров – «найти товар» и «опробовать товар» («search» goods and «experience» goods). В первом случае речь идет о получении сведений о товаре, которые очевидны, что называется, с первого взгляда, но это только часть его ценности. На этом этапе товар можно перемещать между безликим продавцом и анонимным потребителем, и все это легко поддается кодификации в силу простоты свойств, снятых «с первого взгляда»; сведения об этой части ценности товара можно легко кодифицировать и передать, скажем, по Интернету. Другая же часть ценности товара может быть понята только после некоторого периода его использования, она неочевидна и сильно зависит от свойств самого потребителя – его вкусов, способностей освоить этот товар и т.п. Именно эти свойства потребителя формируют «смысл» товара, на это можно повлиять рекламой, но в ограничен-

ном диапазоне. Информацию такого рода вряд ли возможно кодифицировать, ее передача нуждается в личностных связях, в доверии, опыте взаимного общения и т.п. Здесь Интернет вряд ли сможет помочь. Недаром Лимер и Сторпер отмечают, что расцветший было бизнес В2В («би-ту-би», т.е. от бизнеса к бизнесу) испытывает ныне большие трудности, поскольку он чисто интернетный бизнес [ibid., p. 653].

Обобщая, можно утверждать, что в антропологическом смысле тезис о «смерти пространства» выглядит чистой воды иллюзией. Он обусловлен, как это ни парадоксально, именно тем, что технический прогресс транспорта и связи открыл человеку неслыханные возможности для того, чтобы преодолевать географическое пространство. Человек стал, по выражению многих западных авторов, «утонченным потребителем пространства», его вкусы при восприятии неравномерности географической среды стали гораздо тоньше и сложнее, притом именно потому, что в его повседневном распоряжении оказалось теперь гораздо больше весьма контрастных мест – по крайней мере, в богатых странах Запада с их высокой автомобилизацией граждан. Еще полвека назад в США стали выделять так называемые «суточные городские системы» (daily urban systems) в виде весьма обширных ареалов вокруг крупных городов, где замыкался жизненный цикл горожан, регулярно перемещающихся между местами своего проживания, работы, развлечений или отдыха на природе. Постепенно, с развитием транспортной сети и совершенствованием средств транспорта, радиус этих систем становился все больше и больше. Тем самым оказывалось, что современный человек в развитых странах мира нуждался в своем быту во все более обширной части географического пространства, и хотя освоение последнего становилось все менее затруднительным, сама по себе зависимость человека от пространства явно увеличивалась. Какая уж тут «смерть пространства»! Как бы не наоборот... Еще недавно человеку приходилось пробиваться сквозь пространство с немалым трудом, и человек был закован расстояниями в свой небольшой ареал обитания. Теперь человек научился преодолевать его гораздо свободнее, ареал обитания сильно расширился, и владение географическим пространством стало бытовой необходимостью современной жизни, притом настолько бытовой, что оно превратилось в привычку и потому почти не заметно. Отсюда и иллюзия смерти пространства. Оно просто ушло на второй план, притом именно из-за того, что чело-

век его уже как бы «приручил» и его с первого плана общественного внимания оттеснили более трудные задачи.

Интересную с этой точки зрения попытку реабилитировать географию предпринял американский журналист-популяризатор Джозел Коткин, издавший книгу «Новая география: как компьютерная революция преобразует американский ландшафт», которая сразу стала очень популярной в англоязычном мире [Kotkin, 2000]. Написание этой книги было спровоцировано, по-видимому, той широкой кампанией по поводу «смерти» пространства, о которой говорилось выше и которая влекла за собой, казалось бы, смерть самой географии, новое «безместье» (placelessness), где все места равнозначны, одинаково достижимы и вообще одинаковы. Нет, заверяет Коткин, все как раз наоборот: революция в средствах связи и транспорта позволила человеку по-иному строить и использовать пространство – более свободно от внешних обстоятельств и более ориентированно на нужды самого человека. Поэтому человек стал гораздо внимательнее относиться к качеству и свойствам самого места, а не к его расположению относительно других мест. Эти свойства важны не производительным силам, а прежде всего самому человеку – удобная среда обитания, историческое наследие, благоустройство местности, красота, добротный социум с низкой преступностью и благожелательными традициями и т.п. В своей рецензии (весьма благосклонной) на книгу Коткина английский журнал «Экономист» писал: «Освободившись от прежних пут местоположения – близости к сырью, рынкам или скоплениям дешевой рабочей силы, – новые типы бизнеса пойдут туда, где, как им кажется, их – высокообразованных и хорошо оплачиваемых работников – будет сильнее всего привлекать качество жизни. В результате такие люди станут изощренными потребителями пространства» [Place matters, 2000]. Сам же Коткин выражает эту мысль еще резче: «Компании и люди все больше размещаются не там, где должны, а там, где им хочется» [Kotkin, 2000, p. 26].

Одним из важнейших следствий этого процесса стало своего рода «разведение» места жилья и места работы. Могучие автострады и миллионы личных автомобилей дали возможность этим местам разойтись в пространстве на большие расстояния. И эта возможность была быстро реализована, потому что у жилья и производства оказались весьма разные факторы размещения. Для производства, как и встарь, огромную роль играло ГП, а для жилья важнее всего были качества самого места, причем эти качества оказывались совсем иными по сравнению с теми, которые нужны, как правило, производству.

Согласно Коткину, умирает не пространство, не география, не место – снижается общественное значение географического положения, и на этом фоне вырастает значимость самого места как такового. Перефразируя центральную мысль Коткина, можно сформулировать так: место вместо местоположения. В свое время К. Маркс сказал, что в будущем вся история человечества до победы коммунизма будет сочтена предысторией, а настоящая история начнется только после этой победы. То же можно метафорически сказать о центральной идее Коткина: пока человек столь сильно зависел от внешних факторов в своем размещении на Земле, мы имели дело с «протогеографией», а вот теперь, когда во главу угла встало разнообразие условий проживания человека в мириадах особенных мест нашей планеты, настоящая география только начинается...

Этот сдвиг от местоположения к месту можно отследить и даже параметризовать с помощью анализа так называемого брендинга городов – рекламных кампаний, которые проводят власти различных городов ради привлечения новых жителей и новых инвестиций (а заодно и для повышения уровня оптимизма у местных жителей). Беглое ознакомление с подобными материалами по США позволяет заметить, что еще недавно реклама упирала на близость к различным «важным» местам (глобальному городу, крупному национальному парку, автостраде) или на принадлежность к «хорошему» району («Джексонвилл – ворота во Флориду»). Однако теперь все явственнее акцентируются качества самого города (историческое наследие, красивые виды, здоровая среда, гостеприимство жителей, низкая преступность и т.п.). Среди наших географов уже есть ученые, которые исследуют этот феномен профессионально, и не только потому, что это сулит хороший заработок (ведь в России брендинг городов и регионов развивается стремительно), но и в чисто научных целях. Здесь особенно успешно работал безвременно ушедший от нас Денис Валерьевич Визгалов.

Общественное бытие человечества быстро и решительно меняется, и географии придется отвечать на эти перемены переменами в своих парадигмах. Как и в остальных общественных науках, история гуманитарной географической мысли не есть самосовершенствование по мере накопления знаний и углубления анализа или простое восхождение науки по ступеням неких «прозрений» с отбрасыванием прежних парадигм, словно каких-то заблуждений типа «флогистона». Нет, можно утверждать, что на каждой стадии развития общества географии удавалось, хотя и

не сразу, адекватно отразить его состояние, а со сменой стадии – сменить и парадигмальную основу на другую, более соответствующую новой реальности. Во времена К.И. Арсеньева, в середине XIX в., при полном господстве сельского хозяйства в структуре производительных сил, при огромной зависимости общества от сил Природы, представление о территориальной структуре общества сводилось к природному районированию. К началу XX в. вызрело представление об аграрном районировании, которое отразило существенное освобождение сельского хозяйства, все еще господствующей формы производительных сил, от природных сил. Бурное развитие промышленности в XX в. заставило создать экономическую географию, и территориальная структура общества предстала в виде системы экономических районов, территориально-производственных комплексов или промышленных узлов и центров [Смирнягин, 2005].

Наступает постиндустриальная эра, и в географии общества появляется все больше совершенно новых черт, новых факторов развития, которые вынуждают приступить к новому пересмотру теоретических основ нашей науки. Подобный кризис переживают практически все общественные науки (за исключением, может быть, самых молодых, еще не успевших нажать историю). Географам все чаще приходится признавать, что в своем общественном поведении человек руководствуется не только и не столько пресловутыми объективными свойствами объективного мира, сколько своим представлением об этих свойствах, а поскольку оно, это представление, в сильнейшей мере опосредовано социокультурными факторами, нужно наращивать способность географии изучать этот феномен, притом не как факт социальной патологии (к этому была склонна поведенческая география), а в качестве «второй», вполне полноправной реальности.

Как сложится при этом судьба фундаментальных понятий географии? Можно с уверенностью сказать, что, как и раньше, они не исчезнут, но изменятся как их содержание (хотя бы частично), так и соотношение их друг с другом по важности.

Противоположны ли «место» и «местоположение»?

Противопоставление места и местоположения чревато появлением парадокса. *Местоположение* – это зависимость от контекста, это широкий взгляд на пространство с упором на взаимоотно-

шения объектов, и на этом фоне Место выглядит чем-то нарочито замкнутым, неким самоограничением в пространстве. Разрешением этого парадокса может послужить компромиссный взгляд: Место само по себе как бы контекстуально, но раньше контекстом было Местоположение, а теперь – некие общепринятые (договорные) принципы отношения к Месту, на фоне которых осознаются его качества. В этом смысле Место может меняться, не меняясь физически, потому что изменилось представление о его качествах. Если перефразировать этот тезис словами Клиффорда Гирца, основателя символической (интерпретативной) антропологии (мы, географы, обязаны ему слоганом «Никто не живет в мире как бы вообще»), то конкретные места, столь дорогие сердцу практиков вроде планировщиков, предстанут как «дискурсивные места», по поводу которых пересекаются (и переписываются) различные толкования и тексты, и новые места есть переписанные старые [Hönnighausen, 2005].

Отличной подтверждением справедливости такого взгляда может служить конкретное место под названием Сент-Луис, штат Миссури. Он расположен в самом центре страны и обладает на редкость удачным местоположением: он стоит на Миссисипи, величайшей реке Северной Америки, притом у того места, с которого выше по реке начинаются пороги. Здесь или неподалеку в Миссисипи впадают два главных ее притока – реки Огайо и Миссури (которая длиннее, чем Миссисипи, до места слияния – случай, аналогичный Волге и Каме); три эти реки образуют как бы крест, крылья которого распростерты на добрую половину территории «смежных» США. Вдобавок неподалеку в Миссисипи впадает река Иллинойс, верховья которой находятся совсем близко к истокам реки Чикаго, впадающей в оз. Мичиган. Еще в XIX в. эти реки были соединены каналом, и тем самым бассейн Миссисипи был соединен с бассейном Великих озер. Сам город образовался тут задолго до того, как к Миссисипи вышли американцы: он был основан французами в 1763 г., и к моменту покупки французских владений в 1803 г. тут насчитывалось около 2 тыс. жителей, а это по тем временам немало. Более того, именно тут, напротив будущего Сент-Луиса, задолго до прихода европейцев возникло самое крупное в Северной Америке поселение индейцев Кахокия, от которого остались лишь курганы.

Одним словом, трудно найти на территории США место, которое больше Сент-Луиса подходило для создания там столицы этой громадной страны. И действительно, подобные мечтания были весь-

ма распространены здесь во второй половине XIX в. Ведь в Сент-Луисе органично сочетались черты всех трех главных регионов США – Востока, откуда пришли главные отряды поселенцев, Юга, влияние которого шло вверх по Миссисипи, и Запада, колонизация которого долгое время имела своей главной базой именно Сент-Луис (в ознаменование этого в 1963–1965 гг. в Сент-Луис была построена громадная арка «Ворота на Запад»). Сент-Луис одолел Цинциннати в борьбе за первенство в зааппалачской части страны, и хотя потом он проиграл это соревнование Чикаго, тем не менее долгое время оставался крупным городом. Недаром в 1904 г. в Сент-Луисе состоялись грандиозная Всемирная выставка и летние Олимпийские игры.

Однако затем начался упадок Сент-Луиса. Его трудно объяснить, потому что в физическом облике города и его окружения ничего, казалось бы, не изменилось: все тот же высокий обрыв над рекой (большая редкость в миссисипской долине), по-прежнему полноводны реки, неподалеку, чуть к северу, находится «центр населения» США, вычисленный так называемым центрографическим методом. Главная причина упадка – перемена в общественной жизни страны, и упадку социально-экономическому предшествовал упадок Сент-Луиса во мнении американцев. Превосходное местоположение оказалось невостребованным, в оценках Сент-Луиса оно отошло на второй и даже третий план. Канал Иллинойс – Чикаго, который мог сделать из Сент-Луиса перекресток важнейших внутренних водных путей (в широтном направлении по рекам Огайо и Миссури, в меридиональном – по Миссисипи и Великим озерам), используется лишь как сток нечистот из Чикаго в Миссисипи, долина которой гораздо ниже уровня Великих озер; и благодаря прорытому каналу река Чикаго потекла вспять, ее устье превратилось в исток; там пришлось соорудить шлюз, чтобы озеро Мичиган не «утекло» в Мексиканский залив...

Так в течение века был «переписан текст» Сент-Луиса, хотя в физическом отношении его местоположение осталось неизменным. Корень перемен лежит, по-видимому, в том, что представление человека о пространстве сильно усложнилось со времен Канта, который утверждал, что чувство пространства заложено в человеке априори. Со времен Фуко и Лефевра пространство и Место перегружены человеческим отношением к ним, это уже поле пересечений разных смыслов и текстов. Их приходится переписывать со временем почти безотносительно к тому, как меняется само место.

Это усложнение позволяет предполагать, что современному человеку уже по силам воспринимать и место, и местоположение

без особого противопоставления одного другому. Освободив представление о своем месте от окружающего контекста, он получил возможность смотреть на мир гораздо шире и независимее. За окном его Места начинается Внешний мир, который как бы однообразен по отношению к Месту. Он по-прежнему сильно влияет на Место, но, пожалуй, уже не по закону Тоблера, а по другим, более сложным соображениям. Тем самым оказываются правы (хотя бы отчасти) те, кто утверждает, что расстояние теряет свою значимость. Похоже, прав и Т. Фридман, который написал, что мир плоский. Позволю себе высказать по этому поводу следующую гипотезу: в сознании современного «леfebрианского» человека пространство начинает выступать не столько в своей метрике, сколько в топологическом облике.

В заключение одно замечание а priori. Место и местоположение как понятия связаны настолько тесно, что раздельное их рассмотрение (и тем более противопоставление) может показаться делом сомнительным с методологической точки зрения. Между тем подобная операция – обычное дело в науке, и чтобы не ходить далеко за примерами, укажем на традицию рассматривать Время и Пространство порознь. В теоретической географии постоянно используется прием игнорирования вариации «посторонних» переменных, чтобы посвятить исследование главному для нашей науки параметру – расстоянию. Именно так поступил в своем «Изолированном государстве» И. Тюнен: он предлагал представить себе бескрайнюю совершенно плоскую равнину с монотонным уровнем плодородия, в центре которой стоит некий Город как рынок продукции, производимой на этой равнине сельским хозяйством (при этом Город сведен к точке). Тем самым он мысленно представил себе объект, в котором все свойства географически монотонны, чего, разумеется, не бывает в реальности. Это было нужно Тюнену только для одного – чтобы расстояние до Города оказалось единственным параметром, вариация которого приводит к строгой упорядоченности сельского хозяйства, окружающего Город. Это был типичный «мысленный эксперимент»; подробнее об этой традиции см.: [Филатов, 2015]. Следуя именно этой традиции, автор позволил себе противопоставление, казалось бы, неразделимых понятий.

Литература

- Бунге В. Теоретическая география. – М.: Прогресс, 1967. – 279 с.
- Голд Дж. Психология и география: основы поведенческой географии. – М.: Прогресс, 1990. – 304 с.
- Курасов А.И., Трейвиш А.В. Мировые города в постиндустриальной экономике: термины, теоретические конструкции и реальность // Мир России. – 2009. – № 1. – С. 34–46.
- Лефевр А. Социальное пространство // Неприкосновенный запас. – М., 2010. – № 2(70). – Режим доступа: <http://mag.russ.ru/nz/2010/2/le1.html> (Дата посещения: 13.03.2016.)
- Смирнягин Л.В. Место вместо местоположения? (О сдвигах в фундаментальных понятиях географии) // Географическое положение и территориальные структуры / Под ред. А.А. Агиречу. – Социальное пространство. – Москва: Новый хронограф, 2012. – С. 421–456.
- Смирнягин Л.В. О региональной идентичности // Вопросы экономической и политической географии зарубежных стран. – М., Смоленск, 2007. – Вып. 17. – С. 21–49.
- Смирнягин Л.В. Предисловие // Книпович В.Н. О методологии районирования. – М.: Трилобит, 2003. – С. 4–6.
- Смирнягин Л.В. Узловые вопросы районирования // Известия Российской академии наук. Серия географическая. – М., 2005. – № 1. – С. 5–16.
- Стрелецкий В.Н. Парадигмы геопространства и методология культурной географии // Гуманитарная география: Научный и культурно-просветительский альманах. – М.: Институт наследия, 2004. – Вып. 1. – С. 95–104.
- Торопов В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура / Отв. ред. Т.В. Цивьян. – М.: Наука, 1983. – С. 227–284.
- Трейвиш А.И., Курасов А.В. Мировые города в постиндустриальной экономике: термины, теоретические конструкции и реальность // Мир России. Социология. Этнология. – М., 2009. – Т. 16, № 1. – С. 34–46.
- Филатов В.П. Мысленные эксперименты в науке: природа и функции // X Сократические чтения. Реальность как социальные эстафеты: Сб. докладов / Под ред. В.А. Шупера. – М.: Эслан, 2015. – Архив Л.В. Смирнягина.
- Филиппов А. Гетеротопия родных просторов // Отечественные записки. – М., 2002. – № 6–7. – С. 48–62.
- Филиппов А. Социология пространства: общий замысел и классическая разработка проблемы // Логос. – М., 2000. – № 5. – http://www.ruthenia.ru/logos/number/2000_2/09.html (Дата посещения: 02.01.2015.)
- Anderson J.E., Wincoop E., van. Trade costs // Journal of economic literature. – Nashville, 2004. – Vol. 42, N 3. – P. 691–751.
- Barnes T.J. A Paper related to everything but more related to local things // Annals of the Association of American geographers. – Washington, DC, 2004. – Vol. 94, N 2. – P. 278–283.
- Berdichevsky N. In defence of geography // Contemporary review. – L.; N.Y., 1998. – Vol. 273, Is. 1594. – P. 248.
- Cairncross F. Is the world flat? (Letter to the editor) // Foreign policy. – Washington, DC, 2007. – N 160, May 1. – P. 4.

- Cairncross F. The death of distance: How the communications revolution will change our lives. – Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 1997. – 303 p.
- Desai M. Cycle and the Hayek, Marx and demise of official keynesianism // Inflation and unemployment: Contributions to a new macroeconomic approach. – L.: Routledge, 1996. – P. 137–150.
- Diamond J. Guns, germs, and steel: The fates of human societies. – N.Y.: W.W. Norton & Co., 1998. – 480 p.
- Distance isn't dead // The Wilson quarterly. – Washington, DC, 2005. – Vol. 29, Is. 1. – P. 91.
- Florida R. The flight of the creative class: The new global competition for talent. – N.Y.: Collins, 2007. – 326 p.
- Florida R., Gulden T., Mellander C. The rise of the mega-region. – Toronto, Ont.: Martin Prosperity Institute, 2007. – 31 p. – Mode of access: http://www.creativeclass.com/rfcgdb/articles/Florida,%20Gulden,%20Mellander_Mega-Regions.pdf (Дата посещения: 13.03.2016.)
- Florida R., Schulte B. Choosing a place to live: Why it's as important as picking a spouse // U.S. news & World report. – 2008. – February 14. – Mode of access: <http://www.usnews.com/news/national/articles/2008/02/14/qa-richard-florida> (Дата посещения: 13.03.2016.)
- Friedman T.L. The world is flat: A brief history of the twenty-first century. – N.Y.: Farrar, Straus and Giroux, 2005. – 488 p.
- Fukuyama F. The end of history and the last man. – N.Y.: Free press, 1995. – 418 p.
- Ghemawat P. Why the world isn't flat // Foreign policy. – Washington, DC, 2009. – N 159, October 14. – Mode of access: <http://foreignpolicy.com/2009/10/14/why-the-world-isnt-flat/> (Дата посещения: 13.03.2016.)
- Gottmann J. Megalopolis: the urbanized north-eastern seaboard of the United States. – L., etc.: M.I.T., 1961. – 814 p.
- Harvey D. The condition of postmodernity: An enquiry into the origins of cultural change. – Cambridge, Mass.: Blackwell, 1990. – 378 p.
- Hönnighausen L. Where are we? Some methodological reflections on space, place, and postmodern reality // Space in America: Theory history culture / Benesch K., Schmidt K.K (eds). – Amsterdam; N.Y.: Rodopi, 2005. – P. 41–52.
- Kotkin J. The new geography: How the digital revolution is reshaping the American landscape. – N.Y.: Random House, 2000. – 242 p.
- Krugman P. Development, geography, and economic theory. – Cambridge, Mass.: MIT Press, 1997. – 117 p.
- Landes D. The wealth and poverty of nations: Why some are so rich and some so poor. – N.Y.: W.W. Norton & Company, 1998. – 658 p.
- Leamer E.E., Storper M. The economic geography of the Internet age // Journal of international business studies. – Atlanta, Ga., 2001. – Vol. 32, N 4. – P. 641–665.
- Lefebvre H. La production de l'espace. – Paris: Anthropos, 1974. – 485 p.
- Lefebvre H. The production of space. – Oxford, OX, UK; Cambridge, Mass.: Blackwell, 1991. – 454 p.
- Mattews J., Herbert D. Geography – very short introduction. – Oxford: Oxford univ. press, 2008. – 181 p.
- Place matters // The economist. – 2010. – November 9. – Mode of access: <http://www.economist.com/node/418391> (Дата посещения: 13.03.2016.)

- Soja E. Postmodern geographies: the reassertion of space in critical social theory. – L.; N.Y., 1989. – 266 p.
- Stiglitz E. The world is not flat // U.S. news & World report. – 2006. – September 18. – Mode of access: <http://www.usnews.com/usnews/news/articles/060910/18qa.htm> (Дата посещения: 12.04.2009.)
- Tuan Y.-F. Space and place: The perspective of experience. – Minneapolis – Minn: Univ. of Minnesota press, 1977. – 235 p.

Н.Ю. Замятина*

«ЗЕМЛЯ НАША ДАЛА МИРУ...»: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРЕНДИНГА ТЕРРИТОРИЙ

Аннотация. Статья посвящена брендингу территорий как одной из форм символической политики. Рассмотрено соотношение понятий «бренд территории», «символический капитал территории», «образ территории». Большое внимание уделено «стихийному» брендингу регионов России, проявляющемуся в замене в текстах официальных наименований субъектов РФ на более «естественные». Рассмотрены типичные ошибки в брендинге территорий, связанные со слишком узким подходом к территории или в использовании клише, восходящих к советской школе экономической географии.

Ключевые слова: символический капитал территории; бренд территории; регионы России; культурная география.

N.Yu. Zamjatina

«Our land has given to the world...»:

The national features of branding territories

Abstract. The article is devoted to branding of a territory as a form of symbolic politics. The paper considers the usage of such terms as «brand of a territories», «symbolic capital of a territory», «territorial image». The author have paid a great attention to the «vernacular» branding of the regions of Russia, manifested in the change of the official names of subjects of the Russian Federation with a more «natural» ones. Typical errors in the territorial branding are also examined. They come usually from the too narrow approach to the territory or using of the cliché, dating back to the Soviet school of economic geography.

* **Замятина Надежда Юрьевна**, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник кафедры социально-экономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ им. Ломоносова, e-mail: nadezam@yandex.ru

Zamjatina Nadezhda, M.V. Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia), e-mail: nadezam@yandex.ru

Keywords: territorial symbolic capital; brand of a territory; regions of Russia; cultural geography.

Начиная с 90-х годов в России постепенно распространяется новый феномен – брендинг территорий, но только в последние три года он превратился в массовое явление (см. табл. 1). Правда, и в теории, и на практике под этим термином может подразумеваться очень широкий спектр явлений и задач – от рисования логотипа до работы с волонтерами и проведения субботников. Более подробно о ситуации в брендинге можно прочесть в книге пионера и, пожалуй, наиболее последовательного теоретика отечественного брендинга городов Дениса Визгалова [Визгалов, 2015]. Мы же остановимся на более широком политическом и культурном аспекте увеличения внимания к брендированию территорий, рассмотрев брендинг с позиций культурной географии.

Современная культурная география [Anderson, 2010] опирается на три основных постулата. Во-первых, любая человеческая деятельность происходит не в вакууме, но в контексте, и именно в территориальном контексте. Она «имеет место». Соответственно, особенности места влияют на человеческую деятельность. Особенности места определяются оставленной в нем совокупностью материальных и нематериальных следов (включая смыслы). Осуществление власти над местом («овладение местом») как раз и подразумевает создание таких следов. Это касается и символической власти – создания смыслов места. Очевидно, что брендинг можно в общем случае рассматривать как целенаправленную деятельность по формированию смыслов места и тем самым соотносить с практиками осуществления местной / региональной власти.

В большинстве случаев брендинг территории понимается как инструмент повышения инвестиционной привлекательности, влияющий на поведение туристов и инвесторов, – как это обычно и указывают в официальных источниках¹.

¹ Так, например, на сайте Минэкономразвития прямо указано: «Важной предпосылкой успешного привлечения инвестиций на территорию региона, развития внутреннего и въездного туризма, расширения экспорта является формирование привлекательного бренда товаров и услуг, бренда региона, отражающего его туристско-рекреационный потенциал, производственную, научную или иную идентичность. Такие бренды оказывают сильную поддержку региональным производителям, в том числе помогая формировать производственные кластеры, привлекать высококвалифицированных специалистов и инвесторов. Одним из важнейших условий повыше-

**Число упоминаний в РИНЦ понятий,
имеющих отношение к брендингу территорий**

Поисковые запросы ¹	1991–1999	2000–2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Бренд территории	0	0	0	0	0	6	13	25	35	47	93	121	138
Территориальный брендинг	0	0	0	0	0	0	1	9	5	10	20	26	38
Бренд региона	0	4	1	7	6	11	15	36	37	35	69	100	128
Бренд города	0	1	3	1	4	3	11	18	12	31	64	86	91

Попробуем, однако, разобраться, каким именно образом бренд может повлиять на поведение инвесторов и «квалифицированных специалистов», рассмотрев бренд как один из видов представления о территории.

ния неценовой конкурентоспособности товаров и услуг отечественного производства на внутреннем и внешнем рынках является повышение оценки их качества и престижности потребления. Учитывая значимость укрепления бренда региона в качестве фактора социально-экономического развития, необходимым является оказание информационной, методологической помощи и образовательной поддержки реализации проектов развития брендов городов и регионов, призванных обеспечить формирование эффективных механизмов маркетинга территорий». См.: Инструменты продвижения брендов территорий // Минэкономразвития России: официальный сайт. – Режим доступа: <http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/brends/>

¹ Результаты запросов включают упоминание слов «брендинг» + «территория», «регион», «город» (с учетом морфологии) в названии публикации, аннотации и ключевых словах. Например, результаты запроса «бренд региона» включают статьи с упоминанием слов «бренд» и «регион», но не обязательно всего словосочетания «бренд региона». Мы отказались от поиска по словосочетанию, так как имеющийся поисковый инструментарий, как показала проверка, не избавляет полностью от включения в результаты поиска небольшого количества «лишних» работ.

«Брендинг» в системе понятий, описывающих представления о территории

Ключевым, наиболее часто используемым понятием при этом выступает термин *образ территории* (синоним – *географический образ*). Данные понятия используются как некая «единица» географических представлений. Между тем за ними могут стоять содержательно различные объекты.

В наиболее поверхностной трактовке географический образ определяется как часть представлений о географическом объекте, основанная на атрибутивной информации о нем (в отличие от пространственной информации) [Замятина, 2001; Мир глазами россиян, 2003]. Между тем доказано [Замятина, 2001], что невозможно (вслед за Дж. Голдом [Голд, 1990]) провести строгую границу между пространственными и атрибутивными представлениями: информация о местоположении объекта автоматически несет информацию о его свойствах в силу явления трансляции географических образов. Само разделение информации на атрибутивную и пространственную оказывается условным. Поэтому географический образ в данной трактовке оказывается синонимом понятия «представления о географическом объекте».

Согласно другой трактовке (преобладающей в основном в англоязычной литературе), образ территории – визуальное представление о территории, «картинка», встающая перед мысленным взором в связи с некоторой территорией [Cosgrove, 1989; Tuan, 1990]. При таком понимании географические образы, в свою очередь, можно разделить на квазикартографические (образ карты, представляемый в связи с некоторой территорией) и квазипейзажные (любые мысленные «картинки», отличные от представлений о карте и увязываемые с определенной территорией: элементы пейзажа, достопримечательности, фигуры людей, а также гербы и другая официальная символика и др.).

Образ карты, возникающий перед мысленным взором в связи с некоторой территорией, нередко называют ментальной картой (понятие «ментальная карта» также употребляется в различных значениях) [Замятина, 2008; Книжников, 1999; 2000]. Американский географ К. Боулдинг дал поистине образное описание именно такого рода образа – ментальной карты: «Сидя за своим письменным столом, я знаю, где я нахожусь. Я вижу перед собой окно; за ним – несколько деревьев; затем красные крыши зданий Стэнфордского университета; дальше – деревья и верхушки крыш го-

рода Пало-Альто; еще дальше – голые золотистые склоны Гамильтоновых гор. Я знаю, однако, больше, чем вижу. <...> Если я снова взгляну перед собой, то за горами, ограничивающими сейчас мой горизонт, есть, я знаю, широкая долина; за ней – цепь еще более высоких гор; за этими горами – снова хребет за хребтом, пока не появятся Скалистые горы; дальше – Великие равнины и Миссисипи; за ними – Аллеганы, еще дальше – Восточное побережье, еще дальше – Атлантический океан...» [цит. по: Найссер, 1998, с. 126].

Однако именно данный фрагмент Боулдинга подверг критике психолог, специалист по когнитивной психологии У. Найссер, указав, что предстающие перед мысленным взором «картинки» – отнюдь не заложенный в сознании «образ», а лишь мгновенный «срез» значительно более сложной и, главное, – динамичной мысленной системы (так называемая «мысленная схема»), развертывающейся в мозгу человека [там же, с. 126]. Аналогично фиксация сознания на той или иной ассоциации, увязываемой, например, с названием страны и служащей предметом многочисленных популярных социологических опросов, – лишь мгновенный, ситуативно обусловленный «срез» более сложных мыслительных структур. Этот феномен, взятый сам по себе, вообще не представляется нам в качестве объекта продуктивного исследования.

Ключом к другой возможной трактовке понятия «образ» может служить то обстоятельство, что определенная «визуальность» характерна и для русской семантики слова «образ» (ср.: «образá» в смысле «иконь»). Икона-образ – не изображение само по себе, но символ, служащий посредником между обыденным миром, «данным нам в ощущении», и миром «горним»: икона трактуется как напоминание, а не изображение. По аналогии географический образ может рассматриваться не только как изображение, но и как представление, презентация сложного, «незримого» явления – в данном случае происходящих в мозгу человека процессов, сложной сети мысленных взаимосвязей, возникающих «по поводу» определенного географического объекта. Заметим, что речь здесь идет не о мысленных «картинках», а о более сложных мысленных «схемах», участвующих в мышлении [там же, с. 126].

Подобная трактовка понятия «географический образ» априори предполагает, что географический образ – это *репрезентированные представления*, представления не «в голове», но отраженные в той или иной доступной для восприятия форме: визуальный образ, литературный образ («образ мира, в слове явленный») и др. Заметим, что обычная географическая карта явля-

ется, по сути, иконической символической системой – и тем самым собственно географическим образом в данном значении¹.

В последнем случае понятие образа близко уже к понятию символа – и отчетливо их разграничить затруднительно, поэтому будем в данном случае говорить об образно-символическом представлении (репрезентации) представлений о территории. К числу форм образно-символической репрезентации представлений, безусловно, нужно отнести и слово, обозначающее, означающее определенную территорию. Само звучание названия города, например, отсылает к тем или иным представлениям, привязывает их к означаемой территории – иногда довольно неожиданным образом².

«Работа» образно-символической репрезентации территории определяется следующими обстоятельствами.

Во-первых, символ может быть понятен только тому, кто знаком с соответствующей символической системой (язык, культурный код и др.): «...много в этом звуке для сердца *русского* слылось», но для нерусского (скажем, японского или даже готтентотского) сердца данная репрезентация представлений русских о Москве (в данном случае просто топоним «Москва») говорит совсем другое и вообще ничего. Тем самым географический образ формируется и «читается» только в рамках определенной символической системы (т.е. носителями определенной культуры или субкультуры; говорят также о *коммуникативной компетентности адресата*). Географический образ – не только сам текст (пейзаж и т.п.), но и «несомый» им смысл, доступный к пониманию только в рамках соответствующей смысловой системы (системы культурных кодов и т.п.).

Во-вторых, символ есть обозначение сложного в простом – отсюда определение географического образа как «емкой, целостной, компактной» характеристики некоторой территории [Замятин, 2007].

В-третьих, любой символ (в отличие от знака) подразумевает некоторую вариативность прочтения: в данной трактовке обращение к географическим образам предполагает переход от причинно-

¹ О карте как символической системе см.: [Берлянт, 1986; 1996; 2001; Серапинас, 2007].

² Одна из попутчиц в сибирском аэропорту рассказывала мне, как ее сокурсники в советское время выбирали местом распределения по окончании вуза город Анжеро-Судженск, о котором они не могли сказать ровным счетом ничего, кроме того, что название города звучит похоже на романтическое «Рио-де-Жанейро».

следственных к вероятностным построениям, от онтологии Ньютона к онтологии Выготского [подробнее см., например: Макаров, 2003, с. 15–17].

В итоге, когда мы имеем в виду образ территории в репрезентационном, символическом смысле, можно говорить о формировании и закреплении в культуре *определенного способа репрезентации представлений* о конкретной территории.

Обратимся теперь к той совокупности представлений, которая стоит за репрезентацией. Среди многочисленных терминов, используемых современными гуманитарными науками для обозначения такого рода представлений, наиболее подходящим нам представляется термин «концепт». Концепт понимается как «сгусток культуры в сознании человека, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек <...> сам входит в культуру. <...> Концепт – основная ячейка культуры в ментальном мире человека» [Степанов, 2001, с. 43]¹.

Образ (понимаемый как культурно устойчивый способ репрезентации) и концепт места формируют связную структуру, где образ «лежит на поверхности», а концепт места отражает то, что «стоит» за данным географическим образом в соответствующей культурно-символической системе.

Пара «образ (образно-символическая репрезентация) – концепт места» находит свои параллели в других областях знания. Так, например, в концепции общественных представлений С. Московичи рассматривается процесс «заякоривания» сложных понятий путем представления их в массовом сознании через относительно простые образы [Макаров, 2003, с. 69–71].

Заметим, что в трактовке Д.Н. Замятина географический образ рассматривается не только как символ, но и как более широкая сеть, комплекс связанных с местом представлений: «система знаков, символов, архетипов и стереотипов» [Замятин, 2007], т.е. под географическим образом понимается вся система «репрезентация + концепт»; с когнитивно-психологической точки зрения синонимами географического образа в данном случае будут фрейм, ментальные репрезентации, возможно – когнитивная схема и др.

¹ Подробнее о понятии концепт см.: [Степанов, 2001, с. 43–83]. Классическим описанием концепта места можно считать анализ образа Петербурга в «петербургском тексте» русской литературы Топорова [Топоров, 1995].

В данной статье используется более простая трактовка образа территории, как и было указано выше.

Где в полученной связке место бренду? Если принять точку зрения Д. Визгалова о различении бренда и логотипа (может быть логотип без бренда и бренд без логотипа) [Визгалов, 2015], то бренд – это скорее концепт, совокупность представлений, а не образно-символическая репрезентация, хотя во многих случаях бренд отождествляется именно с репрезентацией, с логотипом (см. многочисленные статьи типа «такой-то регион получил свой бренд», рапортующие о выполнении госзаказа на разработку логотипа). Будем считать, что *логотип* – это официально утвержденная форма образно-символической репрезентации бренда, а *бренд* – это стереотипное представление о территории (стереотипный характер бренда-концепта представляется очевидным).

Бренд и символический капитал территории

Вернемся теперь к роли бренда в региональной политике. Очевидно, что бренд как стереотипное представление о территории имеет довольно ограниченный спектр применения. Хотя, как показал Д. Канеман, в силу присущего человеку свойства экономики мышления решения значительно чаще, чем этого можно ожидать, принимаются на основе самых поверхностных рассуждений [Канеман, Словик, Тверски, 2005], опыт изучения территориальных брендов позволяет логически ограничить спектр применения брендов следующими случаями.

1. Случаи ограниченного по времени принятия решения о взаимодействии / не взаимодействии с территорией. Едва ли современный инвестор или человек, собирающийся мигрировать на новую территорию, принимает решение о крупной сделке без изучения различных параметров территории потенциальных инвестиций. При этом скорее речь идет об исключении из рассмотрения территорий, бренды которых имеют негативные коннотации (например, бренд «Чернобыль»), нежели о влиянии успешных брендов на окончательный выбор в пользу территории. Любопытно в связи с этим отметить, что места, пригодные для вселения, часто ограничиваются более западными участками страны: Хабаровск – популярное место вселения мигрантов из Магадана, Красноярск – из Норильска, но никак не из более западных районов страны [Замятина, Пилясов, 2014].

2. Случаи, когда свойства товара напрямую связаны с территорией происхождения (характерно, например, для пищевой продукции). Здесь отсылка к бренду территории происхождения действительно может повлиять на решение о предпочтении соответствующего товара. Замечательный пример такого рода – создание глобальной корпорацией «Колгейт» товарной линейки «Алтайские травы»: очевидно, что для универсальной линейки продукции «с травами» в условиях России был подобран регион, в наибольшей степени ассоциирующийся у населения с экологически чистой, нетронутой природой (в состав продукта входят травы, которые растут почти повсеместно: ромашка, шалфей и т.п.).

3. Случаи, когда продается сам престиж (по сути, бренд) территории. Это актуально для современных форм туризма, основанных на принципах экономики впечатлений, для покупки недвижимости в престижном районе, а также для всех случаев, когда имеет место самоидентификация человека и территории. Здесь брендинг запускает интересный механизм – связку между символическим капиталом территории и символическим капиталом личности, к ней причастной.

Понятие символического капитала введено в науку П. Бурдьё. Символический капитал не тождественен образу, а представляет его прикладной срез, оценку доверия к потенциальному партнеру.

Понятие *символического капитала территории* разрабатывается на основе более общего понятия символического капитала, принятого в социологии (П. Бурдьё и др.). Пространственная неоднородность социально-культурного пространства, как известно из социальной теории, обусловлена отношениями *власти* между отдельными социальными группами и проявляется в *концентрации капитала*. Капитал может существовать в разных формах: П. Бурдьё выделял экономический, социальный и культурный виды капитала (некоторые исследователи считают возможным дополнить этот список). Эффективность использования отдельных форм капитала, возможности конвертации одного вида капитала в другой зависят от господствующей системы ценностей; для описания того, как оценивается та или иная форма капитала в конкретном сообществе, и используется понятие *символического капитала*. По сути, символический капитал есть проекция других форм капитала, «преломленных» через господствующую систему ценностей. Его носитель наделяется признанием, его мнение – легитимностью (в той сфере, в какой данный индивид обладает символическим капиталом). Иными словами, *символический капитал* –

мера легитимности, мера признания за его носителем права на обладание другими формами капитала.

Символический капитал может быть репрезентирован различными способами. Одной из форм *репрезентации символического капитала* являются образы (в указанной выше трактовке). Образы есть наиболее компактная, емкая форма репрезентации символического капитала.

Понятия символического капитала, как и понятия образа и бренда, распространяются на территории. *Символический капитал территории* в таком случае отражает представление о ее значимости, о ценности присущих ей свойств с точки зрения системы ценностей конкретного сообщества¹.

О бренде как о символическом капитале применительно к территории совершенно справедливо писали и другие российские авторы [см., например: Сачук, 2013; Вандышев, Веселкова, Прямякова, 2013; Мещеряков, 2008]. Однако мало кто увязывал символический капитал места с символическим капиталом причастных к месту людей (такие работы были выполнены в сфере изучения миграций) [Лапшина, 2010].

Бренды территорий и региональная символическая политика

Лицо, символический капитал которого, пожалуй, в наибольшей степени увязан с символическим капиталом территории, – это ее руководитель (мэр, губернатор и т.д.). Любопытно в связи с этим, что резкий скачок числа публикаций по брендингу (примерно в два раза) пришелся на 2012–2013 гг. – момент возвращения (2012) выборов глав субъектов Российской Федерации². Представляется, что повышая символический капитал территории, региональный руководитель, по сути, повышает символический капитал самого себя как руководителя (допустим, губернатора)

¹ См. также о символическом капитале территории в связи с понятием символической власти: [Замятина, 2013].

² С другой стороны, всплеск публикационной активности был подготовлен выходом первых крупных российских работ по брендингу территорий: книг Д.В. Визгалова «Маркетинг города» [Визгалов, 2008] и «Брендинг города» [Визгалов, 2011]. Вторая книга получила национальную премию «Серебряный лучник».

территории – и эта тема, пожалуй, еще не получала развития в отечественной литературе.

Рассмотрим в данном ключе интересную тенденцию заменять официальные названия субъектов Российской Федерации на кажущиеся более естественными названиями «Зауралье», «Прикамье», «Белогорье» и т.п. Представляется, что это и есть самый поверхностный, простой, но хорошо работающей пласт территориального брендинга, стихийно разрабатываемый региональными властями. По тому, насколько широко распространена совокупность речевых приемов, насколько часто повторяется по всей стране характерный набор формул и стереотипов описания территории, можно предполагать, что за этим широко распространенным контекстом подачи территории, по-видимому, стоят глубокие архетипы мышления. Это архетип территории как «матери-земли», дискурс рассуждений о роли «почвы» в формировании самобытности местного населения. Последняя тенденция настолько сильна, что, пожалуй, данный контекст описания территории можно условно называть «почвенническим»¹. Начиная с 1990-х годов хорошо прослеживалась любопытная тенденция: подмена официальных названий субъектов Российской Федерации неофициальными. Здесь важна не сама подмена, но ее символический смысл: относительно нейтральные, а иногда и прямо конструктивистски-искусственные наименования субъектов РФ заменяются теплыми, естественными названиями: вместо отдающих чиновничеством наименований стали использоваться понятия «земля» (например, «Белгородская земля»), названия природных областей (Прикамье, Зауралье).

В двух исключительных случаях было изменено и официальное название: это официальное закрепление наименований «Республика Саха (Якутия)» и «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра». Если первый случай может быть классифицирован как этническая экспансия (легализовано якутское название территории), то создание (воссоздание) исторического понятия «Югра» в дополнение к малоудобному составному названию округа при губернаторе А.В. Филиппенко – уже иной случай. Как представляется, здесь

¹ Название «почвеннический» условное и не имеет прямых исторических аналогий. Имеется в виду особый стиль характеристики территории, в котором основной упор делается на ее естественные границы и свойства, территория подается как «земля», часто с аллюзиями на образ «матери-земли». Подробнее данный способ характеристики территории охарактеризован в работе: [Замятина, 2006 с].

налицо проявление общей тенденции заменить название, по самому своему звучанию вызывающее ощущение искусственности, названием, отсылающим к некой естественной территории – не столько «естественному праву», сколько уделу, территории, автономия которой легитимируется ее как бы естественными (природными, этнокультурными, историческими) границами.

Югра здесь – лишь самый яркий пример, явление же было по сути массовым. Представляется, что подобное обращение к «естественным» названиям территории – важный элемент неявного брендинга территорий, развернувшийся задолго до официальных брендинговых кампаний.

Охарактеризуем данную тенденцию, используя материалы исследования текстов официальных сайтов субъектов РФ, выполненное в 2003–2005 гг. [Замятина, 2006 а; 2006 б; 2006 с; Замятина, Белаш, 2006 а; 2006 б]. В эти годы сайты только создавались, еще не сложились каноны их содержания, и потому тексты разных сайтов представляли собой замечательный материал для исследования разнообразия спектра контекстов описания территории, что и было проделано в ходе ежегодного мониторинга полного содержания сайтов на протяжении трех лет. Все приводимые ниже цитаты с официальных сайтов собраны в ходе данной работы и, соответственно, даны (если не указано иначе) по состоянию на 2005 г. Впоследствии содержание сайтов было в значительной степени унифицировано, однако «почвеннический» контекст описания регионов иногда сохраняется на них до сих пор (обычно в разделе «О регионе» и т.п.).

«Почвеннический» дискурс создания «естественных» образов территорий создает плотный, пожалуй, даже телесный образ характеризуемого географического объекта. Первостепенное значение для характеристики территории имеет некая «самость», символическая природа объекта, присущая ему как таковому. При этом смысловое содержание символа может быть абсолютным, безотносительным к какому-либо другому географическому объекту: «ситцевое царство», «золотая Колыма», но бывает и относительной – т.е. объект самобытен в ряду других аналогичных (в данном случае – субъектов РФ), но его свойства определяются по отношению к другому – вмещающему объекту (России или региону): «житница России», «энергетическое сердце России», «форпост страны» и т.д.

Очень характерно указание на особые качества населяющих территорию людей: *«Республика людей с сильным характером, уважающих прошлое и устремленных в будущее, промышленников и*

предпринимателей, земледельцев и ученых, людей культуры и искусства» (Республика Карачаево-Черкесия). «Южноуральцы всегда были сильны единством действий и широтой души. Мы никогда не черствели сердцем, не угасали душой» (Челябинская область).

Данный контекст в общем случае не подразумевает наличия «в поле зрения» каких-либо географических объектов, кроме характеризуемого (притом что текст одного сайта и даже одной страницы сайта отражает географические образы в различных контекстах). Исключения составляют природные географические объекты (реки, горы, озера и т.д.), служащие одной из «баз» для определения символической основы данного объекта, вмещающие образы России. В некоторых случаях «возможны» географические объекты «внешнего мира» – мира за пределами России, – благодаря которым возникают такие символические основы региона, как «форпост», «окно в Европу» и т.д. Исключение составляет появление внешних географических объектов в качестве «фона» для констатации превосходства характеризуемого: *«На Тверской земле могут уместиться Московская, Ивановская и Тульская области вместе взятые» (Тверская область).*

Вариант такого фона – указание на «дочерний» характер другого объекта по отношению к характеризуемому: *«В средние века Новгород был для Руси тем, чем стал Санкт-Петербург в XVIII столетии, – окном в Европу» (Новгородская область).*

За отсутствием прочих объектов отсутствуют и четкие границы: объект «расплывается» в пространстве, нередко «захватывая» соседние территории: *«Зауралье обладает развитой сетью автомобильных дорог. Протяженность автомобильных дорог общего пользования – почти 9 тыс. км, в том числе федеральных – 757 км, дорог с твердым покрытием – более 6 тыс. км [...] В Зауралье завершается смотр готовности материально-технической базы элеваторов и хлебоприемных предприятий области к приему зерна нового урожая» (Курганская область).*

В приведенной цитате речь идет о Курганской области, хотя понятие «Зауралье» может быть применено также к ряду районов Челябинской или Тюменской областей, а в некоторых случаях обозначает обширную территорию «Сибири и Дальнего Востока». Аналогично район «на Дону», Придонье выходит за границы именуемой Донским краем Ростовской области (на Дону расположена также часть Воронежской, Волгоградской областей), Южный Урал – за границы Челябинской области, Прикамье – за пределы Пермской области.

Нижеследующий пример с отождествлением границ области и границ «Прикамья» прямо-таки одиозен: сама возможность установления границ Прикамья как природного или историко-культурного района с подобной геодезической точностью вообще сомнительна, если не употреблять понятие «Прикамье» в значении «бассейн Камы», – но в последнем случае границы совсем иные: *«Самая северная точка Прикамья – гора Пура-Мунит (1094 м) на водораздельном Уральском хребте в верховьях рек Хозя, Вишера и Пурма – имеет координаты 61° 39' с. ш. Крайняя южная точка – вблизи бывшей деревни Ельник Биявашского сельского совета Октябрьского района (56° 06' с. ш.). Крайняя точка на западе – в километре на северо-восток от высоты 236, на водоразделе рек Лэпью, Пелес, Кажим под 51° 47' в. д., на востоке – высшая точка хребта Хоза-Тумп гора Рахт-Сори-Сяхл (1007 м) под 59° 29' в. д. Границы очень извилисты, протяженность их более 2,2 тыс. км»* (Пермская область).

В большинстве случаев подобный контекст используется в связи с определенными темами, обычно в текстах, посвященных туризму, истории региона, а также культуре и искусству («наша земля богата талантами»). Иногда почвеннический контекст «вклинивается» в экономико-географические характеристики: *«Белгородчина – индустриально-аграрный регион... Самым крупным общественным объединением остаются на Белгородчине профсоюзы»* (Белгородская область). *«В индустрии Тамбовщины трудится более 80 тыс. человек»* (Тамбовская область).

Неофициальные названия регионов группируются в два основных вида.

Первый вид – образованные от названия субъекта с использованием слов «земля», «край» (Брянская земля, Брянский край), а также «регион» (типа «Архангельский регион») – это нейтральный, часто встречающийся «полуофициальный» вид наименования субъектов РФ. К этой группе можно отнести названия, образованные без использования специальных слов (Брянщина). Второй вид – названия, образованные от природных объектов (Прикамье).

«Края» и «земли». Наиболее характерные формы неофициальных названий – образованные от названия центра субъекта РФ выражения с использованием понятий «земля» и «край». Оба вида выражений используются в схожих ситуациях, а иногда как прямые синонимы *«Псковская земля – край с удивительной историей, край, который можно назвать хранителем русской старины»* (Псковская область).

В большинстве случаев обращение к понятиям «земля» и «край» связано с желанием передать образ субъекта РФ в наиболее полной, целостной форме с включением в него исторических, природных, культурных, экономических, «человеческих», а также ценностных аспектов: *«Ярославский край всегда был славен хлебо-сольством и гостеприимством»* (Ярославская область).

Характеристика «такого-то края», «такой-то земли» обычно шире, полнее, эмоциональнее и как бы значимее, чем аналогичная характеристика субъекта РФ под официальным названием *«Владимирская земля – одна из наиболее древних и ценных жемчужин “Золотого Кольца” России – всегда привлекала к себе внимание гостей из всех уголков планеты»*. *«Предлагая вашему вниманию бизнес-путеводитель по Владимирской области, я от имени всех владимирцев говорю: “Добро пожаловать на древнюю и вечно юную Владимирскую землю – в сердце России!” – и приглашаю к сотрудничеству всех, кто имеет конструктивные цели и серьезные намерения. Мы будем рады приветствовать вас на владимирской земле»* (Владимирская область).

Есть некоторые смысловые различия в использовании выражений «земля» и «край». Образ края, как правило, подразумевает некую самостоятельность, самодеятельность: край выступает как субъект политических или экономических отношений¹: *«Владимирский край в истории Российского государства сыграл такую же роль, как графство Парижское в истории Франции, королевство Кастилия в истории Испании, штат Массачусетс в истории США»* (Владимирская область). *«Донской край имел тесные экономические связи с другими районами России и через ростовский и таганрогский порты вывозил свою продукцию во многие страны мира»* (Ростовская область).

Возможны рассуждения о роли (специализации) края в экономике страны: *«Ивановский край издревле являлся одним из центров ткачества и переработки льна в России. Край производил большую часть хлопчатобумажной продукции России, его сравнивали с Англией, в то время славившейся своим текстилем»* (Ивановская область).

¹На сайте Нижегородской области в этом значении использован образ земли, правда, в сочетании с образом края: *«С самого начала своей многовековой истории Нижегородская земля играла заметную роль в жизни русского государства, являясь удивительно колоритным и значимым краем Поволжья»*.

«Наличие железной руды превратило Тульский край в один из крупных металлургических центров России» (Тульская область).

Образ «земли» отличается от образа края большей пассивностью. Характерен образ земли как некой «площадки», «арены» деятельности, событий: *«И вновь на Кузнецкую Землю пришел самый главный праздник – День шахтера»* (Кемеровская область).

Земля – не субъект, а, скорее, «производящая субстанция»; обычны соотношения земли с местной природой, полезными ископаемыми¹: *«Тверская земля, расположенная в пределах уникального в экологическом отношении региона – Главного водораздела Русской равнины, богата водными ресурсами»* (Тверская область). *«Природа Вологодской земли чиста и живительна, насыщена множеством рек, озер, изобилует, ягодами, грибами, богата особо-охраняемыми территориями»* (Вологодская область).

Метафора земли связана с образом рождения, плодородия, который переносится и на людей: *«Тульская земля – красивейший и щедрый край, давший миру талантливых писателей, художников, ученых, изобретателей и государственных деятелей»* (Тульская область). *«Вологодская земля с древнейших времен богата талантами»* (Вологодская область).

Распространена формула «такая-то земля дала России таких великих людей, как...»: *«Белгородская земля – родина многих замечательных людей, чьи имена стали гордостью Отечества»* (Белгородская область).

Образ «земли, порождающей людей» часто развивается в тезис об особых качествах местных жителей («детей» своей земли): *«Испокон веков Ярославская земля привлекала к себе внимание людей, умеющих работать и зарабатывать. Ярославцы всегда славилась искренним радушием, предпринимательской хваткой, способностью оценить перспективы сотрудничества»* (Ярославская область). *«Красноярский край славился особыми сибирскими легендами. Он был и остается местом духовных открытий. Здесь живут свободные и сильные люди “сибирского здоровья” и “сибирского характера”»* (Красноярский край).

В ряде случаев высказывается тезис об «отборе» людей с особыми качествами в связи с суровыми местными условиями – характерный для идеологии пограничья, в частности широко используемый для характеристики «фронтирного» фактора формирования

¹ Впрочем, аналогично перечисляются и богатства «такого-то края».

американского национального характера, многие черты которого типичны и для российских территорий нового освоения [Замятина, 1998]: *«Магаданская область – территория с укрепившимся в народе названием “Золотая Колыма”, привлекает и всегда будет привлекать к себе смелых и решительных людей, предпринимателей, инвесторов»* (Магаданская область). *«Но главное богатство края – это его люди, умеющие жить и работать в трудных условиях, желающие перемен и мечтающие о достойной жизни для себя, своих близких и для своей страны»* (Хабаровский край).

Регионы-«приречья» и другие природные объекты. Использование неофициальных названий, образованных от природных объектов, также связано с рядом особенностей. Во-первых, можно выделить природные названия, закрепленные или близкие к закрепленным в официальных названиях (Приморье – Приморский край, Приамурье – Амурская область); и не закрепленные в них (Прикамье, Донской край). Во всех случаях субъекты, использующие «природные» неофициальные названия, расположены вне исторического ядра страны. Это бывшие окраины России, образ и, следовательно, названия которых формировались до того, как сложились крупные городские центры-«монополисты», какими по большей части являются административные центры «старых» областей.

«Природные» названия наиболее отдаленных – и наиболее молодых – окраинных территорий доминируют над «городскими» настолько, что закреплены официально: это Приморский край, Амурская область, а также Алтайский край с характерной, «из ряда вон выходящей природой» Алтай. В аналогичной ситуации оказывается полицентричная Кемеровская область, получившая известность как район угледобычи (Кузбасс) раньше официального статуса. Естественно, официальная и неофициальная формы одного и того же, по сути, слова используются как синонимы: *«От имени всех жителей Приамурья, от себя лично сердечно приветствую Вас и приглашаю посетить официальный WEB-сайт Администрации Амурской области»* (Амурская область). *«Кемеровская область, Кузбасс – для многих это мощный индустриальный район с гигантами угольной, металлургической и химической промышленности»* (Кемеровская область).

«Догородские» названия некоторых старых окраин уже вытеснены традицией «центрально-городского» обладания территорией (отсюда область): Дон (Ростовская область), Кубань (Краснодарский край) – однако они используются как полные синонимы официальных названий соответствующих субъектов: *«Кубань –*

край двух морей – Азовского и Черного. Из общей протяженности границы – 1540 километров 740 километров проходит вдоль моря» (Краснодарский край).

В целом ряде случаев природные районы имеют более мощные образы, чем образы областных центров, и потому используются как своего рода «дополнительные» образы субъектов РФ. Это Забайкалье для Читинской области и Бурятии, Зауралье для Курганской области, Средний Урал (Урал) для Свердловской и Южный Урал для Челябинской областей, Енисейский край (Енисей) для Красноярского края. Для них нехарактерно полное отождествление, дополнительные образы редко используются в официальных текстах характеристик субъектов, но часто – в новостях, а также в названиях местных средств массовой информации и организаций: *«Эдуард Россель поздравил уральцев с государственным праздником – Днем Конституции Российской Федерации»* (Свердловская область).

Обратную картину представляет собой только неофициальное название Пермской области (с 1 декабря 2005 г. Пермского края) – Прикамье. Исстари известное название территории современного субъекта РФ и его населения – Пермь (Перемь) [Поспелов, 2002; Никонов, 1966]. В 1780 г. это историческое наименование территории было закреплено в названии города. Затем, видимо, образ Перми стал восприниматься преимущественно в контексте города, долгое время имевшего, кстати, негативный образ безличного, скучного, «ссылного». Н. Телешов: *«Что можно сказать о городе, проведя в нем несколько часов, если даже коренные жители на вопрос – что интересного в Перми, отвечают, что ничего нет»* (цит. по: [В Парме... 1988]). П. Кропоткин: *«Пермь мне не понравилась, – город большой, недурен, есть очень миленькие домики, но тишина и безлюдье невыносимые... То же подтверждают и здешние жители, находя ее гораздо скучнее многих окрестных заводов. Затишье!.. И это затишье нарушается подчас только звоном цепей: в Перми, как и в Казани, партии ссылных останавливаются довольно долго для поверок, расчетов и т.п.»* [Кропоткин, 1992].

По этой или другой причине старинное название «Пермь» сегодня активно дополняется значительно менее насыщенным в образном отношении названием «Прикамье».

Наконец, еще один случай употребления неофициальных названий связан с «выбором» древних, архаичных наименований территории. В ряде случаев это проявляется только в выборе интернет-

адресов: <http://www.dvinaland.ru/> (т.е. Двинская земля, Подвинье – Архангельская область); <http://gov-vyatka.ru/> (Вятка – старое название г. Киров, а также историческое название окружающей территории; Кировская область), <http://www.admin.debryansk.ru/> (Дебрянск – старинное название Брянска). В этих случаях старинные образы скорее дополняют, придают дополнительный «колорит» современному образу субъекта. Только у переименованной в Киров Вятки «старое» название безусловно богаче на историко-культурные ассоциации, чем современное, и нередко используется в «установочных», имиджевых текстах Кировской области: *«Вятская земля, вятский край – российская глубинка. Провинция. Но – провинция, имеющая многовековую историю, богатые культурные традиции, огромный производственный и интеллектуальный потенциал»* (Кировская область).

По-видимому, это и есть наиболее действенная форма российского брендинга. Что касается классических инструментов брендинга, то здесь, несмотря на ряд выполненных по заказам государственных органов работ, ситуация неутешительная.

Бренд и культурное самосознание территориальных сообществ

Обзор работ по брендам территорий можно посмотреть на специальных интернет-ресурсах¹. Коротко ситуацию можно описать как подмену брендинга созданием логотипов, причем практически в 100% случаев логотипы встречают неприятие общественного мнения.

Попробуем понять причины ситуации.

Из определения бренда как одной из форм символического капитала территории (стереотипного комплекса его смыслов) следует, что брендинг территории подразумевает перенос соответствующих смыслов с территории на человека, так или иначе приобщающегося к ней (например, как потенциального жителя). Беда в том, что российские регионы (за редким исключением) практически лишены более-менее устойчивых, закрепленных в культуре смыслов. Дискурс описания регионов я несколько лет назад выразила

¹ Архив рубрики: Обзоры. – Режим доступа: <http://citybranding.ru/category/obzoryi/>; City Branding. Брендинг городов. – Режим доступа: <https://vk.com/citybranding>

формулой «Земля наша богата на грибы, ягоды и таланты», и с тех пор формула, к сожалению, не утрачивает своей актуальности.

Из сайта в сайт, из путеводителя в путеводитель, и даже на подарочных коробках конфет повторяются тезисы о том, что в таком-то регионе природа – щедрая, люди – душевные и гостеприимные, озера – красивые, леса – густые. «Земля наша дала миру таких выдающихся уроженцев, как...». Их писали искренне любящие свою родину люди. «Боже мой, ведь я именно так и писал», – признался мне один журналист из областного центра, когда я в докладе упомянула про «грибы, ягоды и таланты», объяснив, почему так делать нельзя. Точнее, не очень эффективно.

Представьте, что тексты «про грибы, ягоды и таланты» будут читать люди из соседних регионов, где, между прочим, тоже есть леса (если нет лесов, то есть бескрайние просторы) и талантливые уроженцы – и, в очередной раз прочитав про щедрую природу и душевный народ очередного административно-территориального образования, ровным счетом ничего не про него не запомнят. Ну как отличить территорию *«людей с сильным характером, уважающих прошлое и устремленных в будущее, промышленников и предпринимателей, земледельцев и ученых, людей культуры и искусства»* от той, где жители *«всегда были сильны единством действий и широтой души... никогда не черствели сердцем, не угасали душой»*? Это тексты с официальных сайтов одной из республик и одной из областей России.

Дело отнюдь не в талантливости авторов текстов, по видимому, проблема в молодости территориального сознания. Огромное количество отечественных текстов «про территорию» напоминают самосознание маленького ребенка. Детские психологи знают, что любой ребенок больше всего любит себя, и он в центре своего мира: лет до трех ребенок самый хороший просто потому, что «я есть». Еще ребенок любит свою маму – она для него самая хорошая, какая бы она ни была: прямо такую, в халатике, – потому что она просто мама. Без этого нельзя – ощущение радости бытия, иначе потом будут психологические проблемы. И именно так любят свою родину – какую есть, – и без этого тоже нельзя, иначе потом не будет гармоничного развития территориального сообщества. Огромное количество городов и особенно рабочих поселков лишены такого априорного чувства достоинства существования – и отсюда многие их социальные проблемы, о чем можно было бы долго рассказывать отдельно.

Чтобы найти уникальные черты города, горожанам достаточно задуматься о том, чем он отличается от городов-соседей. Здесь важен именно взгляд со стороны. В пример можно привести тот же Петербург – город с самым сильным и цельным образом в стране (когда какой-то город России хотя бы похвалить как город, его сравнивают с Петербургом). Изучая становление образа Петербурга в знаменитой работе «Петербург и Петербургский текст русской литературы», замечательный филолог В.Н. Топоров указал на то, что писался «петербургский текст» в основном приезжими (а кто еще творит в столицах?). Так и для других городов: помимо «просто» сыновней любви необходимо осознание своих ролей и качеств (разных: ландшафтных, производственных, культурных, духовных) *в ряду других городов*.

Современные внешние авторы, к сожалению, также зачастую следуют стереотипам стандартного, формульного описания городов и регионов, сложившимся в советской экономической географии.

Наше исследование официальных сайтов субъектов РФ (Замятина, 2004; 2006)¹ выявило ряд типичных конструкций, комбинирование которых, по сути, подменяет тщательный анализ географического положения, присущий отечественной экономгеографии. При этом значительная часть огрублений и упрощений вызвана потерей связи между положением (позицией) и атрибутивными свойствами характеризуемого (позиционируемого) объекта. Его концепт в той части, которая включает представления о географическом положении, формируется не столько как отражение внешних пространственных отношений и внутренних свойств конкретной территории, сколько как комбинация типичных для российской политической культуры стереотипных концептов геоположения вообще. Приведем некоторые примеры такого рода стереотипов.

«Дорожная карта». Наиболее «объективная» характеристика транспортного положения, во многом отвечающая канонам экономической географии, – это указание на расстояние, отделяющее регион от центров, имеющих для него важное экономическое значение. Пример: *«Расстояние по железной дороге от Читы до Моск-*

¹ Далее выдержки с официальных сайтов даются курсивом. Поскольку приводится материал ранее проводившегося исследования, если не оговорено специально, цитаты зафиксированы по состоянию на 2006 г.

вы – 6074 км, Екатеринбург – 4386, Новосибирска – 2861, Хабаровска – 3327, Иркутска – 1013 км» (Читинская область).

«На пути к вершине». Явная или неявная оценка важности мест, относительно которых определяется положение субъекта, превращает «плоскостную» характеристику в символически рельефную. Таковыми, в частности, оказываются все правильно построенные характеристики географического положения: *«Непосредственная близость крупного рынка сбыта – Московского региона, разнообразие природных условий, развитая сеть железных и автомобильных дорог, высококвалифицированный кадровый потенциал, имеющийся избыток энергетических мощностей делают Рязанскую область регионом, привлекательным для инвестиций»* (Рязанская область). *«Регион [Свердловская обл. – Н. З.] имеет выгодное экономико-географическое положение, находясь между промышленно развитой европейской частью и развивающейся восточной, богат природным сырьем и энергией»* (Свердловская область...). *«Она соединяет два наиболее развитых экономических района России – Центральный и Северо-Западный – и расположена между Москвой и Санкт-Петербургом»* (Тверская область).

«И я пройти еще смогу...». Нередко, однако, регион символически возвышается за счет «приближения», «усиления транспортной доступности» объектов значимых, но объективно далеких: *«Область [ЕАО. – Н. З.] находится в непосредственной близости к побережью Тихого океана и основным экономическим партнерам в этом регионе, имеет выход в моря Тихого океана через Амурский водный путь. По ее территории проходит Транссибирская магистраль, которая обеспечивает наикратчайшие маршруты из Западной Европы и Ближнего Востока в страны Азиатско-Тихоокеанского региона»* (ЕАО).

Иногда, наоборот, «возвышается» любой ближайший объект: *«Выгодное экономико-географическое положение (ЭГП) Приморского края определяется тем, что территория края имеет непосредственное соседство – на севере с промышленно развитым Хабаровским краем, на западе на протяжении почти 1000 км с активно развивающимися Северо-Восточными районами Китая, на юге с развивающейся северной провинцией КНДР»* (Приморский край).

Степень объективности «возвышения» того или иного объекта, относительно которого определяется ЭГП, – это вопрос отдельный. Нам в данном случае важнее другое: указание положения

объекта по отношению к объекту, почитаемому за важный «ку-бик» в кладке ментально-географического положения.

«В сетях транспортных путей». Смысловой акцент может быть сделан на доступность самого региона; тогда характеристика его ТПП как бы выворачивается наизнанку. И вместо символического возвышения образа региона, как в предыдущем случае, он ставится в зависимость от транспортных путей. Строгие «планиметрические» описания этого типа прямо указывают на транспортную доступность: «Железная дорога в Республике Тыва отсутствует. До ближайшей железнодорожной ветки – г. Минусинска от г. Кызыла 402 км... Речным транспортом осуществляется перевозка грузов и пассажиров по р. Бий-Хем (Большой Енисей) и Каа-Хем (Малый Енисей), сквозного водного пути в другие регионы России нет. Воздушный транспорт осуществляет перевозки на внешних (города: Москва, Красноярск, Новосибирск, Иркутск) и местных воздушных линиях (в пункты, не имеющие других видов транспорта)» (Республика Тыва).

Выгоды транспортного положения, иногда преувеличенные, призваны подчеркнуть ключевую роль региона и его центра в системе сообщений. Узлы транзитных магистралей воспринимаются при этом как причина прохождения дорог через территорию данного субъекта РФ: *«Через Саратов проходят многие прямые и транзитные авиалинии, соединяющие его с Москвой, Волгоградом, Санкт-Петербургом, Самарой, курортами Кавказа и Крыма, а также со многими районами области. Саратов – крупнейший речной порт на Волге. Водный путь связывает город с промышленным центром России, Москвой (канал им. Москвы), Западным Уралом (р. Кама), Черным морем (Волга-Донской канал), Прибалтикой и Белым морем (водная система Волго-Балт)» (Саратовская область). «Начиная со второй половины XIX в. железные и шоссейные дороги связали Орел с Поволжьем и балтийскими портами, с Москвой, Харьковом, Севастополем. Проведение этих дорог еще более укрепило положение Орла как своеобразного связующего звена Центральной России» (Орловская область).*

В иных случаях весь регион только «нанизан» на транзитные линии, «натянутые» между внешними пунктами. Собственная территория здесь пассивна. В анаморфированном дорожном пространстве пути не ведут из данного субъекта РФ в другие, не соединяют его с тем-то и тем-то, но просто проходят через него: *«Липецкая область занимает чрезвычайно выгодное географическое положение, так как находится на пересечении важнейших*

транспортных магистралей (здесь проходят железные дороги, связывающие Москву с Северным Кавказом, а западные районы страны – с Поволжьем; важнейшая автомобильная магистраль: Москва – Новороссийск)» (Липецкая область). «Хабаровский край расположен в центре российского Дальнего Востока. Через его территорию проходят сухопутные, водные и воздушные маршруты, соединяющие внутренние районы России с тихоокеанскими портами, а страны СНГ и Западной Европы с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона» (Хабаровский край).

Пассивность территории в таких транспортных характеристиках, вероятно, является следствием специфической канцелярской эволюции учения о ГП, приведшей к превращению известного тезиса о выгодах размещения «на перекрестке транспортных путей» в штамп. Образ перекрестка иной раз доводится до абсурда, порождая формулы, похожие на заклинания: «*Через наш регион проходят основные железнодорожные, автомобильные, авиационные и водные пути России» (Волгоградская область). «Костромская область имеет выгодное транспортно-географическое положение. Через ее территорию проходят транзитные железнодорожные, водные и автомобильные магистрали» (Костромская область).*

«В строю». Следующий уровень описания экономико-географического положения, обычный для сайтов сравнительно небольших городов, в том числе возглавляющих некоторые недавно возникшие республики в составе России, подразумевает иерархическое устройство пространства с чередой разноранговых центров. В этом случае указываются Москва, бывшая более крупная собственная «столица», а местные центры упоминаются при условии, что они важны для внешних сообщений характеризуемого города: «*Майкоп отделяет от столицы России Москвы 1670, а от центра Кубани Краснодара – 160 километров. Ближайший морской порт в Туапсе находится в 150 километрах от Майкопа» (Республика Адыгея). «Расстояние от Горно-Алтайска до Москвы – 3641 км, от Горно-Алтайска до Барнаула – 250 км, от Горно-Алтайска до ближайшей железнодорожной станции (г. Бийск) – 100 км» (Республика Алтай).*

Такое описание уже имеет символическую нагрузку: оно явно отсылает к «матрешечной», жестко иерархической организации пространства, в которой нет места реальным, но неформальным региональным центрам. Так, для реальной жизни Горно-Алтайска актуально сообщение с Новосибирском, который «притягивает» многие торговые, культурные, социальные, карьерные и другие связи рес-

публики. Для объективной характеристики Майкопа потребовалось бы сориентировать его и относительно Ростова-на-Дону.

«Хорошо на московских просторах». Указание расстояния только до Москвы свидетельствует о символическом значении такого соотношения¹; экономический смысл при этом пропадает (за исключением некоторых соседних с Московской областей, для которых Москва представляет действительно важнейший и единственный экономический центр). Но когда расстояние до Москвы составляет тысячи километров, отказ от соотношений с какими-либо другими городами является признаком скорее политико-символического, чем экономико-географического контекста характеристики: *«Шесть часов разделяют Якутск и Москву. Два года понадобилось воеводам П.П. Головину и М.Б. Глебову, чтобы преодолеть расстояние в 7943,5 версты в июне 1640 г. Современный лайнер ИЛ-62 за 6 часов доставляет пассажиров из Якутска в столицу России»* (Республика Саха – Якутия). *«Расстояние от Ханты-Мансийска до Москвы – 2040 км. Территория – 534,8 тыс. кв. км. Постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. территория Ханты-Мансийский автономного округа приравнена к районам Крайнего Севера»* (ХМАО). *«Всех их, пришедших со своих монотонных русских равнин в эту страшно далекую от Москвы азиатскую дичь, поразила открывшаяся картина горной вековой тайги, сверкающих по горизонту вершин. Перед ними лежала Шория»* (Кемеровская область).

Впрочем, есть и такие примеры, когда путем указания расстояний до различных объектов подчеркивается наличие у территории иных, кроме Москвы и даже России, полюсов тяготения (как экономических, так, возможно, и политических): *«Ближайший областной центр России – Псков – отстоит от Калининграда на 800 км, до Москвы – 1289 км. А вот до многих европейских столиц расстояния сравнительно небольшие: 350 км до Вильнюса (Литва); 390 км до Риги (Латвия); 400 км до Варшавы (Польша); 550 км до Минска (Беларусь); 600 км до Берлина (Германия); 650 км до Стокгольма (Швеция); 680 км до Копенгагена (Дания); 850 км до Осло*

¹ Собственно говоря, такова форма стандартного статистического «паспорта» субъекта РФ, приводимого в официальных изданиях. Именно через эту форму, сложившуюся в советское время, тексты сайтов становятся носителями символов централизации пространства.

(Норвегия)» (Калининградская область). «Расстояние по железной дороге от г. Улан-Удэ до г. Москвы – 5519 км, а до Тихого океана – 3500 км» (Республика Бурятия).

«Посреди России всей». Символический оттенок имеют также характеристики, указывающие на положение субъекта РФ в центре (в сердце) страны или хотя бы какой-то ее части. Примечательно, что в основе таких характеристик нередко лежит весьма произвольная трактовка середины как геометрического понятия. Обычно без уточнения смысла, конкретного явления, для которого центральность вообще-то можно определить довольно строго. Вот серия примеров: «Область [Костромская. – Н. 3.] находится в центре нечерноземной зоны Европейской территории России» (Костромская область). «Ульяновская область расположена в самом центре Среднего Поволжья, по обе стороны Волги, в центральной части европейской России» (Ульяновская область). «Мы [Самарская область. – Н. 3.] живем в благословенном крае, в центре России, на берегу величайшей реки Европы» (Самарская область). «Область [Свердловская. – Н. 3.] расположена в самом центре сегодняшней России и связана с остальными регионами страны автомобильными и железными дорогами и воздушным транспортом» (Свердловская область). «Ханты-Мансийский автономный округ расположен в срединной части России. Он занимает центральную часть Западно-Сибирской равнины» (ХМАО). «Ямало-Ненецкий автономный округ – это целая страна в центре Крайнего Севера России» (ЯНАО). «Красноярский край занимает центр Азиатской части России и расположен между 51 и 81 градусами северной широты и 78 и 113 градусами восточной долготы» (Красноярский край). «Находясь в самом центре материка, область [Иркутская. – Н. 3.] граничит с Красноярским краем, республиками Тува, Якутия, Бурятия, Читинской областью» (Иркутская область).

Что объединяет все формулы характеристики региона – это типовой подход, идущий от стандартной формы характеристики экономико-географического положения, от сухих отраслевых учебников экономической географии. В таких характеристиках почти нет местной специфики – необходимого «мяса» бренда – одни лишь попытки натянуть на регион ту или иную формулу «выгодности положения». Общая стратегия на унификацию пространства буквально застряла в дискурсах мышления о территории.

Таким образом, пока между двух стереотипов описания территории – «почвеннического» и «экономико-географического»,

имеющих каждый свои дискурсивные формулы – не находится материала для создания индивидуальных стереотипов – собственно брендов.

Пока в России практически нет нормальных информационных ресурсов про города и регионы, про их «изюминки» и отличия; соответствующие проекты только разворачиваются (например, замечательная серия мультфильмов о регионах России).

Разработанные командами брендологов логотипы и слоганы, вместо того чтобы «напоминать» об особенностях регионов, об их брендах и концептах, являются, по сути, совершенно новыми для территории репрезентациями. Ассоциации ограничиваются ассоциациями с самим логотипом, картинкой, ее цветовым решением; отсылки к региональной специфике не происходит: представляется, что логотипу просто некуда отсылать массовое сознание. Наиболее адекватными сложившейся ситуации оказываются «точечные» удары – развитие узких брендов, связанных с отдельной фигурой (как Дед Мороз в Великом Устюге), или даже названий (Мышкин), – которые формируют простые, «одноходовые» городские стереотипы.

Я полагаю, что брендинг в России как раз и находится на стадии работы с названиями, с наречением и перенаречением регионов.

Литература

- Берлянт А.М. Виртуальные геоизображения. – М.: Научный мир, 2001. – 56 с.
- Берлянт А.М. Геоиконика. – М.: Астрей, 1996. – 208 с.
- Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. – М.: Мысль, 1986. – 240 с.
- В Парме: [путевые очерки рус. писателей о Перми и Прикамье] / сост., [авт. предисл. и коммент.] Н.Ф. Аверина. – Пермь: Перм. кн. изд-во, 1988. – 398 с.
- Вандышев М.Н., Веселкова Н.В., Прямикова Е.В. Места памяти и символический капитал территории в ментальных картах горожан // Журнал социологии и социальной антропологии. – М., 2013. – № 3 (68). – С. 101–111.
- Визгалов Д.В. Брендинг города. – М.: Ин-т экономики города, 2011. – 160 с.
- Визгалов Д.В. Маркетинг города. – М.: Ин-т экономики города, 2008. – 110 с.
- Визгалов Д.В. Пусть города живут / Сост. М. Губергриц, Н. Замятина, М. Ледовский. – М.: Сектор, 2015. – 269 с.
- Голд Дж. Психология и география: Основы поведенческой географии / Авт. предисл. С.В. Федулов. – М.: Прогресс, 1990. – 302 с.
- Замятин Д.Н. Географический образ. Материалы к словарю гуманитарной географии // Гуманитарная география. Научный и культурно-просветительский альманах. – М.: Институт наследия, 2007. – Вып. 4. – С. 273–275.

- Замятина Н.Ю. Образный рельеф политико-экономического пространства России (по материалам официальных сайтов субъектов РФ) // Вестник Евразии = Acta Eurasica. – М., 2006 б. – № 2. – С. 5–24.
- Замятина Н.Ю. Взаимосвязи географических образов в страноведении. Дис... канд. геог. наук: 25.00.24. – М., 2001. – 168 с.
- Замятина Н.Ю. Города, районы и страны в политическом рельефе российских регионов (По материалам официальных сайтов субъектов РФ) // Полис: Политические исследования. – М., 2006 а. – № 2. – С. 122–138.
- Замятина Н.Ю. Зона освоения (фронтир) и ее образ в американской и русской культурах // Общественные науки и современность. – М., 1998. – № 5. – С. 75–89.
- Замятина Н.Ю. Креативный класс, символический капитал и территория // Общественные науки и современность. – М., 2013. – № 4. – С. 130–139.
- Замятина Н.Ю. Ментальная карта. Материалы к словарю гуманитарной географии // Гуманитарная география: Научный и культурно-просветительский альманах. – М.: Институт наследия, 2008. – Вып. 5. – С. 250–252.
- Замятина Н.Ю. Стратегии создания образов субъектов Российской Федерации и региональная идеология (почвеннический контекст) // Общественные науки и современность. – М., 2006 с. – № 6. – С. 94–108.
- Замятина Н.Ю., Белаш Е.Ю. Особенности географической репрезентации социокультурных регионов России в характеристиках субъектов РФ // Социологические исследования. – М., 2006 а. – № 9. – С. 63–71.
- Замятина Н.Ю., Белаш Е.Ю. Районы страны в образах субъектов Российской Федерации (по официальным сайтам субъектов РФ) // География и экология в школе XXI века. – М., 2006 б. – № 1. – С. 13–24.
- Замятина Н.Ю., Пилясов А.Н. Россия, которую мы обрели: исследуя пространство на микроуровне. – М.: Новый хронограф, 2014. – 548 с.
- Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности: Правила и предубеждения. – М.: Изд-во Института прикладной психологии «Гуманитарный Центр», 2005. – 632 с.
- Книжников Ю.Ф. Зрительный образ местности как геоизображение // Вестник МГУ. Серия 5: География. – М., 1999. – № 1. – С. 31–35.
- Книжников Ю.Ф. О генетических предпосылках человека картографически отображать окружающий мир // Вестник МГУ. Серия 5: География. – М., 2000. – № 6. – С. 8–15.
- Кропоткин П.А. Дневники разных лет. – М.: Сов. Россия, 1992. – 460 с.
- Лапшина Н.И. Миграция и маргинальность в контексте социологии социального пространства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. – СПб., 2010. – Вып. 1. – С. 388–394.
- Макаров М.Л. Основы теории дискурса. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. – 280 с.
- Мещеряков Т.В. Бренд, в котором я живу... Бренд территории как символический капитал // Креативная экономика. – М., 2008. – № 8 (20). – С. 61–69.
- Мир глазами россиян: Мифы и внешняя политика. – М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2003. – 304 с.
- Найссер У. Познание и реальность. Смысл и принципы когнитивной психологии. – Благовещенск: БГК им. Бодуэна де Куртенэ, 1998. – 232 с.
- Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. – М.: Мысль, 1966. – 510 с.

- Поспелов Е.М. Географические названия России. Топонимический словарь. – М.: Русские словари: Астрель: АСТ, 2002. – 512 с.
- Сачук Т.В. Особенности территориального маркетинга на муниципальном уровне // Труды Карельского научного центра РАН. – 2013. – № 5. – С. 40–53.
- Серапинас Б.Б. Мысленные геообразы и ментальные геоизображения // Вестник МГУ. Серия 5. География. – М., 2007. – № 1. – С. 8–12.
- Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Академический Проект, 2001. – 990 с.
- Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему) // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. – М.: Изд. группа «Прогресс» – «Культура», 1995 – С. 259–367.
- Anderson J. Understanding cultural geography: Places and traces. – L.; N.Y.: Routledge, 2010. – 212 p.
- Cosgrove D.E. Models, descriptions and imagination in geography // Remodelling geography / Ed. by B. MacMillan. – Oxford: Blackwell, 1989. – P. 230–244.
- Tuan Y.-F. Topophilia: A study of environmental perception, attitudes, and values / With a new pref. by the author. – N.Y.: Columbia univ. press, 1990. – 260 p.

Н.М. Мухарямов, О.Б. Януш*

ТЮРКОЯЗЫЧНЫЙ И ФИННО-УГОРСКИЙ «МИРЫ» КАК СИМВОЛИЧЕСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Аннотация. В статье рассмотрены символические аспекты конструирования политико-языковых пространств тюркоязычного и финно-угорского «миров». В типологическом плане они относятся не к сообществам с общим коммуникативным кодом (как, например, франко-, англо-, испано- или потругалоязычные пространства), а к «сообществам глоттогенеза», основанным на представлениях об общем происхождении и формировании языковых семей и групп. Этим обусловлено особое значение символических приемов, лежащих в основании проектов трансграничной интеграции и находящихся в особом соотношении с прагматическими началами сотрудничества и совместного решения проблем.

Ключевые слова: политико-языковые пространства; трансграничные языковые сообщества; «тюркоязычный мир»; «финно-угорский мир»; символические и субстантивные аспекты интеграции.

N.M. Mukharyamov, O.B. Yanush
Turkic and Finno-Ugric «worlds» as symbolic spaces

Abstract. The article describes symbolic dimensions of constructing the political-linguistic space of Turkic and Finno-Ugric «worlds». Typologically, these «worlds» do not belong to associations and networks of common communicative code (like, for

* **Мухарямов Наиль Мидхатович** – доктор политических наук, профессор, завкафедрой политологии и права Казанского государственного энергетического университета, e-mail: n.mukharyamov@yandex.ru; **Януш Ольга Борисовна** – кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и права Казанского государственного энергетического университета, e-mail: yanush_ob@yahoo.com

Mukharyamov Nail, Kazan State Power Engineering University (Kazan, Russia), e-mail: n.mukharyamov@yandex.ru; **Yanush Olga**, Kazan State Power Engineering University (Kazan, Russia), e-mail: yanush_ob@yahoo.com

instance, spaces of Francophonie, Commonwealth, Hispanidad or Lusophony), but rather to «associations of glottogenesis» based on believes referring to language origins and related language families and groups. Due to this, symbolic devices are of special importance while creating projects of transnational integration and pragmatic relations of cooperation and problem solving.

Keywords: political-linguistic spaces; transnational language associations; «Turkic world»; «Finno-Ugric world»; symbolic and substantive dimensions of integration.

Сложная корреляция этнокультурного многообразия в локальных, региональных, национальных, трансграничных и глобальных измерениях, с одной стороны, и территориально-политической карты современного мира – с другой, делает насущным изучение принципов конструирования (воображения, «изобретения») применительно к таким феноменам, как политико-языковые пространства наднационального уровня. Границы распространения языков, шире – структур многоязычия и культурно-исторических языковых ситуаций, фундаментальным образом не совпадают с национальными и субнациональными юрисдикциями. Исходными ориентирами предлагаемого изложения становятся подходы к рассмотрению различных вариантов соотношения символического и прагматического начал в проектах конструирования политико-языковых пространств, основанных не столько на общих коммуникативных кодах, сколько на идеях «глоттогенеза» языковых семей и групп.

Языковые пространства как объект политического проектирования

Среди структур международно-политической интеграции особое место принадлежит различным способам оформления лингвокультурных пространств, в основании которых находятся языковые сообщества (в том числе – языковые семьи и соответствующие ветви) с теми или иными рангами коммуникативной и демографической мощности, показателями внешнеполитической влиятельности и престижности. Среди наиболее заметных, институционально оформленных и признанных явлений этого ряда – Содружество или бывшее Британское Содружество (Секретариат Содружества) применительно к английскому языку, Международная организация франкоязычных стран применительно к французскому языку, Содружество стран португальского языка – к пространству лузофонии, с известными оговорками – Лига арабских стран. Эти межправительственные орга-

низации имеют статус наблюдателей и постоянные представительства при штаб-квартире ООН. Иберо-американская конференция глав государств и правительств для испаноязычного пространства или Сообщество потругалоязычных стран для пространства лузофонии имеют статус наблюдателей на сессиях Генеральной Ассамблеи, но не имеют своих постоянных представительств при ООН. Нидерландский языковой союз (Нидерланды, Бельгия, Суринам плюс особые отношения с ЮАР, Намибией и Индонезией), например, такого статуса не имеет.

Одни международные пространства языков, таким образом, обладают собственными межправительственными «надстройками», другие – как, например, китайский или немецкий языки – подкреплены институциями культурно-образовательного продвижения и благоприствования (Институт Конфуция и Институт Гёте).

Есть также культурно-языковые пространства, проектируемые благодаря деятельности международных неправительственных организаций. Примером тому является такая политическая организация, как Кельтская лига, основанная на пространственном конструировании сообщества группы индоевропейских языков – бретонского, валлийского, ирландского, гэльского. В отличие от параллельной организации с идеологией «панкельтизма» – Кельтского конгресса с акцентом на культурную идентичность, Лига выдвигает программные требования в области повышения политического статуса и самоуправления соответствующих субнациональных регионов и, в качестве конечной цели, создания федерации шести суверенных государств – Ирландии, Шотландии, Уэльса, Бретани, Корнуолла и острова Мэн.

Несколько особняком выглядит в рассматриваемом контексте русскоязычное пространство, сегментарно оформляемое как на уровне межгосударственной интеграции, так и в рамках других объединений и фондов.

Говорить о каком-то типологически определенном явлении в данном контексте можно лишь с известной долей условности, учитывая противоречивое соотношение универсальных и партикулярных моментов при проектировании политико-языковых пространств, «сильных» и «слабых» оснований интегрированности в целом и их символическом конструировании в частности.

Культурно-языковые пространства могут быть истолкованы в духе своеобразного унитаризма или «плюрализма суверенитетов» с точки зрения стандартизации, шире – нормирующего воздействия на языки. На это обращает внимание М. Кронгауз: «Ко-

гда проводятся реформы орфографии немецкого или испанского языков, то это решается не в Германии или Италии, а во всем немецкоговорящем или испаноговорящем мире. ...Франкофонный мир устроен иначе, чем миры испанского и немецкого языков, и роль французской Академии в формировании нормы необычайно велика» [Кронгауз, 2015, с. 374].

Вместе с тем определенная аналитическая модель, показывающая то или иное сочетание переменных, точнее было бы говорить – параметров, в данном случае может быть построена. Такая потребность существует, если принять во внимание то обстоятельство, что рассматриваемая тема до сих пор пребывает на периферии академического интереса со стороны профессиональных специалистов в областях социолингвистики и международно-политической науки.

Нуждаются в изучении основания генезиса, географическая распространенность, характеристики коммуникативных возможностей и демографической мощности, глубины и интенсивности интегративных начинаний на дву- и многосторонней основе, институциональная организация и, что весьма важно в рассматриваемом контексте, семиотическая оснащенность.

Возможная аналитическая модель опирается на совокупность трех параметров: во-первых, необходимо принимать в расчет континуумы «жестких» и «мягких» связей и принципов структурирования; во-вторых, имеют значение различные генетические основания и предпосылки конструирования политико-языковых пространств, развивающихся в постколониальных, постимперских, постсоветских контекстах В-третьих, приходится учитывать существенные различия между конкретными случаями проектируемых языковых пространств, которые можно представить в виде дихотомий:

– политико-экономическая и стратегическая прагматика (политический реализм) vs культурная идентичность (непрагматические основания конструирования);

– пространства общего функционирующего кода vs пространства дискурса или «воображаемые сообщества» в чистом виде (по-другому: сообщества коммуникативных языков vs «сообщества глоттогенеза»);

– символические (шире – семиотические) vs инструментальные, функциональные, коммуникативные составляющие.

Наиболее принципиальной концептуальной установкой в данном случае становится, по-видимому, положение, высказанное Джеймсом Скоттом. Оно сформулировано относительно «интегративного фрейма» при исследовании трансграничного взаимодействия

(хотя и в несколько ином контексте). Речь идет о необходимости различать «политику намерений, риторику самопрезентации и реальный опыт кооперации» [Скотт, 2009]. Принципиально важно анализировать отношения между «материальным» и «дискурсивным» началами, «абстрактным» и «реальным» пространством. Конструктивистская перспектива анализа трансграничных взаимодействий с экономическими, политическими и культурными переменными отражена в предложенной этим автором схеме когнитивных, дискурсивных и материальных категорий анализа (см. табл. 1).

Таблица 1

Категории анализа трансграничных сообществ

Когнитивные	Дискурсивные	Материальные
Процессы формирования регионального самосознания: идентификация с общими проблемами и контекстом развития как предпосылка для учреждения сообщества по интересам	Создание идеологических платформ и парадигм, обеспечивающих политическую легитимность и ориентацию на трансграничный регионализм	Институциональные фреймы Ресурсы и инициативы, поощряющие трансграничную кооперацию

Источник: [Скотт, 2009].

Институциональные и нормативные принципы оформления политико-языковых пространств складываются далее в виде совокупности признаков:

- по характеру членства: межправительственные организации и / или неправительственные структуры, а также различные комбинации того и другого;

- с географической точки зрения: глобальные, транс-континентальные, региональные (макро- и мезомасштабов) пространства;

- в функциональных измерениях: организации общей компетенции, организации специальной компетенции, организации с универсальными либо специальными целями;

- с точки зрения институциональной структуры: «инструмент» для достижения целей или для создания институтов сотрудничества, «арена» публичного обсуждения или «агора», «коллективный игрок» как претендент на международную правосубъектность и другие функциональные виды международных организаций.

В качестве модельного («прототипического») случая институционального и лингвокультурного проектирования международного

политико-языкового пространства можно рассматривать международные структуры франкофонии, обладающие самым обширным набором соответствующих типологических признаков.

Тюркоязычное пространство между риторикой и прагматикой

Постсоветская фаза новейшей истории демонстрирует активное продвижение весьма амбициозных проектов консолидации пространства тюркских языков в виде как межгосударственных образований, так и неправительственных объединений. На протяжении двух с половиной десятилетий происходит интенсивное оформление идей тюркского единства, в том числе формируются международные структуры на правительственном и парламентском уровнях, институты многостороннего сотрудничества в областях культуры, образования, науки. Рамки настоящей статьи не предусматривают анализа соответствующих структур (хотя для этого имеются подробные, хорошо документированные материалы). В данном случае нас интересуют подходы к символическому конструированию политико-языкового пространства тюркских языков.

В 2006 г. премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган выдвинул идею создания многостороннего сообщества: «Есть содружество франкоговорящих стран, англоговорящих и испаноговорящих стран. Почему бы не создать свое содружество? ...Тюркский мир должен играть весомую роль в международной политике» [цит. по: Атаев, 2008]. Однако, как мы попытаемся показать ниже, возможности воспроизведения опыта этих языковых сообществ в условиях тюркоговорящих стран ограничены рядом обстоятельств.

Тюркоязычное пространство не может быть сконструировано по образцам франко- или англофонии, в первую очередь из-за того, что в данном случае речь может идти о «сообществе глоттогенеза», а не сообществе с общим коммуникативным кодом и с реально функционирующим *lingua franca*. Тюркские языки связаны между собой генезисом (с древнетюркскими – гуннским, хазарским, орхон-енисейским языками) и определенной степенью родства, т.е. наличием большого количества общих слов, лексических совпадений, однако между носителями этих языков нет взаимопонимания. Специалисты квалифицируют такой типологический вариант родства как «заметный», в отличие от такой разновидности родства, которая близка к тождественности. По мнению лингвиста О. Мудрака, взаим-

ная понятность тюркских языков – не более чем миф: «...башкир и турок разве что вычленият некоторые слова друг у друга. Хакас не поймет узбека. Я уже не говорю про якутский или чувашский язык. Это довольно большая семья языков с большим количеством языков-потомков» [Язык во времени, 2009]. Таким образом, символические составляющие политико-языковой интеграции в рассматриваемом случае явно преобладают над коммуникативными.

Далее, в случаях французского, английского или испанского политико-языковых сообществ мы имеем дело с постколониальным контекстом, который предполагает некоторую память совместного политико-административного сосуществования метрополии и зависимых территорий, в том числе – коммуникативный опыт. Однако границы тюркского «мира» не совпадают с границами Османской империи, с одной стороны, и с ареалами распространения собственно турецкого языка в современном мире – с другой. Около 2,8 млн жителей ФРГ имеют турецкие корни, сотни тысяч этнических турок живут в Болгарии, Македонии, Греции, десятки тысяч – в Боснии и Герцеговине, Румынии, Сербии и т.д. Кроме того, десятки миллионов жителей Ирана и Китая, говорящих на тюркских языках, по понятным причинам не могут иметь причастность к проектам соответствующего политико-языкового пространства. Эти соображения также воздействуют на специфическую комбинацию двух перспектив интеграции – артикуляции геолингвистических образов (репрезентаций, мифологии, семиотических структур) и формирования реальных политических структур интеграции.

Семиотика тюркоязычного пространства, ее индексальные очертания («указательные», связанные с пространственно-временными рамками конструируемых образов «Мы», с хронотопом, работающим на искомую идентичность) начинали складываться еще в идейных контекстах раннего пантюркизма на рубеже XIX–XX вв. Уже первые объединительные проекты предполагали формирование собственно лингвистических оснований – идеи общего тюркского идиома на основе упрощенного турецкого языка при попытках минимизации заимствованных арабизмов и фарсизмов. По замыслу одного из зачинателей пантюркизма Исмаила Бей Гаспринского (1851–1914), этот вариант тюркского *lingua franca* предназначался для коммуникации между всеми народами тюркской семьи «от Балкан до Великой Китайской стены», «от босфорских лодочников до верблюжьих погонщиков Кашгара» [Беннигсен, 1993, с. 88].

Тюркская идея в своих многообразных изводах – культурном, просветительском или этнополитическом (паннационалистическом) – задумывалась как альтернатива османскому и российскому имперству и как определенный противовес (с той или иной мерой секулярности и модернизации) «чистому» исламизму. Наиболее влиятельный представитель пантюркизма в Турции начала XX в. Зия Гёкальп (1876–1924) так формулировал его кредо: «Мы принадлежим к тюркской нации, к мусульманскому религиозному сообществу и европейской цивилизации», рассматривая религию скорее как вероучение, а не как основу правовой и социальной системы. Пространственно-временные образы тюркского мира в его поэтической интерпретации символизируют масштабы настоящей мегаломании: «Мой Атилла, мой Чингиз, эти героические образы, которые образуют гордую славу моей нации, появляются на запыленных страницах истории, пропитанных недоброжелательством и осквернением, и сама среда покрыла их позором и бесчестьем, хотя на самом деле они ничуть не меньше, чем Александр и Цезарь. Мое сердце лучше знает и Огуз Хана, который для истории остается темным и неясным образом. ... Отчизной тюрков является не Турция, не Туркестан, а вечная огромная страна – Туран» [цит. по: Гилязов, 2003, с. 10–11]. Структурирование символического пространства тюркоязычных народов, по Гёкальпу, приобретало вид концентрических кругов: «туркизма», ограниченного пределами собственно Турции; «огузизма», вбирающего турков, азербайджанцев и туркмен; «туранизма», объединяющего тюрков всего мира. «Туран, – писал идеолог, – это некая идеальная родина, в которой живут тюрки, в которой разговаривают по-тюркски и которая является неким союзом тюркских стран» [цит. по: Мухаметдинов, 1996, с. 101].

Свою версию политического конструирования тюркского пространства предлагал в начале прошлого столетия еще один татаро-турецкий интеллектуал – Юсуф Акчура (1876–1935), анализировавший сравнительные перспективы и преимущества «трех политик»: проекта «османской нации» на принципах ассимиляции; панисламистского проекта вне этнического контекста; проекта формирования «политической тюркской нации». Оставляя открытым вопрос относительно центра тюркского этнополитического комплекса, Ю. Акчура допускал, что конструирование такого пространства могло бы происходить на основе иных геополитических принципов: «Если бы не было гнета извне, эта идея легко развивалась бы в более благоприятной среде, чем османские провинции, а именно: в Туркестане и бассейнах рек Яика (Урала) и Волги, наиболее густо заселенных тюрками» [цит. по: Мухаметдинов, 1996,

с. 58, 60]. В более широкой цивилизационной перспективе он располагал конструируемый пространственный образ в срединном мире: «между мирами белой и желтой рас, вероятно сформируется некий тюркский мир» при лидирующей роли Османского государства [цит. по: Кудряшова, 2010, с. 44].

В конструктивистских устремлениях раннего пантюркизма независимо от их историософских аранжировок присутствуют романтические мотивы, уходящие в доисторические глубины. «Тюрки, – писал Садри Максуди (1878–1957), – появились на исторической сцене за 1300 лет до н.э. (восточные гунны) и уже тогда играли важную роль в межгосударственных отношениях. Таким образом, тюрки были известны уже за 2500 лет до Чингиза. ... Государство Чингиза – это не что иное, как тюрко-монгольская империя, управлявшаяся нетюркской династией по тюркским законам, большую часть которой составляли тюркские воины» [Максуди, 2002, с. 297–298].

Такие ретроспективные масштабы и контуры тюркского хронотопа изначально обусловили крайнюю проблематичность перевода диахронных аспектов в актуальное конструирование геокультурных (в том числе – геолингвистических) образов, а репрезентаций – в актуальные проекты нациостроительства и политико-идеологические доктрины. Символические пространственные притязания при всем своем захватывающем величии не могли не наталкиваться на непреодолимые геополитические препятствия – и в конце XIX – начале XX в., и тем более в современной макрорегиональной ситуации. На пути сколь-либо вероятной реализуемости всех предлагаемых паннационалистических сценариев и тогда, и сегодня не могла не вставать реалистическая международно-политическая прагматика. Еще более проблематичной была перспектива составления универсального мифологического конструкта – единого для всех тюркских лингвокультур нарратива (органично артикулированного и подходящего для синхронного транслирования на столь разные аудитории). Разделяемый опыт совместного государственного существования и великого прошлого в эпохи гуннской империи, тюркских каганатов, империй чингизидов и османов (так же как и мифология создания многих цивилизаций Евразийского континента) чрезвычайно трудно редуцировать в повествование, которое было бы понятно массовому сознанию и доступно для конструирования пространственно-временного комплекса смыслов.

Символическое оснащение общего тюркского хронотопа, в том числе в политико-языковых контекстах, осуществляется в современной международной идейно-информационной среде усилиями разнородных «семиотических акторов» – действующих от имени как государственно уполномоченных агентств, так и неправительственных структур, активистов и энтузиастов.

Первый организационный контур составляют межгосударственные институты и ивент-структуры (например, регулярно проводящиеся с 1992 г. саммиты государств тюркских языков). Действуют Тюркский совет (Совет сотрудничества тюркских стран в составе Турции, Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Туркмении), созданный в 2009 г., и его учреждения – Совет президентов, Совет министров иностранных дел, Парламентская ассамблея (TURCPA), Тюркская академия, Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Другой организационный контур связан с деятельностью неправительственных организаций, претендующих на особую субъектность в тюркском пространстве, которые также регулярно проводят свои курултаи, формируя повестку, отмеченную чертами оппозиционного фрондерства и амбициозными притязаниями на самобытную интегрирующую символизацию этого пространства. «Современные тюрки, – пишут профессиональные гуманитарии и деятели Всемирной Ассамблеи Тюркских Народов (ВАТН), – являются потомками инициаторов и участников создания первых в истории человечества цивилизаций: шумерской, китайской и индийской» [Султанмурат, Мухаметдинов, Каримов, 2009, с. 7]. Помимо проектов перехода к единому «языку межтюркского межнационального общения» или среднетюркскому языку «ортатюрк» идеологи ВАТН выступают с доктриной «Тюркского пути общественного развития», опирающейся на принципы «народного капитализма» и «дахабической» (основанной на идее «управления мудрого народа» – «дахабия») демократии [Султанмурат, Мухаметдинов, Каримов, 2009, с. 35–60].

Собственное видение евразийской интеграции деятели ВАТН связывают с участием Турции, что является условием успешного участия в этих процессах остальных тюркских народов. «В противном случае... будет формироваться единое культурное пространство, считай под “русскую балалайку” и массовую культуру». При этом, «если Турция войдет в Евросоюз, то она “будет потеряна” для Тюркского мира». ВАТН же может быть «превращен в своеобразный тюркский вариант Организации Объединен-

ных Наций или хотя бы в Организацию непредставленных народов» [В Туране состоялся курултай... 2014].

Свое место в тюркоязычном мире занимает Международная организация тюркской молодежи (МОТМ). В данном случае контуры тюркского пространства выходят далеко за пределы имплицитной формулы саммитов «один народ, живущий в шести странах». На своих курултаях молодые активисты артикулируют проблематику, которую государственные лидеры в рамках дипломатического дискурса обходят молчанием. Помимо лозунгов МОТМ относительно «единения в языке и образовании» это, например, осуждение политики официального Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также критика государств Центральной Азии, ограничивающих деятельность на своей территории организаций «Восточного Туркестана»; действия иракских властей по отношению к туркменам; «ассимиляцию тюркских народов, составляющих почти половину населения Ирана». Декларируется солидарность фактически со всеми миноритарными движениями тюрков в Болгарии, Греции (Западная Фракия), Косово, Грузии, Македонии, с турецкими диаспорами в Европе [Шейхетдин, 2008, с. 80–83].

Риторика в смысловой связке «язык – политика – пространство» применительно к тюркскому макрорегиону имеет в современном геополитическом и геоэкономическом контексте очевидные прагматические, субстантивные корреляты. Прежде всего, специфическая значимость придается транспортно-логистическим проектам, их конкурирующим вариантам и нюансировкам. О каких бы вариантах транспортных коридоров или маршрутах транзита углеводородов по территориям государств, входящих в тюркскую политико-языковую зону ни шла речь, принципиальные решения принимались и будут приниматься отнюдь не только и не столько государствами – членами Тюркского совета. Наиболее влиятельные игроки – Китай и Россия, США и Евросоюз (а с недавних пор – и Иран) – ни при каких обстоятельствах не будут мириться со второстепенной ролью в транспортных стратегиях макрорегиона Каспия и Центральной Азии. Очевидно, что турецкая инициатива «Проект Шелкового пути» и соответствующий проект «Караван-сарай» (2008–2009) не могут стать альтернативой китайскому замыслу «Экономического пояса Шелкового пути» ни по масштабам, ни по экономическому весу субъекта-инициатора. «Непрямые» инструменты влияния Турции на своих партнеров в Центральной Азии с использованием символических культурных и политико-языковых ресурсов и других рычагов «мягкой силы»

не могут составить реальную конкуренцию таким проектам, как американский «Новый шелковый путь» или названная китайская инициатива [Fedorenko, 2013, p. 9–12].

Кроме того, согласно некоторым авторитетным экспертным оценкам, присутствие тюркского фактора в Синьцзян-Уйгурском автономном районе воспринимается официальным Китаем как аргумент большей стратегической значимости, чем экономическая целесообразность той или иной версии транспортной инфраструктуры [Лукин, 2014, с. 94, 97].

Таким образом, соотношение символических и субстантивных моментов тюркоязычного пространства, приоритетность политико-языковой идентичности и солидарности зависят от сложной комбинации мотивов и интересов. Это касается как субъектов потенциальной интеграции собственно Тюркского совета, так и других существенно более могущественных держав в лице Китая и России, а также значительно более институционально оформленных организаций – ШОС, ОДКБ, ЕАЭС и Таможенного союза. Характерно в этом смысле, что, как подчеркивал Нурсултан Назарбаев во время V саммита Совета сотрудничества тюркоязычных стран в Астане (11 сентября 2015 г.), государства – члены Тюркского совета имеют все шансы стать межконтинентальным транзитным мостом, соединяющим экономические и коммуникационные сети Китая, России, Европы, Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии [ЦГИ «Берлек-Единство»... 2015].

Перемены, связанные, начиная с осени 2015 г., с критическим обострением российско-турецких отношений, переводят тему «тюркского мира» в принципиально новую ситуацию, в которой какие-либо прогнозы становятся крайне проблематичными. Становление институтов тюркской межгосударственной интеграции будет зависеть не только от непосредственных участников этого процесса, но и от позиций влиятельных «внешних» игроков, чьи интересы напрямую связаны с событиями на Ближнем Востоке, на Кавказе, в прикаспийском макрорегионе.

Можно предположить, что четвертьвековой эксперимент становления новой субъектности завершает определенный этап и вступает в полосу неопределенности.

«Финно-угорский мир»: Случай структурной и символической гибридности

Движение за консолидацию «финно-угорского мира» основано на интенциях объединения в общем языковом пространстве около 25 этнокультурных общностей, достигающих, по некоторым оценкам, численности в 25 млн человек. У венгров, финнов и эстонцев есть суверенная государственность, а также заметные диаспоральные группы. Семнадцать из этих народов (около 4 млн человек) проживают в Российской Федерации, некоторые из них имеют субнациональные образования – республики и автономные округа; саамы, ингерманландские финны и сето рассредоточены на территориях разных государств. Типологически это символическое сообщество может быть отнесено к разряду «сообществ глоттогенеза» без общего коммуникативного кода или *lingua franca* в наиболее рафинированном варианте. В отличие от тюркского политико-языкового проекта, его финно-угорский аналог практически не имеет физико-географического континуума и отличается высокой степенью территориальной дисперсности, а также историко-культурной диверсификацией, практически недоступной для метафорического освоения даже в минимальной степени.

Финно-угорское движение уходит корнями в академическую филологию, историю и культурную антропологию. Начиная с середины XIX в. оно было связано с семинарами, форумами ученых и другими мероприятиями, с изданиями в рамках научного сообщества финно-угроведов. В постсоветский период стали оформляться структуры соответствующего «движения». Это Всемирный конгресс – независимый институт сотрудничества народов (проводится раз в четыре года), а также Консультативный комитет финно-угорских народов, который представлен в рабочих группах ООН по коренным народам и этническим меньшинствам [см.: Кирдяшов, Мильченко, 2012, с. 88], что, по-видимому, выглядит не совсем уместно по отношению к венграм, финнам и эстонцам (да и ко многим народам этой группы в России, под категорию коренных вряд ли подпадающим).

Соотнесение символических моментов (репрезентаций, курсов, способов конструирования) и материальных (субстантивных) начал применительно к финно-угорскому пространству имеет асимметричный вид – с очевидным перевесом в пользу первых и минимальным присутствием вторых. Говорить о прагматических измерениях, о какой-то экстралингвистической инструментальной

мотивации или общей повестке, отражающей реальные коллективные интересы, в данном случае можно лишь *ad hoc*. Речь, скорее, может идти о ситуативных и чаще всего односторонних подходах. При этом не предполагается учреждения особых межгосударственных структур или каких-то «жестких» форм интеграции. Предлагаемая повестка ориентирована на проблематику этнокультурных прав финно-угорских народов и их сотрудничества по части удержания и продвижения своей самобытности. Естественным следствием этого становится преобладание декларативности в когнитивных категориях анализа (см. табл. 1).

В резолюции VI Всемирного конгресса финно-угорских народов (Венгрия, сентябрь 2012 г.) записано: «Финно-угорский мир стал реальностью со своей идентичностью, самодостаточностью, институтами и разнообразными организациями, которые последовательно выдвигают и претворяют в своей деятельности международные стандарты в областях прав человека, прав национальных меньшинств и коренных народов, включая право народов на самоопределение» [Resolution of... 2012]. Кроме декларации общей идентичности здесь явственно прочитывается политико-информационная прагматика, имплицитно указывающая на Российскую Федерацию и предлагающая общественным кругам ее финно-угорских народов привлекательную альтернативу.

Дефицит символических ресурсов в рассматриваемом случае выражен хотя бы в том, что продвигаемый мифологический конструкт – предания о финно-угорской прародине и их «первом государственном образовании» Биармии, гипотетически обладавшей всеми атрибутами величия, – чрезвычайно трудно воплотим в проектах создания общей идентичности. Опирающиеся на средневековые скандинавские саги гипотезы о государстве, возникшем задолго до Киевской Руси, державшем «в своих руках торговлю между Востоком, Западом и Югом» и являвшемся средоточием «философии», «чистоты и древности» финно-угров, трудно назвать убедительным поводом для символического конструирования чьей-либо «самости» [см.: Тишков, Шабаев, 2013, с. 299].

Как бы то ни было, общая транслокальная и глоттогенетическая идентичность применительно к конструируемому пространственному комплексу оказывается проблематичной.

Прежде всего, символические аспекты такой идентичности лишены достаточно органичных культурно-исторических, дискурсивных, знаковых, индексальных («указательных») оснований, а также пространственно-временных нарративов потенциально объе-

диняющей силы. Достижения в области академической историографии, этнологии и антропологии, языкознания, фольклористики, литературоведения могут стать отправной точкой для мифологического оснащения конструируемой идентичности далеко не всегда. Для того чтобы это произошло, требуется консолидированная интеллектуальная воля не одного поколения гуманитариев, «семиотических работников», деятелей образования и массмедиа, множества сегментов элит. Трансляция на массовую аудиторию полученных при этом смысловых пространственно-временных комплексов такой коммуникативной значимости, которая позволяла бы говорить о «воображаемых солидарностях» или лояльностях, – необходимое условие возникновения реальной идентичности.

В качестве красноречивой иллюстрации можно привести выдержку из недавней публикации в международном журнале «Финно-угорский мир», который выходит в Саранске: «Ныне представители различных финно-угорских народов мало или почти совсем не понимают друг друга, но примерно 6–7 тыс. лет назад наши предки говорили на общем языке и занимали концентрированную территорию, а именно Урал и окрестный с ним ареал. Есть все основания полагать, что уральский пранарод некогда представлял собой реально существовавшую общность...» [Мокшин, 2014, с. 20]. И далее речь идет о «трансляции ряда их культурных компонентов в сокровищницу русской и мировой культуры (доместикация оленя, создание нартов и лыж, меховой одежды и обуви, пищевых деликатесов, в том числе пельменей и строганины, токайского вина, сауно-банных традиций, эпоса масштаба “Калевалы”, оригинальных образцов этномызыки, в том числе многоголосного пения, этнохореографии, например чардаша, декоративно-прикладного искусства)» [Мокшин, 2014, с. 21]. Понятно, что такое механическое конструирование произвольных знаковых конгломератов искомой силой убедительности не обладает.

В ответных реакциях экспертов, делающих акцент больше на мерках культурной престижности, чем на историческом языкознании или на перспективах формирования коммуникативных пространств, тоже есть моменты формального и по-своему произвольного комбинирования символических средств. «При таком подходе, например, венгерский горожанин, воспитанный в традициях католицизма, и оленевод-хант, сохранивший в своей культуре языческий пласт, становятся людьми, принадлежащими к единому культурному сообществу!» [Шабаев, Шилов, Садохин, 2010, с. 150]. Цитируют, к примеру, также венгерского ученого финно-

угриста Петра Домокоша: «И хотя в дальнейшем общие корни между венграми и другими уральскими народами оказались научно доказанными, тем не менее многие венгры продолжают это игнорировать. Полагая, что куда приятнее вести свой род от аристократии древних эллинов или римлян, чем иметь общие корни с аборигенами северной тундры и тайги» [цит. по: Семушкин, 2012].

Большинство аналитиков считают, что конструирование общей идентичности «финно-угорского мира» в качестве значимой части общего репертуара способов коллективного отождествления, пространственно-временного отображения транслокальных образов «Мы» имеет слабые перспективы. «Панфинно-угризм» квалифицируется исследователями в качестве составной части финского национализма, развившегося на рубеже XIX–XX вв., когда вместо известного наименования «финно-угорские народы» употреблялся идеологически мотивированный вариант – «народы финского (точнее “финляндского”) рода». Судьба такой панидеи в данной интерпретации симптоматична: в среде финских исследователей из-за того, что в обществе возобладал иной настрой, а именно в пользу интеграции с западноевропейским сообществом, гипотезы о финно-угорской прародине и евразийских корнях финского языка стали восприниматься как нежелательные и «безнадежно устаревшие». Приоритетное звучание получило кредо: «Страна прибалтийских финнов – европейская земля». Вместе с тем в конце прошлого столетия мотивы панфинно-угризма стали набирать популярность среди зарождающихся национальных движений в тех регионах России, где проживают народы, говорящие на языках соответствующей семьи [Напольских, 2001, с. 122–123].

Прагматическая составляющая проектов конструирования «финно-угорского мира» являет собой не совокупность системно организованных и многосторонних мотиваций и устремлений, а скорее дивергентно выглядящую сумму очень разных позиций отдельных сторон.

Официально-декларативный вариант соотношения символического и субстантивного звучал, в частности, из уст В.В. Путина во время встречи с руководством Международного консультативного комитета финно-угорских народов и Ассоциации финно-угорских народов России в июле 2007 г. в Саранске: «У нас гуманитарное сотрудничество помогает развивать и деловые связи между странами. Венгерские компании работают в шести финно-угорских регионах России, в том числе, по-моему, в Ханты-Мансийске, где компания “Мол” добывает нефть, – три миллиона

по году, по-моему. Активно работают финские компании в различных регионах России, прежде всего в приграничных, конечно, но и в других, в том числе там, где проживают финно-угорские народы. И здесь сотрудничество самое разнообразное: и деревопереработка, и энергетика, и высокие технологии. Российские официальные власти будут всячески способствовать такому развитию событий» [Стенографический отчет... 2007].

Для одних акторов – прежде всего для элит из российских «национальных» регионов, в которых проживают финно-угорские народы, для представляющих их официальных инстанций, для этнополитических активистов или энтузиастов этнокультурного возрождения, – это ресурс самоутверждения, лоббирования, доступа к грантовым источникам, средство политической рекламы, «этнорегионального брендинга». Кто-то стремится к имиджу респектабельности на арене региональной (субнациональной) «парадипломатии». Кто-то – к участию в фестивалях, выставках, семинарах и других событиях такого рода.

Другие субъекты символического конструирования ориентированы на аккумуляцию своих возможностей в информационно-политическом противостоянии с российской стороной. В таком духе в отечественных публикациях трактуются, например, отдельные эксцессы во время проведения Всемирных конгрессов финно-угорских народов, связанные с выступлениями официальных властей Эстонии. Скандальным резонансом сопровождались слова эстонского президента Т.Х. Ильвеса на конгрессе в Ханты-Мансийске в 2008 г.: «Наши поэты мечтали об эстонском государстве, и мы сделали выбор в пользу свободы и демократии. Многим финно-угорским народам еще предстоит сделать такой выбор. ...Как только вы почувствуете вкус свободы, вы поймете, что это вопрос выживания» [цит. по: Иванов, 2013, с. 100]. Этот казус был расценен в российском академическом и экспертном дискурсе как один из эпизодов инициированной властями Эстонии кампании (довольно-таки, надо сказать, непрофессионально и неуклюже организованной) по использованию темы «положения финно-угорских народов» в России («ситуации в Республике Мари Эл») для политического давления на российскую сторону в контексте современных «информационных войн». Надуманным выглядит и заявление главы эстонского государства на пленарном заседании Всемирной конференции коренных народов в рамках 69 сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2014 г. о том, что «строительство порта в Усть-Луге (Ленинградская область) противоречит декларации ООН о правах коренных народов» [Сергеева, Пав-

ловский, 2014]. Как можно видеть, конструирование политико-языкового пространства в случае с «финно-угорским миром» также связано с транспортно-логистической проблематикой.

Иное дело, что эта тема поднимается не в таком системном и многостороннем виде, как это происходит в случае с «тюркским миром». Скорее, это спорадические *ad hoc* акции, исходящие лишь от отдельных игроков, которые не отражают коллективных интересов всех участников символически оформляемого проекта «финно-угорского мира» в рамках общей повестки.

Заключение

Между рассмотренными случаями политико-языковых пространств – тюркоязычным и финно-угорским «мирами» – есть несомненное, хотя отчасти формальное сходство. Это два символически оформляемых проекта, которые могут быть типологически отнесены к «сообществам глоттогенеза», в отличие от «сообществ коммуникативного кода» (как это происходит с франкофонией, Содружеством, испанидадом, лузофонией и «Русским миром»).

Они демонстрируют различные варианты соотношения символических, риторических, дискурсивных начал, с одной стороны, и реалистически понимаемой интегрирующей прагматики – с другой. «Тюркоязычный мир» интенционально ориентирован на разнообразные институты, включая межгосударственные формы интеграции, и на субстантивные основания – такие как, например, транспортно-логистические стратегии, перспективы экономического сотрудничества. Символические измерения обладают здесь как самодовлеющим значением, так и инструментальными функциями, отражающими интересы тех или иных действующих лиц, в том числе акторов «вне суверенитета». «Финно-угорский мир» – пример того, как символизация не столько дополняет материальные объединительные составляющие (например, для решения совместных проблем или создания механизмов сотрудничества), сколько замещает их в ситуации «чистого» конструирования.

Литература

- Алиев: «Тюркский мир разделен географически» // Тюркист. – 2015. – 12 сентября. – Режим доступа: <http://www.turkist.org/2015/09/aliev-astana-turkic-council.html> (Дата посещения: 01.01.2016.)
- Атаев Т. Принесет ли парламентская ассамблея тюркоязычных стран стабильность в каспийский регион // IslamRF.RU. – 2008. – 28 ноября. – Режим доступа: <http://www.islamrf.ru/news/analytics/point-of-view/5955/> (Дата посещения: 13.04.2009.)
- Беннигсен А. Исмаил бей Гаспринский (Гаспралы) и происхождение джадидского движения в России // Гаспринский И. Россия и Восток. – Казань: Фонд Жиен; Татарское книжное издательство, 1993. – С. 79–97.
- В Туране состоялся курултай тюркских народов // Тюркист. – 2014. – 3 июня. – Режим доступа: http://www.turkist.org/2014/06/kurultay-vatn_2.html (Дата посещения: 28.01.2016.)
- Гилязов И.А. Тюркизм: становление и развитие (характеристика основных этапов). – Казань, 2003. – 51 с.
- Иванов В.В. Национал-сепаратизм в финно-угорских республиках РФ и зарубежный фактор // Проблемы национальной стратегии. – М., 2013. – № 6 (21). – С. 95–107.
- Кельнер-Хайнкеле Б., Ландау Я.М. Языковая политика в современной Центральной Азии: национальная и этническая идентичность и советское наследие. – М.: Центр книги Рудомино, 2015. – 320 с.
- Кирдяшов В.Ф., Мальченков С.А. Всемирные конгрессы финно-угорских народов в контексте формирования единого «Финно-угорского мира» // Исторические, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2012. – № 8 (22), Ч. 2. – С. 87–92.
- Кронгауз М.А. Слово за слово: о языке и не только о нем. – М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2015. – 480 с.
- Кудряшова И.В. Пан-нации и нации-государства в мусульманском мире: Конкуренция воображаемых сообществ // Метод: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин: Сб. науч. тр. / РАН ИНИОН. – М., 2010. – Вып. 1. – С. 30–53.
- Лукин А.В. Идея «экономического пояса» Шелкового пути и евразийская интеграция // Международная жизнь. – М., 2014. – № 7. – С. 84–98.
- Максуди С.А. Тюркская история и право / Пер. с турецкого Рафаэля Мухутдинова. – Казань: Изд-во «Фэн», 2002. – 412 с.
- Мокшин Н.Ф. Роль финно-угорского наследия в мировой культуре // Финно-угорский мир. – Саранск, 2014. – № 4. – С. 20–21.
- Мухаметдинов Р.Ф. Зарождение и эволюция тюркизма (Из истории политической мысли и идеологии тюркских народов; Османская и Российская империи, Турция, СССР, СНГ 70-е гг. XIX в. – 90-е гг. XX в.). – Казань: Изд-во «Заман», 1996. – 272 с.
- Напольских В.В. Сравнительно-историческое языкознание и идеология: пути панфинно-угризма в Финляндии и Удмуртии // Языки и общество на пороге нового тысячелетия: итоги и перспективы: Тезисы докладов международной конференции, Москва, 23–25 октября 2001 г. – М., 2001. – С. 122–123.

- Панфилова В. Союз тюркоязычных стран усилился Туркменистаном // Независимая газета. – М., 2014. – 6 июня. – Режим доступа: http://www.ng.ru/cis/2014-06-06/7_turkmenistan.html (Дата посещения: 23.02.2016.)
- Перевозчиков Ю.А. Финно-угры как большинство: опыт государственного регулирования статуса миноритарных групп // Ежегодник финно-угорских исследований. – Ижевск, 2013. – Вып. 1. – С. 87–100.
- Российско-эстонский скандал на высшем уровне // Агентство политических новостей. – М., 2008. – 30 июня. – Режим доступа: <http://www.apn.ru/news/article/20216.htm> (Дата посещения: 14.04.2009.)
- Сергеева А., Павловский И. Финно-угорский мир: линия разлома России? // ИА Регнум. – М., 2015. – 3 июля. – Режим доступа: <http://www.regnum.ru/news/polit/19929034.html> (Дата посещения: 28.01.2016.)
- Сильверштейн М. Уорфианство и лингвистическое воображение наций // Логос. – М., 2005. – № 4. – С. 87–132.
- Скотт Дж. Стимулирование кооперации: могут ли еврорегионы стать мостами коммуникации? // Кочующие границы: Сб. ст. по материалам международного семинара, (Нарва, 13–15.11.1998). – СПб., 1999. – Режим доступа: http://www.indepsocres.spb.ru/scott_r.htm (Дата посещения: 29.10.2009.)
- Стенографический отчет о встрече с руководством Международного консультативного комитета финно-угорских народов и Ассоциации финно-угорских народов России. 19 июля 2007 г. Саранск // Президент России. – М., 2007. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/text/appears/2007/07/138219.shtml1> (Дата посещения 08.06.2009.)
- Султанмурат Е., Мухаметдинов Р., Каримов Б. Тюркский пояс стабильности. – Изд. 2-е, доп. – Казань, 2009. – 100 с.
- Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: Политические функции этничности. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2013. – 413 с.
- ЦПИ «Берлек-Единство»: Тюркская интеграция и ЕАЭС. – Уфа, 2015. – 24 сентября. – Режим доступа: <http://berlek-nkp.com/analytics/4775-cgi-berlek-edinstvo-turkskaya-integraciya-i-eaes.html> (Дата посещения: 03.02.2016.)
- Шабаев Ю.П., Садохин А.П. Дискурс этнической и гражданской идентичности. Финно-угорский мир России в материалах переписи 2010 г. // Полис: Политические исследования. – М., 2013. – № 3. – С. 113–125.
- Шабаев Ю.П., Шилов Н.В., Садохин А.П. «Финно-угорский мир»: миф, макроидентичность, политический проект? // Общественные науки и современность. – М., 2010. – № 1. – С. 147–155.
- Шэйхетдин Д. Төрки дһһһһһһһһһһ // Мирас. – Уфа, 2008. – № 3. – С. 78–85.
- Язык во времени. Классификация тюркских языков. Лекция Олега Мудрака // Полит.РУ. – М., 2009. – Режим доступа: http://www.polit.ru/lectures/2009/04/30/mudrak_print.html (Дата посещения: 04.05.2009.)
- Fedorenko V. The new silk road initiatives in Central Asia. – Washington DC: Rethink Institute, 2013. – Rethink paper 10. – August. – 41 p.
- Resolution of the 6th World congress of the Finno-Ugric peoples. – Siofok, 2012. – 7 September. – Mode of access: <http://www.fucongress.org/VI-kongress/resolution/Resolution-of-the-6th-World-Congress-of-the-Finno-Ugric-Peoples/> (Дата посещения: 04.01.2016.)

И.Ю. Окунев, Г.И. Остапенко*

СИМВОЛИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ СТОЛИЧНОСТИ: ОПЫТ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО КАРТИРОВАНИЯ СТОЛИЦ БЕЗ АКТУАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ¹

Аннотация. Столица представляется одним из ключевых элементов политико-территориальной структуры государства. Это не только место размещения центральных органов власти, центр управления суверенитетом страны, но и важнейший элемент, формирующий, воспроизводящий и трансформирующий ее государственность, в первую очередь оказывающий влияние на административно-территориальное устройство, систему взаимоотношений «центр – регионы» и региональную политику государства. Номинация столицы – это процесс познания нацией самой себя, эссенция представлений народа о своем прошлом, геополитическом позиционировании и образе желаемого завтра. В статье на примере столиц без актуальной государственности (бывшая столица Старая Ладога, столица исчезнувшего государства Касимов и столица мифического государства Мышкин) предпринимается попытка выявить символический капитал столичности. С помощью концептуального картирования авторы выделяют специфический пласт «столичности» не только в сознании жителей, но и в пространственно-символической организации их городов.

* **Окунев Игорь Юрьевич**, кандидат политических наук, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России, e-mail: iokunev@mgimo.ru; **Остапенко Герман Игоревич**, стажер-исследователь Клуба геополитических исследований МГИМО МИД России, e-mail: ostig@bk.ru

Okunev Igor, Moscow State Institute of International Relations, MFA Russia (Moscow, Russia) e-mail: iokunev@mgimo.ru; **Ostapenko German**, Moscow State Institute of International Relations, MFA Russia (Moscow, Russia) e-mail: ostig@bk.ru

¹ Публикация подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского гуманитарного научного фонда № 15-33-01 206 «Роль столицы в процессе государственного строительства: генезис, социальный конструктивизм, типология», руководитель – И.Ю. Окунев.

Ключевые слова: столичность; критическая геополитика; Мышкин; Касимов; Старая Ладога.

I. Yu. Okunev, G.I. Ostapenko

Symbolic capital of capitalness: Conceptual mapping of stateless capitals

Abstract. Capital is one of the key elements of the state's political and territorial structure, It is not only a location of governmental bodies, a centre of control over sovereignty, but major element, shaping, reproducing and transforming its stateness, first of all, influencing administrative and territorial division, «centre – regions» relations and the country's regional policy. Capital nomination is process of the nation's self-perception, the essence of its thinking of the past, geopolitical positioning and image of the desirable future. The article makes an attempt to define the symbolic aspects of capitalness by the example of capitals without actual stateness: former capital Staraya Ladoga, capital of disappeared state Kasimov and capital of mythical state Myshkin, The authors, using conceptual mapping, single out the specific layer of capitalness in inhabitants' consciousness as well as in political and symbolic organization of the cities.

Keywords: capitalness; critical geopolitics; Myshkin; Kasimov; Staraya Ladoga.

Модель геохронополитических трансформаций пространства

Столица является элементом пространственной организации общества, поэтому, для того чтобы понять роль столицы в политических процессах, мы обратились к поиску научной парадигмы, дающей ключ к объяснению пространственного фактора политики. Данная проблематика является традиционным предметом исследования геополитики, поэтому поиск парадигмы проводился в рамках этой дисциплины. Была проанализирована эволюция подходов в геополитике, которая выявила, что данное направление мысли можно считать не отдельной теорией, а скорее дисциплиной, создающей пространство для развития различных направлений и школ. К началу XXI в. в геополитике оформились две основные школы – ревизионистская и критическая. Обе опирались на критику классиков, но пошли в разных направлениях – ревизионистская нашла опору в неореализме, в то время как критическая замкнулась в конструктивизме.

Вопреки расхожему представлению о геополитике как об одной из теорий международных отношений, близкой к реализму или неореализму, критическая геополитика стоит в одном ряду с историей и теорией международных отношений и образует самостоятельную парадигму трактовки международных отношений –

пространственную. Более того, геополитика не может трактоваться в рамках реализма или неореализма, в своем развитии она, как отдельная парадигма, прошла такой же путь эволюции: от реализма школы географического детерминизма Х. Маккиндера и К. Хаусхофера до либерализма географии человека В. де ла Блаша, от неореализма ревизионистской геополитики Н. Спикмена до постмодерна критической геополитики Дж. Тоала. Можно сделать вывод о том, что геополитика переживает эволюцию, переосмысляя свои объясняющие переменные – пространство и дифференцирующиеся в нем факторы.

Тем не менее вскоре сама критическая геополитика оказалась под шквалом критики. Главное обвинение оппонентов сводилось к тому, что при изучении пространственных нарративов география оказалась забыта. Политические процессы определялись дискурсами о пространстве, в то время как объективные географические факторы и их влияние, в том числе, на формирование данных дискурсов, оставались за рамками исследования. Это привело к тому, что критическая геополитика перестала быть географической дисциплиной, почти полностью уйдя в семиотическое поле.

В начале 2014 г. флагманский журнал «Geopolitics» вышел с передовой статьей, в которой была поставлена задача достижения методологического синтеза в геополитике, который позволил бы объединить ревизионистскую и критическую геополитику для создания единой картины влияния пространственно-временного континуума на политические процессы [Haverluk, Beauchemin, Mueller, 2014, p. 19–39]. Было предложено назвать новое направление неоклассической геохронополитикой, хотя, на наш взгляд, название «посткритическая» также было бы уместно. Попробуем включиться в данную дискуссию и предложить возможные пути синтеза противоборствующих подходов.

На основе синтеза трех подходов – критической геополитики, социального конструктивизма и эволюционной морфологии – попробуем предложить модель геохронополитических трансформаций пространства. Предлагаемая для посткритической геополитики схема влияния пространства на политические процессы должна состоять из пяти стадий (см. рис. 1).

Нулевая стадия заключается в существовании за пределами исследуемого процесса объективного пространства. Не оспаривая его существования, мы тем не менее выводим его за рамки схемы, потому что прямого влияния на последующие процессы

оно не оказывает. Все последующие механизмы опосредованно отталкиваются от объективного пространства, ориентируются на него и зачастую развиваются в рамках архетипов, которые им предлагаются.

На первой стадии – *неосознанная субъективизация* – происходит первичная интерпретация пространства. Она выражается в устойчивых пространственных нарративах и закреплённом пространственном опыте. Скажем, с детства наши представления о характере и структуре пространства формируются географическими картами и нашим опытом перемещения в пространстве. Являясь не объективными отражениями пространства, а лишь его интерпретациями, данные субъективные знания воспринимаются нами как объективные. Именно последнее обстоятельство обеспечивает их устойчивость и массовое коллективное восприятие.

На второй стадии – *осознанной субъективизации* – человеческое сознание начинает порождать, реинтерпретировать и трансформировать пространство. Например, мы разделяем пространство на части, ранжируем их, выделяя центр и периферию, осознаём существенные различия в качестве пространства, формируя важные границы, привязываем к пространству наши воспоминания или желания, порождая фантомы исторической пространственной памяти или проекты необходимой трансформации пространства. Все эти процессы происходят не с объективным пространством, а с его субъективным субстратом, созданным нами на первой стадии в ходе неосознанного познания пространства, однако, по нашему мнению, наши манипуляции мы совершаем в объективном пространстве, отталкиваясь от его объективных характеристик.

Следующая стадия – *осознанная объективизация*. До сих пор мы имели дело с индивидуальными представлениями, однако для некоторых из них возникает необходимость укоренения в массовом сознании. В этот момент включается политика как сфера целеполагания и целедостижения. На данном этапе пространственное воображение, становясь объектом интереса политических акторов, начинается закрепляться на массовом уровне, приобретать элементы объективного. Политический актор вводит одно из существующих индивидуальных представлений в массовый дискурс, навязывая его широким слоям населения.

Наконец, на четвертой стадии – *неосознанная объективизация* – происходит институционализация пространственных представлений в институтах, нормах, символах, что формирует

представление о них как о естественных и предопределенных. Возможным последствием этого становится то, что они переходят на уровень разделяемого коллективного бессознательно-го. Формализованные практики начинают оказывать системное влияние на общество и перестают осознаваться в качестве искусственных.

Механизм закрепления субъективных пространственных представлений в формализованные практики замыкается и становится цикличным, поэтому можно говорить о «волнах» геохроно-политических трансформаций пространства.

Теперь попробуем в первом приближении представить разворачивание описанных стадий на примере института столичности.

Структура пространства предполагает существование лакун, собирающих пространственные связи, и территорий, удаленных от них, другими словами, в пространстве заложен принцип дифференциации, выделяющий потенциально центральные и периферийные точки. Однако положение столицы не предопределено только структурными институциональными факторами.

Существуют два противоположных архетипа столицы. Первый – миф о пупе Земли – о центральной точке пространства, собирающей все пространственные связи. Второй – миф о тридевятом царстве – о главной точке пространства, находящейся на самой оконечности, в самом дальнем углу пространства, наиболее отрешенной по отношению к узловым пространственным связям. Можно предположить, что первый архетип развивается в политиках, ориентированных на внешнюю экспансию, второй – в замкнутых на внутренние источники.

Из нашего пространственного опыта формируются представления о нужном архетипе столицы, что на следующем этапе выражается в формулировании искусственных конструкций об идеальной столице государства. В какой-то момент политический актер пытается закрепить одну из таких конструкций в институте столицы, из различных образов столицы выбирается один и маргинализируются другие. Начинается процесс институционализации идеального образа столицы – в пространственной структуре города и страны, нормах и правилах политико-территориальной организации политики, символическом пространстве. Данный процесс через какое-то время приводит к осознанию существующей модели столичности в стране как естественной и предопределенной.

Для доказательства данной модели на примере столичности в следующем разделе при концептуализации понятия столичности отдельно выделим институциональную и символическую составляющие этого понятия и затем в заключительном разделе на эмпирическом материале проиллюстрируем, как эти составляющие проявляются на разных этапах формирования пространственной идентичности места.

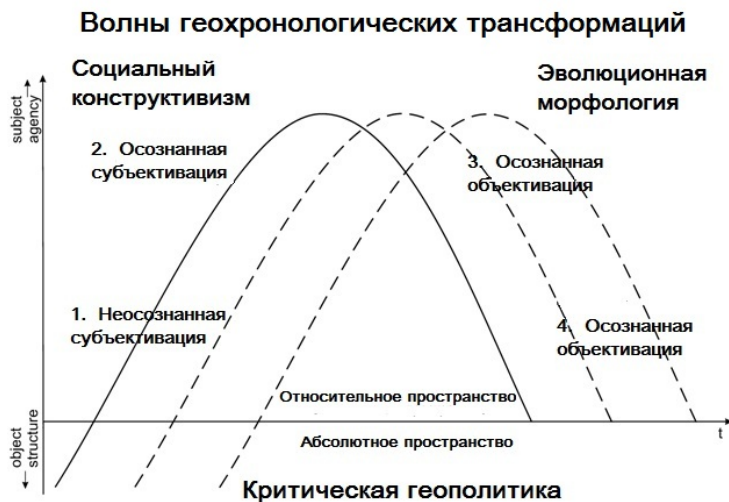


Рис. 1. Синтетическая теория геохронополитических трансформаций пространства

Институциональное и символическое содержание столичности

По общему определению столица обозначает место пребывания правительства страны. Важным представляется отметить два признака столицы, выделяемых А.И. Трейвишем. Во-первых, столица – это важный административный командный центр по большей части национального или регионального уровня. Во-вторых, столица – город, занимающий ключевое / доминирующее положение в артикулировании действий, осуществлении конкретных полномочий на глобальном или меньшем уровне. Абстрактно-

обобщающее определение столичности (по А.И. Трейвишу) будет сформулировано так: наличие или существование столичных черт или качеств в городе или регионе [Treivish, Zotova, Savchuk, 2014, p. 90–91].

А.А. Овсянников определяет столичность как статусный атрибут города, являющегося местом пребывания национальных органов исполнительной, законодательной, судебной власти, резиденции президента [Овсянников, 2009, с. 2]. По А. Овсянникову, потенциально любой город может начать обладать столичностью, если туда перенести названные органы государственной власти. Им же дается еще и такое определение столичности: конструируемый образ, основанный на уникальных качествах, характеристиках населенного пункта, выделяющих этот населенный пункт среди других [там же, с. 3].

Перейдем теперь к рассмотрению постпозитивистских подходов к столичности. По определению Д.Н. Замятина, столичность – «онтологический атрибут, преобразующий, трансформирующий внешние, физико-географические приметы и признаки положения (горная котловина, плато, бескрайняя равнина, остров, предгорье, излучина реки или слияние рек, берег морского залива и т.д.) в мощный – иногда единый, а иногда дуалистический – мифологический нарратив, обладающий целенаправленной сакральной энергетикой, подпитывающей властные дискурсы» [Замятин, 2013, с. 23–28].

Развивая эту логику, В. Россман отмечает, что столицы не только являются местом расположения органов государственной власти, но в их функции входит и «представление нации себе и окружающему миру. Столицы представляют собой идеализированные образы нации и национальной истории, своего рода нации в миниатюре» [Россман, 2013, с. 35–36].

В пространственной политике столица как центр символического противопоставляется провинциям или периферии [Rapport, 1989, p. 77–105].

Столица распределяет экономические блага, насаждает влияние и контроль, получая при этом трудовые и финансовые ресурсы от подвластных территорий. Укрепления центрального положения столицы можно было добиться несколькими путями: созывом собраний вождей и зависимых королей, организацией резиденций покоренных королей или мест для паломничества [Isbell, 1978, p. 269–297].

Столицы также принято считать сакральными центрами, или axes mundi (осями мироздания) [Smith, 1972, p. 705–719], а окружающее пространство в особом смысле реализуется посредством причастности к их символизму [Eliade, 1959].

Рукотворное окружающее пространство образует очевидные образы, схемы и символы, сообщающие определенное смысловое, а иногда и политическое, наполнение [Laswell, 1979], скрытое или же ярко выраженное в тех случаях, когда необходимо особо подчеркнуть контроль, властные полномочия и идентичность с помощью выстраивания ассоциативных рядов, зачастую с использованием архитектурных решений [Rapoport, 1990].

Символическое значение столичности, превалирующее над институциональным, открывает перспективы для использования данного капитала локальными сообществами, далекими от мест расположения органов государственной власти [Окунев, 2015, с. 89–93].

Наличие символического капитала в понятии столичности позволяет даже локальным сообществам, лишенным функций государственного управления, встраивать данный концепт в свои нарративы. Это дает возможность укреплять их локальные идентичности и даже, при грамотном использовании потенциала, выстраивать профессиональное брендинг. Это еще раз подтверждает, что столицы – это места, строящиеся не на экономической, а на культурной центральности; и символы здесь предшествуют материальным аспектам.

Подводя итог конструктивистскому направлению в исследовании столичности, можно сказать, что столицы представляют собой одновременно три сущности: во-первых, это социополитический форум, служащий инструментом власти для социального обучения, где граждане могут принимать участие в формировании государственного дискурса. Во-вторых, это центр производства и распределения общественных благ и услуг, ради чего, собственно, и развивались / создавались столицы в государствах-нациях. В-третьих, это конфигурация символических ресурсов, которая признается жителями и отображает обычаи и ценности населения. Перечисленные три категории редко сходятся в отдельно взятой столице, что свидетельствует о том, что столицы не являются просто результатом целенаправленного моделирования определенными силами.

Эмпирический опыт концептуального картирования столиц без актуальной государственности

Как было показано выше, понятие «столичность» несет в себе существенную смысловую нагрузку и не является окончательно сформированным и устоявшимся в академическом дискурсе. В последнее время появляются исследования, акцентирующие внимание не на институциональном наполнении термина «столичность» (место расположения органов государственной власти), а на символическом.

Чтобы разобраться с этим вопросом, было решено провести эмпирическое исследование в российских городах, которые произвольно или осознанно вовлечены в мифостроительство о своем уникальном положении в культурно-географическом пространстве России. Полевые исследования были ориентированы на когнитивное картирование исторической памяти столиц без актуальной государственности (*stateless*), т.е. таких, которые в настоящее время не имеют ни институционального оформления государственности, ни ее внешнего признания и тем не менее наделяются соответствующим символическим статусом в локальных дискурсах и практиках. Объектами нашего изучения стали бывшая столица (Старая Ладога, миф о первой столице Древней Руси), столица исчезнувшего государства (Касимов, миф о Касимовском ханстве) и столица выдуманного государства (Мышкин, миф о Мышином царстве). Выбор пал на малые города, которые по своему интерпретируют, используют и культивируют концепцию «столичности». При этом во всех трех случаях нет и не было институциональной основы столичности, и анализу может быть подвержена только символическая сторона этого концепта. Отличаются эти города и от схожих примеров бывших и выдуманных столиц. В отличие, скажем, от Белозерска и Изборска (наряду с Ладогой имеющих основания претендовать на столичность в древнерусском государстве), Биляра (столицы Булгарии), Кашлыка (столицы Сибирского ханства) и Гороховца (столицы страны Царя-гороха) и других таких примеров, именно в этих трех случаях миф о столичности не только ярко представлен в локальных дискурсах – он трансформирует городское пространство и поведение жителей.

Сравнительный анализ кейсов дает возможность определить, насколько отсутствие государственных институтов влияет на историческую память о столичности. Наше исследование механиз-

мов конструирования образа столицы как символической репрезентации «нации» позволяет сделать вывод о том, что память о столичности влияет на идентичность людей не только, когда город перестал быть столицей, но даже когда государство, для которого он играл роль столичного центра, давно исчезло или даже никогда не существовало в действительности, что подтверждает важное значение символического в концепте столичности.

В ходе нашего исследования также был использован термин «*пространственная идентичность*», который подразумевает восприятие собственной самобытности под воздействием особенностей положения в пространстве. В рассмотренных кейсах пространственная идентичность проявляется непосредственным образом в позиционировании жителей трех городов в качестве жителей столиц, предполагающих существование иерархических отношений с воображаемой периферией. При этом термин «столичность» формируется в прямой связи с пространством. Процесс создания пространственных идентичностей происходит с помощью инструментов, которыми располагает символическая политика: мифов, символов, легенд о месте своего проживания и т.д. Выдвинутая изначально гипотеза звучала следующим образом: наделение малых российских городов «столичностью» происходит за счет средств символического конструирования и вызвано необходимостью самоидентификации жителей в пространстве.

С целью сбора эмпирического материала в июле 2014 – октябре 2015 г. было организовано девять экспедиций в города Старая Ладога Ленинградской области (19 августа 2014 г., 4–5 июля 2015 г.), Касимов Рязанской области (12–13 июля 2014 г., 26–28 июня 2015 г., 12–13 сентября 2015 г.) и Мышкин Ярославской области (30–31 августа 2014 г., 29–30 июня 2015 г., 11 июля 2015 г., 10–11 октября 2015 г.). В ходе экспедиций было опрошено 294 респондента: 109 – в Касимове, 103 – в Мышкине и 82 – в Старой Ладоге. Сбор устных, письменных и визуальных источников велся в 35 учреждениях культуры, образования и туризма.

Собирать и обрабатывать материал в экспедициях помогали студенты факультета политологии МГИМО МИД России: Богдан Барабаш, Дарья Басова, Никита Еряшев, Елизавета Окунева, Сергей Савин, Анастасия Салаватова, Мария Тисленко и Александр Цацурин. Авторы выражают им глубокую признательность и благодарность.

Как показало включенное наблюдение и социологические опросы, проведенные в трех исследуемых городах, идентичности

жителей Старой Ладogi, Касимова и Мышкина не является цельным и неделимым таксоном. В связи с этим для понимания исключительности их статуса и в целях исследования признаков столичности в исследуемых городах представляются особо важными образы, на которые опираются существующие там идентичности. Такая детализация может послужить отправной точкой для выяснения причин и оснований появления и репликации столичности и является отражением восприятия гостей и жителей городов окружающих их объектов и символов, их интерпретации собственной истории.

В ходе полевой работы нами была отмечена особенность, характерная для столичного нарратива всех трех городов. Языком такого нарратива всегда выступали географические карты. В краеведческих музеях всех городов туриста встречают карты, отображающие некое государственное образование с вполне четкой территорией, границами и, что самое важное для нас, четко артикулированной столицей. Картографический язык оказывается, таким образом, одним из наиболее эффективных способов отражения нарратива о существовании иерархических отношений в рамках некоего замкнутого пространства. Данные наблюдения подтолкнули нас к новому этапу анализа, сопряженного с картографическим методом.

Вначале для выполнения этой задачи нами была взята концептограмма Касимова, выполненная Д.Н. Замятиным [Замятин, 2010, с. 26–50], и по этой модели составлены образные карты Старой Ладogi и Мышкина (рис. 2–3), включающие географические, исторические, символические образы и объекты, которые могут иметь разные комбинации и степени включенности в состав идентичностей жителей трех городов. Для данных концептограмм подбирались, в первую очередь, объекты и символы, упоминавшиеся информантами (экскурсоводы, гиды, респонденты, участники фестивалей, туристы), а также материалы информационных буклетов и музейных экспозиций.

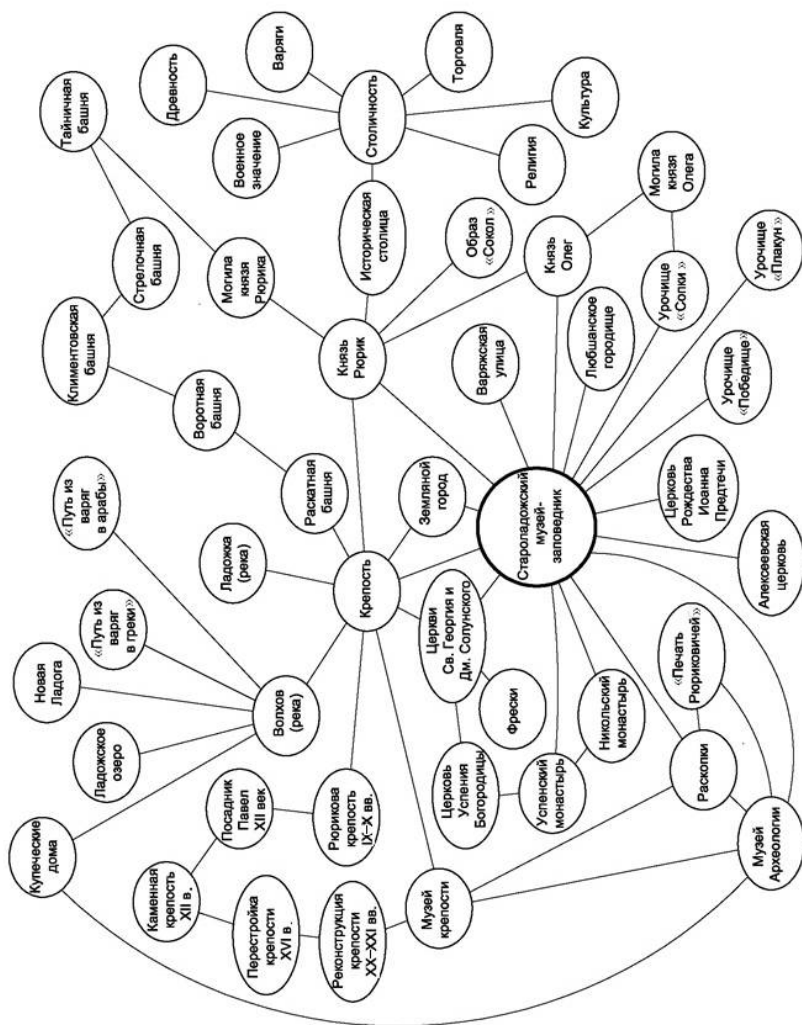


Рис. 2. Концептограмма Старой Ладоги

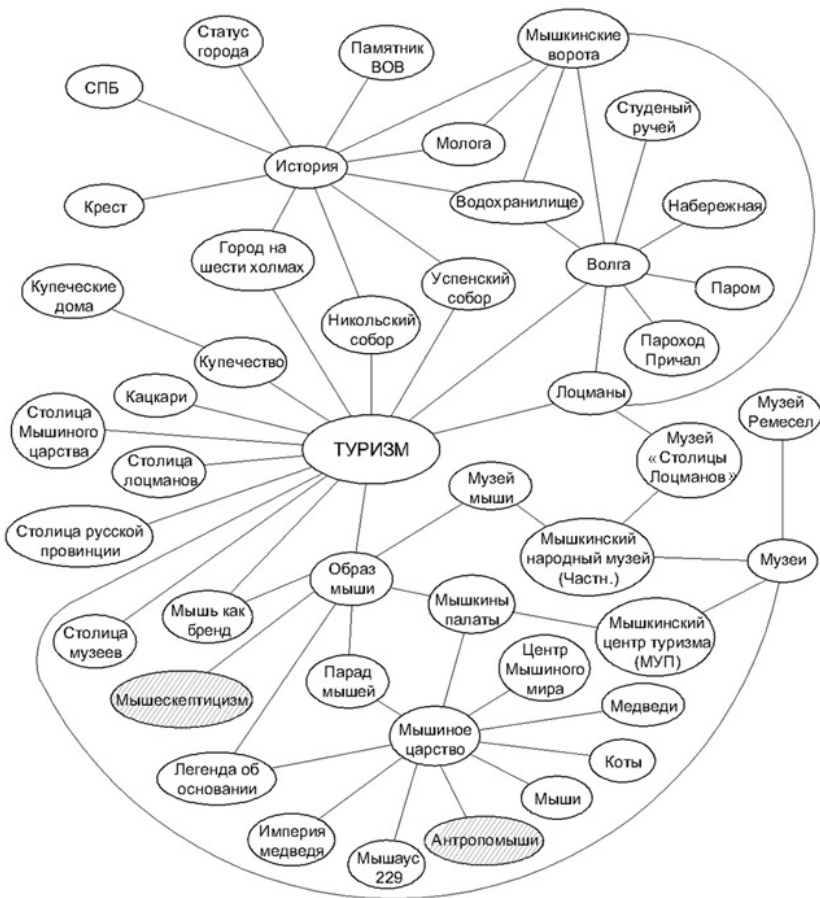


Рис. 3. Концептограмма Мышкина¹

Жизнь Старой Ладogi концентрируется вокруг музея-заповедника (рис. 2). Он не только объединяет ключевые строения города (крепость, отдельные церкви и постройки), но и является организующим звеном для других достопримечательностей города (два монастыря, урочища). Хотя все постройки относят к более

¹ Штриховкой показаны элементы, реконструированные авторами на основе анализа интервью.

поздним временам, именно крепость актуализирует в памяти Рюрика и статус исторической, «первой» столицы Руси. В Мышкине таким ядром выступает также не столичность, а идея туристической привлекательности (рис. 3). Для горожан туристическая ценность города включает не только «мышинные» темы, но и историю купечества, церквей, мореходства. Тема столичности появляется в разных контекстах – «столица лодманов», «столица провинции», но только «столица Мышиного царства» вводит нарратив о политической столице. Таким образом, как мы видим, во всех случаях концепт столичности появляется на периферии восприятия города жителями, он является производным от более сильных и доминирующих элементов.

Понимая приведенные схемы-концептограммы как совокупность наиболее ретранслируемых образов в дискурсе, следует перейти к методам, позволяющим более детально их рассмотреть. В качестве разновидности концептограммы с включенной пространственной проекцией следует рассматривать ментальную карту, получаемую в результате концептуального картирования. Концепт ментальных карт имеет принципиальное преимущество в том, что позволяет перейти к детальному рассмотрению восприятия пространства жителями и гостями города на основе наиболее близких географически и по когнитивно-эмоциональной перцепции пространственных объектов и образов.

Преследуя иную цель, нежели простое отображение географической пространственной действительности, такая карта, прежде всего, отображает символическое пространство данной локации, важное в определении и понимании разновеликих по смысловому содержанию и наполнению объектов картографирования. Иными словами, не все объекты, представляющие интерес, равнозначны по своему символическому весу. При таком методе осуществляется контрастирование объектов по шкале их культурно-исторической значимости. Для достижения этой цели допустимо пренебречь метрической точностью отображения, присущей географическим картам, в пользу наглядности и декоративности общего плана изображения, избегать картографирования незначительных объектов. При этом часть объектов выпадает из «концептограммы» и остается за пределами как экскурсионных маршрутов, так и «музейного» нарратива.

На первом этапе были составлены два типа ментальных карт.

1. *«Профессиональная» ментальная карта, деконструируемая на основе экспертных интервью.*

В основу данных карт был положен стандартизированный нарратив о местности сотрудников музея, гидов и людей, причастных к туристической отрасли. Для отображения были выбраны наиболее известные объекты, показывающие исследуемые города как места культурного наследия. Карта включает большинство мест, где проводились раскопки, а также церкви, фортификационные сооружения, крепость, музеи, исторические поселения древних людей. В определенном смысле эта карта оказалась наиболее всеобъемлющей и широкой по охвату изображенного материала и количеству объектов.

2. *«Респондентская» ментальная карта, деконструируемая на основе опросов населения.*

Данная карта была сформирована по материалам блиц-опросов респондентов и отражает непрофессиональный, нестандартизованный нарратив о местности. Базируясь на основе десятого вопроса анкеты («Если бы в крупном российском городе проходила выставка о Вашем городе, какие три экспоната Вы бы на ней разместили?»), была составлена ментальная карта названных респондентами объектов, имеющих географическую привязку. Эта карта призвана показать объекты и создаваемые ими образы. Пример таких объектов – храмы, монастыри, сопки, музеи, памятники, заводы, символы и т.д. Формат блиц-анкетирования не предусматривал уточнения, что, в понимании респондентов, представляют собой, например, «сопки»: одноименное урочище, определенный объект или группу объектов, совокупный образ «сопок» как свойственного и характерного атрибута, отражающего дух Старой Ладogi и ассоциирующегося с ней. «Респондентская» карта может быть полезна для дальнейшего изучения как образного восприятия пространства жителями исследуемых городов, так и их представлений о столичности.

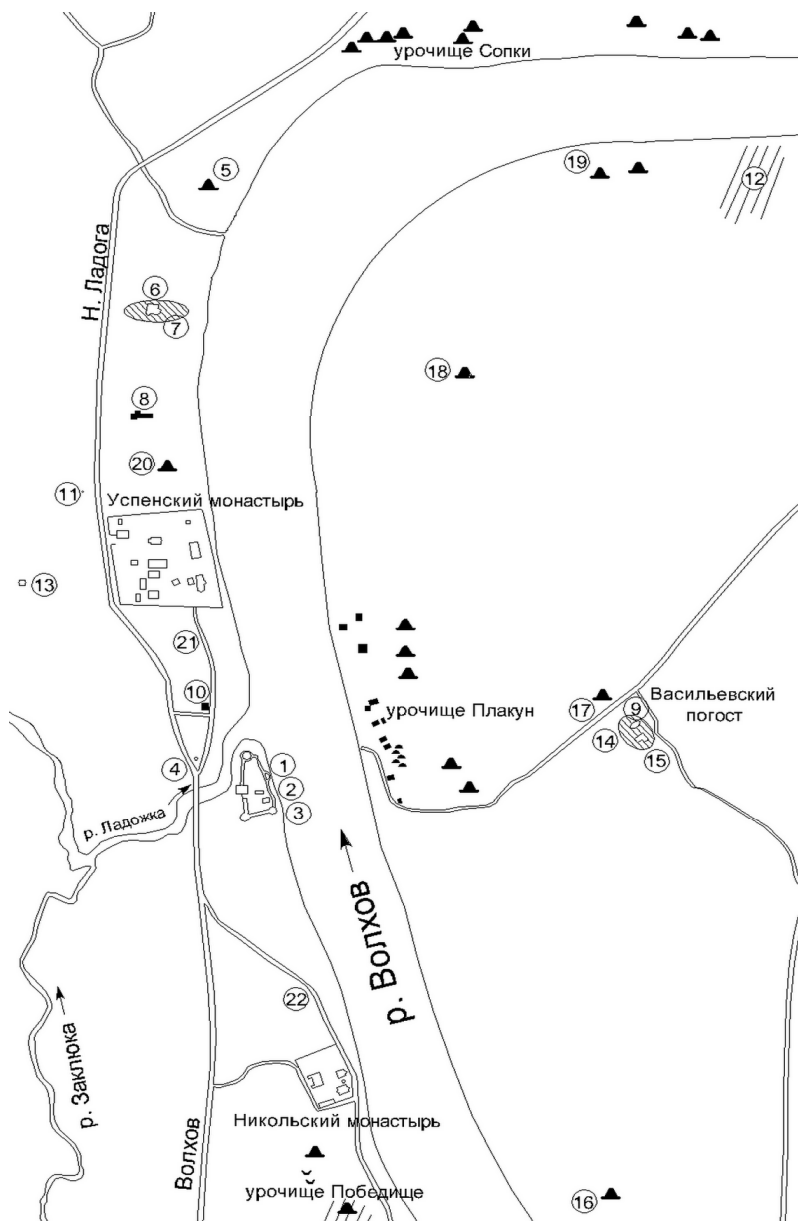


Рис. 4. «Респондентская» ментальная карта Старой Ладогы, деконструированная на основе опросов населения

Примечание:

1. Деревянная церковь св. Дмитрия Солунского.
2. Церковь св. Георгия.
3. Староладожская крепость.
4. Скульптурная композиция «Сокол с расправленными крыльями».
5. Сопка севернее Ладоги.
6. Церковь Рождества Иоанна Предтечи.
7. Историческое местоположение Иоанно-Предтеченского монастыря.
8. Дом Шварца, нач. XIX в.
9. Историческое местоположение Васильевского монастыря.
10. Дом купца П.В. Калязина (Археологический музей), рубеж XIX–XX вв.
11. Памятный знак в честь 1250-летия Старой Ладоги (2003/753).
12. Любшанское городище.
13. Алексеевская церковь (Церковь Алексия – человека Божия).
14. Церковь Преображения Господня.
15. Церковь св. Василия Кесарийского.
16. Группа сопок у деревни Лопино, IX–X вв.
17. Сопка у Васильевского погоста, IX–X вв.
18. Сопка у хутора Наволок, IX–X вв.
19. Группа сопок у мызы Тугариновой, IX–X вв.
20. Сопка в парке усадьбы «Успенское», IX–X вв.
21. Варяжская улица.
22. Никольская улица.

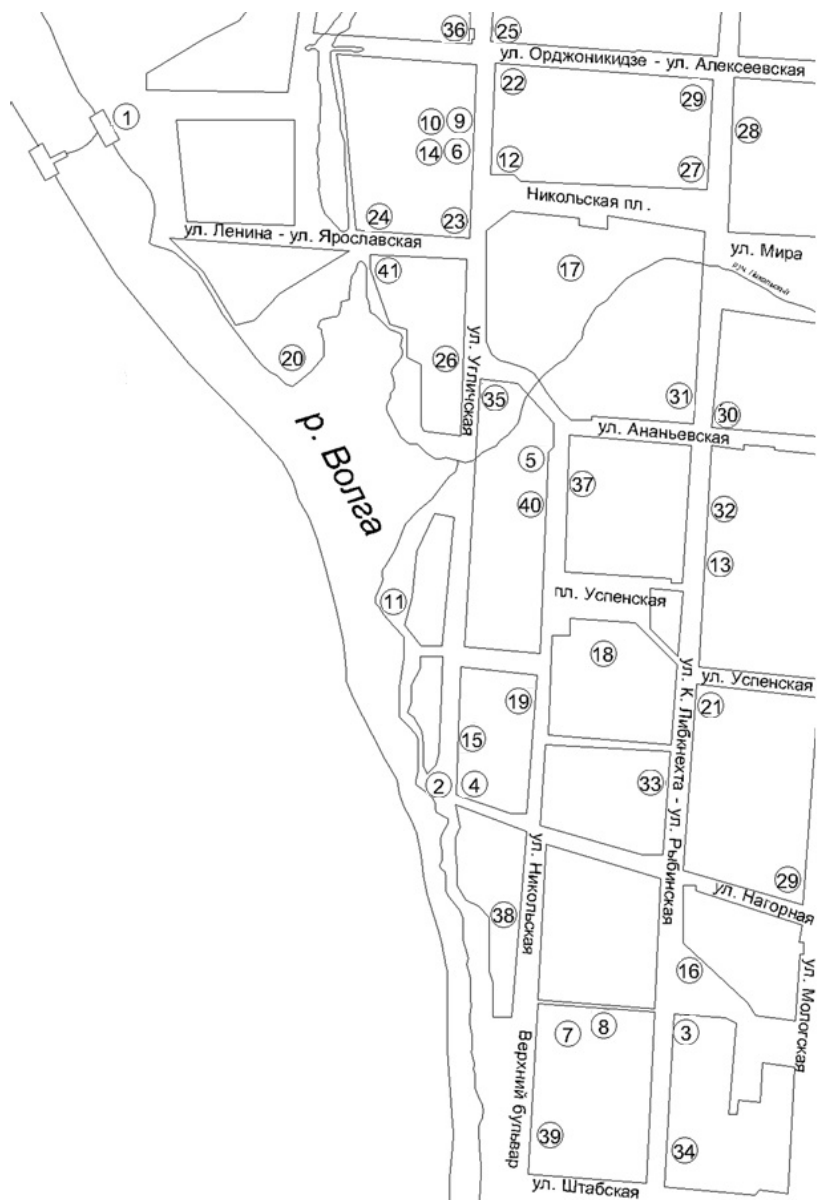


Рис. 5. «Респондентская» ментальная карта Мышкина, деконструированная на основе опросов населения

Примечание:

1. Паром.
2. Пристань.
3. Фонтан.
4. Музейный комплекс «Старая мельница».
5. Мышкины палаты.
6. Музей «Столицы лоцманов».
7. Музей боевой и трудовой славы мышкинцев.
8. Мемориал 60-летия Победы.
9. Музей великого водочника П.А. Смирнова.
10. Музей крестьянской архитектуры со своей Ремесленной слободкой.
11. Набережная.
12. Музей Мыши.
13. Клуб-музей ретро-техники «Экипаж».
14. Музей уникальной техники «Мышкинский СамоходЪ».
15. Музей «Русские валенки».
16. Памятник В.И. Ленину.
17. Никольский собор.
18. Успенский собор.
19. Опочининская библиотека (дом Т.В. Чистова).
20. Памятный крест на месте основания Мышкина.
21. Усадьба купца Чистова П.Е.
22. Дом купцов Литвиновых.
23. Дом дворян Мясисевых.
24. Дом купцов Серебряковых.
25. Дом купцов Пожаловых.
26. Дворянское собрание.
27. Дом дворян Роговых-Семиз.
28. Дом мещан Глазуновых.
29. Дом мещан Смирновых.
30. Дом дворян Поповых.
31. Дом мещан-строителей Смирновых.
32. Дом купцов Сицковых.
33. Дом служащих Кулагиных.
34. Дом мещан Ефимовых.
35. Дом купца Столбова И.С.
36. Дом купцов Цыпенковых.
37. Дом купцов Замяткиных.
38. Дом дворян Сорокиных.
39. Дом кораблестроителя Томсона.
40. Дом купцов Грбовых.
41. Дом купца Столбова И.С.

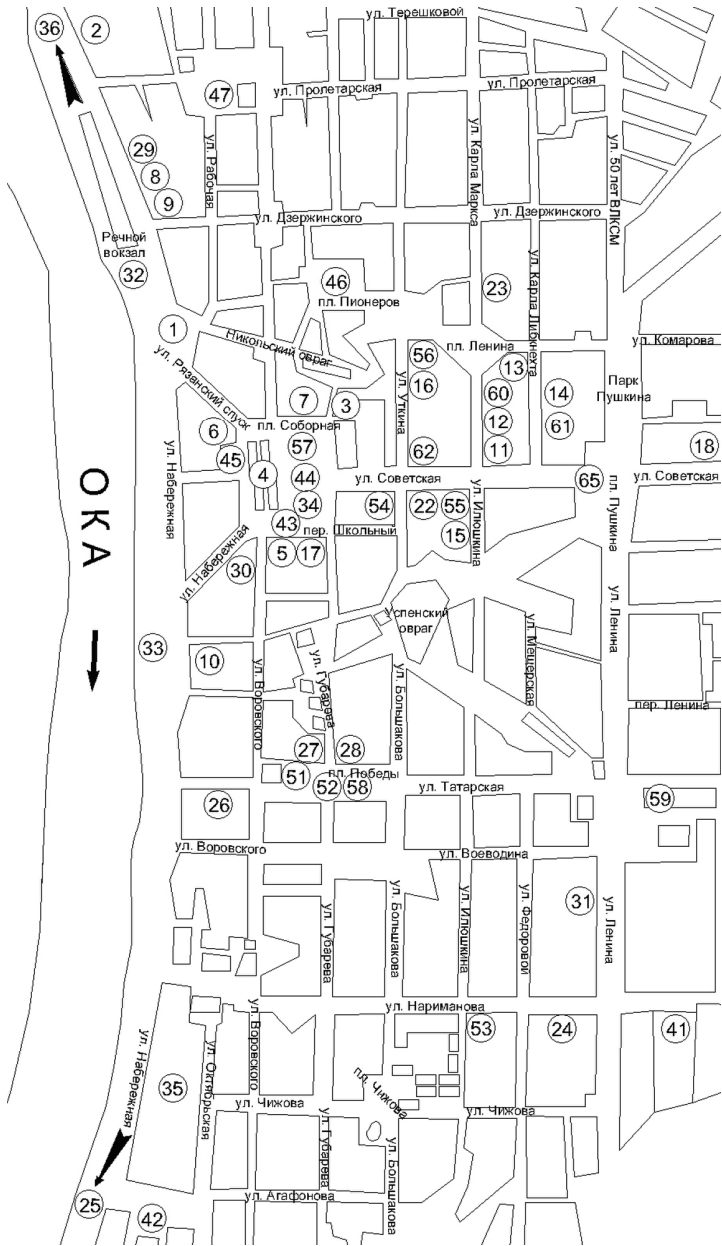


Рис. 6. «Респондентская» ментальная карта Касимова, деконструированная на основе опросов населения (фрагмент)

Примечание:

1. Обелиск Петровской заставы.
2. Дом Барковых.
3. Дом Наставина.
4. Торговые ряды.
5. Дом Алянчикова.
6. Дом Гинца.
7. Дом Скорнякова (Львова).
8. Дом Вереина.
9. Дом Шемякина.
10. Дом Кострова.
11. Дом и склады Салазкина (Баркова).
12. Дом Угловой.
13. Дом Назьмова.
14. Дом Скорнякова.
15. Дом Устинова.
16. Дом Ергамова.
17. Дом Слетова.
18. Татарская лавка.
19. Татарская лавка.
20. Татарская лавка.
21. Татарская лавка.
22. Дом Азовцева.
23. Татарская лавка.
24. Татарская лавка.
25. Дом Умнова.
26. Дом Шакуловых.
27. Дом Кострова.
28. Дом Кострова.
29. Дом Шемякина.
30. Дом Анурина.
31. Дом Закир-Ходи.
32. Старая пристань (Речной вокзал).
33. Набережная.
34. Центральная площадь.
35. Овчинно-меховая фабрика «Руно».
36. Сетевязальная фабрика.
37. ЗАО «Касимовстройкерамика».
38. ОАО «Приокский завод цветных металлов».
39. Судоремонтный завод.
40. ООО «Кондитерская фабрика “Верность качеству”».
41. ЗАО «Инфорум-пром».
42. Церковь Богоявления (Георгиевская).
43. Церковь Успения с колокольной.
44. Вознесенский Собор.
45. Церковь Благовещения.

46. Церковь Никольская.
47. Церковь Троицы.
48. Церковь Ильинская.
49. Старопосадское кладбище.
50. Текие Афган-Мухамеда.
51. Текие Шах-Али-Хана.
52. Старая татарская мечеть с Минаретом.
53. Новая татарская мечеть.
54. Музей самоваров.
55. Музей колоколов.
56. Музей братьев Уткиных.
57. Памятник героям Великой Отечественной Войны.
58. Памятник на площади Победы.
59. «Новая» гостиница.
60. Центральная районная межпоселенческая библиотека.
61. Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина.
62. Центральная детская библиотека им. А.В. Ганзен.
63. Мещера (лес).
64. Мост через Оку.
65. Центральная улица.
66. Река Сиверка.

Респондентские карты представлены на рис. 4–6. В Старой Ладогe (рис. 4) ключевые элементы пространства, выделяемые специалистами-историками, совпадают с названными горожанами. Таким образом город воспринимается жителями как непрерывный комплекс историко-культурных достопримечательностей. В Мышкине (рис. 5) жители упомянули и объекты, связанные и «мышинной» темой, и объекты, не относящиеся к этой тематике. Для мышкинцев город в первую очередь ценен соборами и купеческими домами, различными специализированными музеями и памятниками. Мышинный пласт мыслится как один из существующих, но второстепенный для города. В Касимове (рис. 6) объекты, связанные с историей ханства, оказались на глубокой периферии по сравнению с объектами более поздней, в том числе советской, истории. Сопоставление когнитивных карт официального и неофициального нарратива позволяет окончательно сформулировать вывод, к которому мы пришли уже на этапе анализа социологических опросов. Механизмы формирования столичного нарратива во всех трех случаях оказались разными: в Старой Ладогe это изначально был официальный дискурс, воспринятый населением, в

Мышкине, наоборот, народный дискурс оказался затем востребован официальной властью. Концептуальные карты профессионального и непрофессионального нарративов соответственно в Старой Ладогe и Мышкине не отражают значимых различий. Наконец, в Касимове нарратив не поддерживается властью и распространен только в узких сегментах общества – среди татарской общины и городской интеллигенции. Так, концептуальная респондентская карта Касимова оказалась намного богаче профессиональной. Если профессиональный дискурс явно отделял историю (особенно татарскую) от современной жизни города, то респонденты соединяли элементы пространства с фактами истории в единую пространственно-временную ткань нарратива города.

На втором этапе полученные деконструированные карты были сравнены с выведенными концептограммами. В результате такого когнитивного картирования выяснилось, что элементы городского пространства в сознании соединены в определенные слои. Хотя пространство непрерывно, но в сознании оно фрагментировано, и человек мыслит элементы одного пласта единым комплексом функциональных связей. Перемещаясь в пространстве, он каждый раз находится в каком-то одном пласте, не выделяя находящиеся «тут же» элементы другого пласта.

Во всех трех городах нами были выделены три типовых пласта (слоя), которые были по отдельности картированы.

1. *Ментальная карта официально-административного слоя.* Для отображения были выбраны объекты, связанные с деятельностью органов власти: администрации, представительства органов власти, полиция, органы социального обеспечения и прочее.

2. *Ментальная карта делового (торгово-купеческого) слоя.* Для отображения были выбраны объекты, связанные с деятельностью купцов (жилые дома, реки), объекты, подчеркивающие деловой статус города, и другие элементы, ассоциирующиеся с хозяйственной деятельностью.

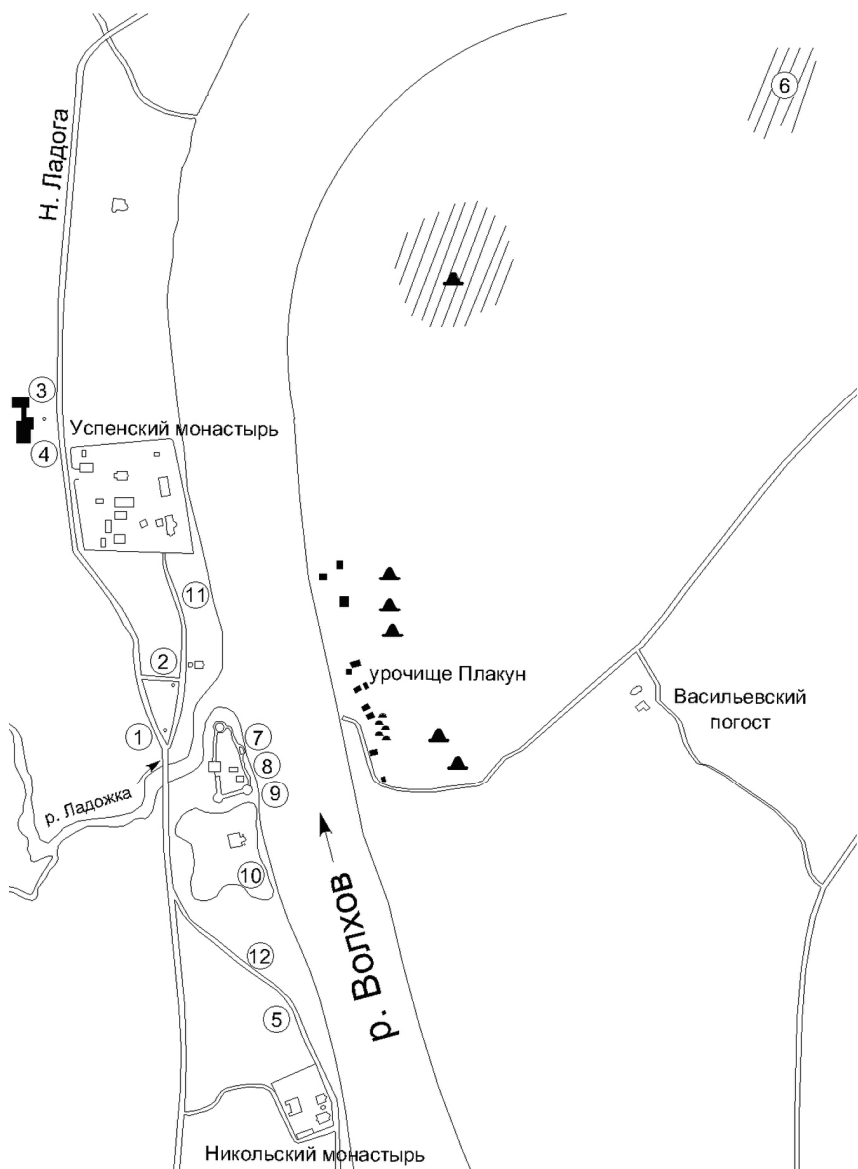


Рис. 7. Ментальная карта уникального «столичного» (варяжского) слоя Старой Ладоги

Примечание:

1. Скульптурная композиция «Сокол с расправленными крыльями».
2. Памятный знак на месте будущего памятника князьям Рюрику и Олегу.
3. Памятный знак в честь 1250-летия Старой Ладogi (2003/753).
4. Мозаичное панно на стене ИДЦ «Старая Ладога» (фото 204 098).
5. Историческая дорога в Новгород вдоль Волхова.
6. Любшанское городище.
7. Деревянная церковь св. Дмитрия Солунского.
8. Церковь св. Георгия.
9. Староладожская крепость.
10. Земляной город.
11. Варяжская улица.
12. Никольская улица.

3. *Ментальная карта сакрально-религиозного слоя.* Для отображения были выбраны объекты, так или иначе связанные с верой и ценностями. Это церкви, соборы, мечети, кладбища, кресты, монастыри и др.

На наш взгляд, данные слои не являются уникальными для исследуемых городов, а могут считаться типовыми для любого города.

Тем не менее их статус не является одинаковым. В изученных нами трех городах, во-первых, не все элементы пространства оказались вписаны в один из устойчивых слоев, во-вторых, в некоторых случаях наблюдаются дополнительные связи, отличные от структуры связей того или иного слоя. Мы решили выделить данные элементы и сформированные ими связи в отдельный слой. В каждом случае у такого слоя оказалось узловое ядро: в Старой Ладoge – это крепость и нарратив о варягах, в Мышкине – музей Мыши, Мышинные палаты и нарратив о Мышином царстве, в Касимове – татарская слобода и нарратив о Касимовском ханстве. Таким образом, возник отдельный пласт ментального пространства, который в каждом из исследуемых городов оказался связан с идеей столичности. Ментальные карты уникальных столичных слоев представлены на рис. 7–9.

Столичный пласт в пространстве города

Вернемся к изначально выдвинутой теории волн геохронополитических трансформаций пространства и попробуем реконструировать процесс формирования такого слоя.

В случае Старой Ладogi (рис. 7) на первом этапе (неосознанной субъективизации) древняя крепость на важных торговых путях сформировала представления об исключительности локации. На втором этапе (осознанной субъективизации) стали формироваться независимые мифы о Рюрике и Олеге в их связи с Ладогой и государствообразующей функции крепости и монастырей. На этом этапе политический актер (по-видимому, Петр I) создал комплексный нарратив об истоках государственности Руси с северо-запада и ключевом значении Старой Ладogi для этого. Наконец, на третьем этапе (осознанной объективизации) пространство Старой Ладogi трансформируется под воздействием данного нарратива, меняется роль крепости, возникает старейшая улица России, памятники Рюрику и сопки Олега; все эти элементы связываются в единый комплекс столичного пласта Старой Ладogi. В случае если, например, данный нарратив оказался бы институционализирован (скажем, роль Ладogi была бы прописана в Конституции или была бы введена процедура присяги президента или коронации в Ладогe как в первой столице), процесс перешел бы на четвертую стадию неосознанной объективизации.

В случае Мышкина (рис. 8) на первом этапе название города и его герб создали слабый миф о мышшиной исключительности, который существенно уступал по силе купеческому или лоцманскому. Однако на втором этапе, в ходе борьбы за статус города в 1950–1990 гг., краеведческое сообщество решило опереться на этот миф как на потенциально более привлекательный для туристов. Этот миф связан с нарративом о Мышином царстве. На третьем этапе администрация и жители города включаются в данный процесс, создавая россыпь мышшиных музеев и объектов (вплоть до гостиницы «Кошкин дом»), традиций и церемоний. На третьем этапе формируется комплексный мышшиный слой пространства, сопровождающий туриста с первой до последней минуты посещения города. В конечном счете мышшиный слой начинает вытеснять более старые нарративы, что уже отчасти вызывает отторжение у городской интеллигенции, стоявшей у его истоков. Тем не менее внешнее признание (скажем, через выделение города в единый музей-заповедник «Мышиное царство», имеющий черты культурной автономии) шуточного мифа могло бы вывести его уже на четвертый этап волн геохронополитических трансформаций.

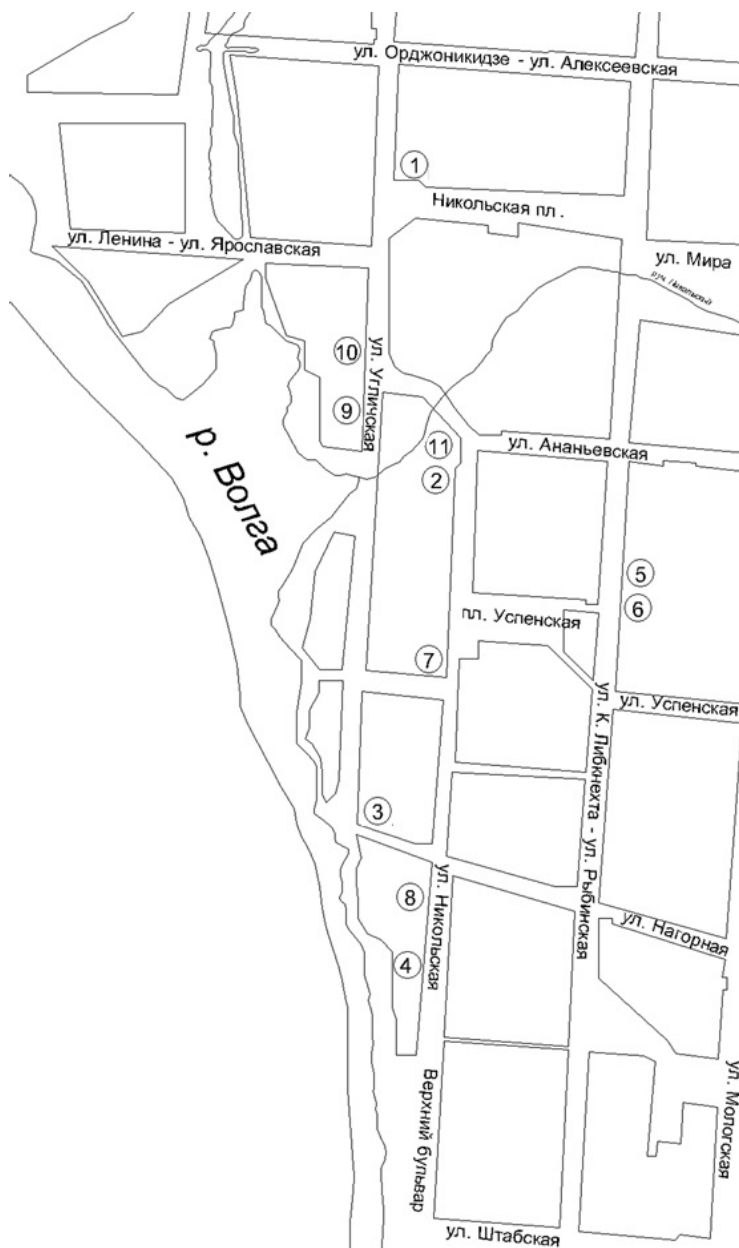


Рис. 8. Ментальная карта уникального «столичного» (мышинного) слоя Мышкина

Примечание:

1. Музей Мыши.
2. Мышкины палаты.
3. Музейный комплекс «Старая мельница».
4. Центр ремесел «Мышгород».
5. Гостиница «Кошкин дом».
6. Ресторан «Мышеловка».
7. Мышкарь-сувенир.
8. Мышиная лавка.
9. Банк мышей.
10. Мышиный базар.
11. Стилизованные скульптуры «Коты».

11. Татарская лавка, ул. Советская, д. 61.
12. Татарская лавка, ул. Советская, д. 82.
13. Татарская лавка, ул. Советская, д. 139.
14. Татарская лавка, ул. К. Маркса, д. 18.
15. Татарская лавка, ул. Нариманова, д. 26.

Наконец, в случае Касимова (рис. 9), на первом этапе память о касимовских татарах и частичной независимости сформировала нарратив о городе, объединяющем две культуры и тем самым занимающем уникальную нишу в центральной России. На втором этапе данный миф был поддержан творческой интеллигенцией и татарским меньшинством и преобразован в комплексный нарратив о касимовской государственности и особом субэтнотипе касимовских татар. Невзирая на игнорирование этого нарратива со стороны властей, он начал трансформировать пространство, создавая особые лакуны татарской столичной идентичности. В случае поддержки со стороны населения и власти данного нарратива он мог бы стать доминирующим для городской идентичности, а в руках наиболее искусных политических акторов даже стать основой для местного сепаратизма.

Таким образом, все три исследуемых случая представляют лишь разные механизмы формирования нарратива о столичности, в то время как схема оказывается общей и укладывается в рамки разработанных нами волн геохронополитических трансформаций.

Наше эмпирическое исследование позволяет сделать вывод о том, что столичность базируется на символических ресурсах, позволяющих сформировать нарратив о воображаемом государстве, что трансформирует городское пространство и социальные практики и на последующих этапах геохронополитической трансформации может быть институционализировано в виде традиционных столичных институтов (когда город станет местом расположения органов власти) и процессов (когда он станет управлять государством через доминирование над созданной периферией).

Мы видим, что отсутствие институциональной основы не мешает данным городам актуализировать понятие «столичность». Более того, символических ресурсов (иногда даже шуточных) оказывается достаточно, чтобы артикулировать наличие иерархических отношений между мифической столицей и некой периферией и даже выстраивать нарратив о некой «нации», образованной

данными отношениями. При этом механизмы формирования столичного нарратива во всех трех случаях оказались разными: в Старой Ладогe это был изначально официальный дискурс, воспринятый населением; в Мышкине народный дискурс, наоборот, оказался затем востребован официальной властью; и наконец, в Касимове нарратив не поддерживается властью и распространен только в узких сегментах общества – среди татарской общины и городской интеллигенции.

Таким образом, столица играет ключевую символическую роль в государственном строительстве, поскольку за счет формирования нарратива о центральности создает архетип государства и внутреннюю дихотомию «центр – периферия», тем самым трансформируя восприятие пространства и социальные практики населения.

Литература

- Замятин Д.Н. Гуманитарная география: пространство, воображение и взаимодействие современных гуманитарных наук // Социологическое обозрение. – М., 2010. – Т. 9, № 3. – С. 26–50.
- Замятин Д.Н. Феномен / ноумен столицы: Историческая география и онтологические модели воображения // Перенос столицы: Исторический опыт геополитического проектирования. Материалы конференции 28–29 октября 2013 г. / Отв. ред. И.Г. Коновалова. – М.: Ин-т всеобщей истории РАН: Аквилон, 2013. – С. 23–28.
- Овсянников А.А. Социология столичности: смыслы и стратегии // Вестник МГИМО-Университета. – М., 2009. – № 5. – С. 1–6.
- Окунев И.Ю. Геохронологическая идентичность столиц с проблемной государственностью: к постановке проблемы // Сравнительная политика. – М., 2015. – Т. 6, № 4. – С. 89–93.
- Росман В. Столицы: их многообразие, закономерности развития и перемещения. – М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. – 336 с.
- Eliade, M. *Cosmos and history: The myth of the eternal return*. – N.Y.: Harper and Row, 1959. – 176 p.
- Haverluk T.W., Beauchemin K.M., Mueller B.A. The three critical flaws of critical geopolitics: Towards a neo-classical geopolitics // *Geopolitics*. – Philadelphia, 2014. – Vol. 19, N 1. – P. 19–39.
- Isbell W.H. Cosmological order expressed in prehistoric ceremonial centers // *Actes du XLII Congres International des Americanistes*. – Paris, 1978. – Vol. 4. – P. 269–297.
- Laswell H.D. *The signature of power (buildings, communication and policy)*. – New Brunswick, NJ: Transaction books, 1979. – 234 p.
- Trevish A.I., Zotova M.V., Savchuk I.G. Types of cities in Russia and across the globe // *Regional research of Russia*. – Moscow, 2014. – Vol. 4, N. 2. – P. 90–94.

- Rapoport A. On the attributes of tradition // Dwellings, settlements and tradition (cross-cultural perspectives) / Bourdier J.-P., Al Sayyad N. (eds.). – Lanham, MD: Univ. press of America, 1989. – P. 77–105.
- Rapoport A. The meaning of the built environment. – Tucson: Univ. of Arizona press, 1990. – 253 p.
- Smith H.S. Society and settlement in ancient Egypt // Man, settlement and urbanism / Ucko P.J., Tringham R., Dimbleby G.W. (eds.). – L.: Duckworth, 1972. – P. 705–719.

ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ: ВООБРАЖЕНИЕ РОССИИ

М.Г. Агапов, Ф.С. Корандей*

ПОПУЛЯРНАЯ КАРТОГРАФИЯ КАК РЕСУРС СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: СЛУЧАЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ¹

Аннотация. В статье на примере материала, собранного в Тюменской области, исследуется феномен популярной картографии. Моделируемые на основе хорошо распознаваемых контуров картографические образы территории представляют собой важный элемент популярных дискурсов (наглядная агитация, реклама, пропаганда, периодическая печать, литература для массового читателя), воплощающий разные аспекты коллективной территориальной идентичности. В первой части статьи описываются принципы исследования типичных схем (географических топосов), которые принимают в популярных дискурсах символические карты, осознаваемые в качестве метафоры территории. Во второй части статьи исследуется символическая роль картографических образов Тюменской области в политических процессах 1990-х – 2010-х годов.

Ключевые слова: популярный географический топос; карта Тюменской области; региональная идентичность.

* **Агапов Михаил Геннадьевич** – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН (Тюмень), старший научный сотрудник Лаборатории исторической географии и регионалистики Тюменского государственного университета, e-mail: magapov74@gmail.com; **Корандей Федор Сергеевич** – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Лаборатории исторической географии и регионалистики Тюменского государственного университета, e-mail: fskorandey@gmail.com

Agapov Mikhail, Institute for the development of the North, Russian academy of sciences, Siberian department (Tyumen, Russia), Tyumen state university (Tyumen, Russia), e-mail: magapov74@gmail.com; **Korandey Fyodor**, Tyumen state university (Tyumen, Russia), e-mail: fskorandey@gmail.com

¹ Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 14-06-31 317.

M.G. Agapov, F.S. Korandey

**The popular cartography as a resource of symbolic policy:
A case of a Tyumen region**

Abstract. This paper, discussing a case of a Tyumen region, is the study of popular cartography. The stylized cartographical images of a territory, drawing on the well-known outline maps, serve as an important part of popular discourses (administrative practices, advertising, mass media, rural and urban landscape, identity creation, political process, symbolic appropriation of space etc.) to objectify some aspects of collective territorial identity. The first part of a paper is summary of principles of a methodology for a study of typical patterns (geographical topos) of stylized maps, which are using as a popular metaphor of a territory. The second part is the study of a symbolic functions of stylized contour of Tyumen region in recent political history (1990–2010).

Keywords: popular geographical topos; map of Tyumen oblast; regional identity.

Среди используемых в публичной коммуникации визуальных образов контуры (абрисы) стран, регионов, населенных пунктов занимают особое место. Давно замечено, что географические карты обладают огромным образопорождающим потенциалом. В конце XIX – начале XX в. в условиях становления национальных государств карты широко использовались для создания образов стран. Благодаря игре воображения контур той или иной территории наделялся определенными историко-культурными, этнографическими и политическими смыслами [Калуцков, 2010]. Сегодня, как и 100 лет назад, смоделированные на основе хорошо распознаваемых контуров территорий визуальные образы представляют собой ясно прочитываемые политические лозунги, социальные тезисы, ирредентистские требования.

В начале нового века этот феномен попал в поле внимания целого ряда исследователей. На стыке политологического и гуманитарно-географического подходов сложилась традиция изучения исторических и современных практик использования географических образов в политической пропаганде. Так, автор одной из первых работ данного направления, К. Косонен, рассмотрела историю картографических репрезентаций Финляндии в карикатурах и плакатах [Kosonen, 1999]. Сходным образом Р. Эдсалл и Б. Батуман

исследовали практику использования стилизованных карт, соответственно в американском выборном процессе и в процессе национального строительства Турецкой республики [Edsall, 2007; Batuman, 2010].

Настоящее исследование выполнено в рамках совместного проекта Лаборатории исторической географии и регионалистики Тюменского госуниверситета и сектора социальной антропологии Института проблем освоения Севера СО РАН «Географические топосы в популярной картографии региона», нацеленного на изучение типичного для всей Российской Федерации феномена *популярной картографии*, т.е. массового символического использования картографических изображений территорий. Стилизованное изображение контура Тюменской области еще в советский период заняло центральное место в региональной визуально-коммуникативной среде, а в 1990-е – 2000-е годы вследствие принятия новой модели административно-территориального устройства региона («тюменская матрешка») абрис Тюменской области стал неотъемлемым идейно-символическим элементом регионального политического процесса [Агапов, Корандей, 2015].

Еще раз отметим, что рассматриваемый ниже пример – лишь частный случай весьма распространенного в нашей стране явления. Это очевидно даже из официальной символики субъектов Федерации – на момент написания этого текста два из 85 субъектов, подобно Тюменской области недавнего прошлого, имеют на своем гербе географическую карту. И если случай Чукотского Автономного округа (белый медведь, попирающий карту полуострова), трудно считать типичным – территория эта весьма слабо заселена, и работать с географическим воображаемым ее населения удаленно довольно сложно, то предварительное интернет-исследование символической картографии Ставропольского края (крест, символ Ставрополя, на фоне карты края) оказывается вполне успешным. Образы популярной символики Ставропольского края, как представляется, подчиняются той же логике географических топосов, о которых, на примере Тюменской области, пойдет речь ниже. Но и Тюменская область, и Ставропольский край, случаи уровня субъектов Федерации вообще – лишь верхушка айсберга. Порождаемая официальной административной практикой полуофициальная и неофициальная

(фольклорная) популярная картография – значимый элемент идентичности всех без исключения малых территориальных единиц Федерации – районов, городов и поселков. В нашей работе мы пытались попробовать найти общие методологические основания для работы с этим обильным материалом.



Рис. 1. Герб Ставропольского края (1997 – н. в.)



Рис. 2. Эмблема студенческих стройотрядов Ставропольского края

Географический топос

Методологическим основанием работы является вводимое нами понятие *географического топоса*.

Под *географическим топосом* мы понимаем инструментальную разновидность географического образа, используемую в популярных дискурсах (наглядная агитация, реклама, пропаганда, периодическая печать, литература для массового читателя), как правило, для утверждения идеи коллективной территориальной идентичности.

Выбор термина объясняется следующими соображениями. В классической теории риторики, например у Аристотеля, под топосом понимался общепринятый способ аргументации [Аристотель, 1978, с. 23]. При этом топосы характеризовались Аристотелем со структурной точки зрения – как устойчивые сочетания предпосылок, которым, как правило, следует большинство людей, доказывая некую мысль [Аристотель, с. 111]. При исследовании рисованных утверждений, с которыми нам пришлось работать, было трудно избежать аналогий с этими хрестоматийными определениями – как оказалось,

популярная картография также тяготеет к «естественным» путям аргументации, воспроизводящимся снова и снова в каждом конкретном случае. Универсальность этих способов визуальной аргументации, конечно, может быть оспорена – здесь мы, возможно, допускаем ту же подмену, что и Э. Курциус, понимавший под топосами не сами способы аргументации, а их конкретные исторические формы, устойчивые словесные клише¹ [Curtius, 1953, p. 70–71; Махов, 2001]. Пусть «универсальность» наблюдавшихся нами схем пока ограничивается пределами известного нам сюжета – тем не менее, насколько мы можем судить, логика развертывания рисованных картографических лозунгов является общей для всего постсоветского пространства.

Итак, мы понимаем под *топосом* буквально «общее место», а именно образ, стереотипно применяющийся в данном символическом контексте, знакомый всем участникам коммуникации, постоянно, «традиционно» используемый для решения некоторой коммуникативной задачи; в случае «географического топоса» – для утверждения принадлежности к общему географическому пространству.

Географический топос – это географический образ, используемый в инструментальных целях и имеющий следующие признаки.

1. Прежде всего, такой образ – феномен популярного географического воображения, бытующий в популярных дискурсах (за пределами высокой литературы, академической науки и т.д.), т.е. соответствующий требованиям быстрого усвоения, легкого воспроизведения и распространения.

По этой причине географический топос в его конкретных формах тяготеет к визуальности, наглядности, стремится к анонимности, часто является порождением непрофессиональной среды (авторство не указывается и не подчеркивается).

2. Географический топос представляет собой феномен традиции. Автор конкретного текста или изображения, как правило, знаком с принятой традицией создания подобных образов и использует в своей работе модели, уже ему известные. Требование

¹ Топос был лишь одной из категорий классической теории риторики, знавшей также фигуры, тропы, стили и т.д. Вместе с тем понятие топоса уже в древности использовалось в качестве обобщающего термина для всех риторических инструментов. Такой подход применялся и в основополагающей работе Э. Курциуса, посвященной риторическому инструментарию средневековой литературы. Этот исследователь отмечал, что превращение риторических типов рассуждения в разновидность литературных клише произошло на закате классической древности, когда перестали существовать два важнейших риторических жанра – политическое и судебное красноречие.

оригинальности в данном случае не является важным – как продукт массовой культуры, географические топосы полностью соответствуют принятым в ней конвенциям.

3. Содержание топоса, как правило, представляет собой комбинацию нескольких элементарных стереотипных символических образов, характеризующих место или территорию. Комбинация эта обычно осуществляется по устойчивым моделям путем группировки одного или нескольких символов вокруг символа-основы, в нашем случае – абриса Тюменской области. Модели составления таких комбинаций хорошо известны авторам конкретных текстов или изображений, и, при необходимости снова воспроизводятся ими в акте символического высказывания (рисунок на обложке книги, знак рубрики в газете, карикатура, реклама или агитационный щит). Исследуемые нами символические изображения иногда не содержат никакой вербальной информации, обрамляющие их тексты часто не содержат интерпретации самого изображения; визуальный географический топос является полноценным высказыванием сам по себе, хотя, без всякого сомнения, должен рассматриваться с точки зрения стоящей за ним группы.

На основе собранных нами изображений можно описать несколько устойчивых моделей, к которым стремится большинство образов, включающих в себя в качестве базового компонента абрис Тюменской области. В первом приближении эти весьма распространенные изображения представляют собой метафоры идентичности, посредством которых некоторая группа отождествляет себя с пространством области. Что за группы характеризуют себя таким образом – вопрос не из легких. Так, скажем, наиболее простой пример представляет собой топос профессиональной идентичности – такая разновидность топоса, при котором профессиональная группа отождествляется с пространством области напрямую, посредством самого изображения (изображение атрибута профессиональной группы, например нефтяной вышки или подъемного крана, на фоне абриса области). В других случаях субъектом, который отождествляет себя с пространством области, также является группа, но стоящая за изображением. Пространство, в котором существуют интересующие нас репрезентации, по всей видимости, нельзя назвать ни в полном смысле индивидуальным, ни общественным. Большинство таких изображений – персонализация организации или коллектива, которые появляются на нем в виде надписи, уточняющей субъектность группы, отождествляющей себя с регионом посредством рисованного лозунга. В основе таких лозунгов, как правило, игра несколькими дополни-

тельными географическими образами (или масштабами). Таковы топосы коллективного портрета и ландшафта, топос земного шара, российского триколора и т.п. [см.: Агапов, Корандей, 2015].

Карта тюменской области: От официального символа к патриотическому фольклору, 1960–1980-е годы

Тюменская область возникла в ходе запущенного еще в 1930-е годы процесса разукрупнения «больших» областей и краев. Накануне войны реформа была в целом завершена, однако некоторые вновь выделенные «малые» области оказались не такими уж малыми. Поэтому в 1943 г. началась вторая фаза процесса размельчения крупных областей [Тархов, 2005, с. 84]. Так, только в конце января – начале февраля 1943 г. были созданы Ульяновская, Кемеровская и Курганская области РСФСР, а также Кашкардарьинская область Узбекской ССР. Всего же в 1943–1944 гг. было образовано 14 новых областей в РСФСР, три – в БССР, две – в Казахстане и по одной в Украине, Киргизии, Туркмении, Узбекистане и Таджикистане. Разумеется, в каждом конкретном случае на принятие решения влияли и дополнительные обстоятельства. Очевидно, что при создании новых областей в Поволжье, на Урале и в Сибири важную роль сыграло перемещение туда в годы войны эвакуированного населения и целых производственных комплексов. Решение о создании Тюменской области было не в последнюю очередь продиктовано желанием приблизить центр руководства начавшимися еще в конце 1930-х годов поисковыми работами нефтяных месторождений к местам геологической разведки [Карпов, 2014, с. 13]. Тюменская область была образована 14 августа 1944 г. путем выделения ряда районов из Омской и Курганской областей. В состав новой области вошло два автономных округа – Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий.

До открытия в 1960-х годах на территории Тюменской области крупных нефтегазовых месторождений и начала строительства Западносибирского нефтегазового комплекса положение области оставалось неясным. Так, в 1950-е годы тюменское руководство неоднократно жаловалось, что Госплан, министерства и научные организации часто рассматривают Тюменскую область как придаток то Западной Сибири, то Урала, в зависимости от того, как им выгоднее при решении того или иного вопроса [Карпов, 2014, с. 21].

Первые схематические карты новой области появились в региональной печати на рубеже 1950–1960-х годов. Во второй половине

1960-х годов в условиях начавшегося в это время небывалого по темпам и масштабам нефтегазового освоения Западной Сибири карта Тюменской области стала широко использоваться в агитационно-пропагандистских целях. С конца 1960-х и до середины 1980-х годов в тюменской прессе регулярно публиковались схематические «Карты важнейших строек области». Они всегда сопровождались легендой, поясняющей условные обозначения, и сопутствующими текстами, например: «Перед тобой, читатель, карта нашей области. От степей Казахстана до Карского моря раскинулась большая строительная площадка, на которой прокладывают магистральные и промысловые трубопроводы, сооружают перекачивающие станции, скважины, железные и автомобильные дороги, линии электропередач, строят Сургутскую ГРЭС и Тюменскую ТЭЦ, газоперерабатывающие заводы, Тобольский нефтехимический комплекс, десятки промышленных предприятий, животноводческих комплексов, города и поселки» [Важнейшие стройки года, 1975, с. 1].

Карта Тюменской области воспринималась как пространственная образно-знаковая модель действительности в духе экзистенциальной географии. Самодеятельный поэт писал в 1961 г.:

Все мне мало, все мало, все мало:
Видеть больше, и знать, и любить!
От Тюмени и до Ямала
Голубая протянута нить.
Все на карте указано точно
Города, и таежный простор,
И речушек витых узорчья,
И кудрявые пятна озер;
Уместились названия слитно,
Мелким буковкам нет конца...
Одного лишь на карте не видно:
Самого человека-творца.
Беспокойное сердце, не сетуй,
Карта пусть полежит на столе:
Я давно географию эту
Изучаю, ходя по земле

[Молчанов, 1961, с. 3].

Первое обнаруженное нами стилизованное изображение карты Тюменской области относится к 1964 г. В последующие десятилетия оно получило широкое распространение в региональ-

ной печати, материалах наглядной агитации, быстро став «общим местом», знакомым и понятным всем участникам коммуникации, визуальной репрезентацией идеи принадлежности к общему географическому пространству. Системы символов освоения Тюменской области на основе контура последней служили эмблемами Всесоюзных ударных комсомольских строек, Всесоюзных интернациональных вахт, студенческих стройотрядов, помещались на памятных значках, медалях, вымпелах. Взрывной рост популярности географического образа «Тюменщины» в 1970-х годах объясняется тем, что сборка регионального социума в это время осуществлялась преимущественно не на историко-культурной, но на географической основе. Как отмечал внимательный исследователь истории освоения тюменского Севера М.Г. Ганопольский, «люди, приехавшие со всей страны осваивать Тюменский север, ощущали себя в первую очередь участниками трудового процесса, членами производственного коллектива, наконец, жителями ведомственного поселка... А если и земляками, то лишь по месту рождения или жительства на Большой земле» [Ганопольский, 2012, с. 117]. Усилия областного руководства в это время были направлены на изживание «временщины», закрепление кадров, в конечном итоге, как бы мы сказали сейчас, – формирование у переселенцев-освоителей новой региональной идентичности. Контур Тюменской области выступал символическим выражением последней.

Официальная иконография послужила основой фольклорной традиции – контур Тюменской области оказался востребован за пределами административного дискурса: он стал появляться в рекламе, на детских рисунках и даже в таких неожиданных местах, как, например, городская парикмахерская, работники которой сделали декоративную карту области из остриженных волос своих клиентов. Жители Тюменской области не изображали ее контур на номерах своих автомобилей, почтовых ящиках и могилах, как жители Техаса [Francaviglia, 1995], – так глубоко в народную культуру абрис Тюменской области не проник, – тем не менее уже в 1970-е годы он, несомненно, стал популярным символом «тюменщины» – фактом локального патриотического фольклора.

Связь патриотического чувства с контуром своей страны отмечали многие авторы. Еще в начале XX в. С. Моэм писал: «Я попытался проанализировать, из чего складывается мой патриотизм. Для меня много значат сами очертания Англии на карте, они вызывают в моей памяти множество впечатлений – белые скалы Дувра и изжелта-рыжее море, прелестные извилистые троп-

ки на холмах Кента и Сассекса, собор Святого Павла, Темзу ниже Лондонского моста; обрывки стихов, благородную оду Коллинза, «Школяра-цыгана» Мэтью Арнольда, «Соловья» Китса, отдельные строки Шекспира, страницы английской истории – Дрейка с его кораблями, Генриха VIII и королеву Елизавету; Тома Джонса и доктора Джонсона; и всех моих друзей, и афиши на вокзале Виктория; и еще какое-то смутное ощущение величия, мощи, преемственности, ну и еще, бог весть почему, вид челна, на всех парусах пересекающего Ла-Манш, – “Куда ты, красавец-корабль, на белых летишь парусах”, – покуда заходящее солнце, алея, закатывается за горизонт. Из этих и многих подобных им ощущений и соткано чувство, благодаря которому жертвовать собой не в тягость, оно состоит из гордости, тоски и любви, однако смирения в нем больше, чем высокомерия, и юмор ему не противопоказан» [Моэм, 2009].

Точно так же и очертания Тюменской области, часто заполненные символами освоения (нефтяные и газовые вышки, вертолет, трубопровод, железная дорога и др.), вызывали у жителей области эмоционально окрашенные ассоциации – в памяти всплывали названия новых городов, ударных строек, взятых рубежей. Символы новых для тюменского края профессий, как и сами эти профессии, были привнесены извне. Так, нефтяная вышка уже давно была эмблемой всех добытчиков нефти, где бы они ни трудились. Однако важным было подчеркнуть, что тюменские нефтяники, газовики, трубопроводчики, строители и т.п. выполняют особую миссию: в сверхсложных условиях они создают главную топливно-энергетическую базу страны, т.е. в известном смысле образуют новую элиту в своих профессиях. Соединение профессиональной эмблематики с контуром Тюменской области доносило эту мысль с предельной ясностью. С другой стороны, этот же образ прочитывался как символ индустриального преобразования еще совсем недавно патриархального края.

В 1980-е годы за контуром Тюменской области закрепились функция самопрезентации региона как на местном, так и на союзном уровнях. Абрис Тюменской области изображался на плакатах, в «шапках» рубрик региональных новостей, на почетных грамотах и торжественных рапортах в центр. Необходимо заметить, что субъектом презентации Тюменской области чаще всего выступало областное руководство. В официальных дискурсах стилизованное изображение карты Тюменской области подчеркивало высокий

статус самой Тюмени – административного и культурного центра одного из крупнейших и самого мощного в экономическом отношении российского региона.

Картографические образы «сложносоставного региона» в политических процессах 1990–2010-х годов

Высшей точкой «карьеры» контура Тюменской области стало его помещение на областной герб. Контур Тюменской области находился на этом месте без малого десятилетие, с 1995 по 2008 г. Решение о разработке герба области было принято, когда регион переживал не лучшие времена. Повестку дня формировали вопросы спада производства, резкое снижение жизненного уровня. Само существование большой Тюменской области «от степей Казахстана до Карского моря» оказалось под вопросом: согласно Конституции РФ 1993 г. Ханты-Мансийский (ХМАО) и Ямало-Ненецкий (ЯНАО) автономные округа стали полноправными субъектами Федерации, входящими вместе с тем в состав Тюменской области на основе двухсторонних договоров. Именно в этой ситуации значение символической политики резко возросло. Символы регионального единства оказались востребованными региональной элитой. Показательно, что в областной прессе решение Тюменской областной думы об объявлении конкурса на разработку проектов герба Тюменской области и условия его проведения были опубликованы на одном листе с весьма алармистским обращением Тюменской областной думы к населению области. Справедливости ради следует сказать, что герб Тюменской области образца 1995 г. являлся скорее эмблемой региона, так как не был внесен в Государственный геральдический реестр и, следовательно, не получил официального статуса. Государственный герольдмейстер, председатель Геральдического совета при Президенте России Г.В. Вилинбахов разъяснил в письме к депутатам Тюменской областной думы, что при создании герба Тюменской области были нарушены незыблемые правила геральдики: в частности, брать за основу герба контур (абрис) территориально-административного образования не принято, так как он не является устойчивой и постоянной величиной. Кроме того, герб должен быть таким, чтобы его можно было бы нарисовать по словесному описанию, а территориальные границы изобразить в данном случае невозможно [Саблукова, Павлова, 2014]. Авторы новой версии герба Тюменской области также вы-

ступили против размещения на нем абриса (контура) области. Руководитель творческой группы В. Кондюрин заявил, что «контур географической карты, нанесенный на герб территории, является свидетельством слабости этой территории» [Горелова, 2008]. В 2008 г. депутаты Тюменской областной думы внесли изменения в Закон Тюменской области «О гербе и флаге Тюменской области» 1995 г., в результате чего контур Тюменской области исчез с герба (см. рис. 1–2).



Рис. 3. Герб Тюменской области (1995–2008)



Рис. 4. Герб Тюменской области (2008 – н. в.)

Ключевым вопросом региональной политики стала проблема взаимоотношений юга области (Тюмень), ратующего за сохранение единства области, и двух северных округов (ХМАО и ЯНАО), стремящихся к большей «суверенизации». «Главными участниками этой игры, – отмечает тюменский историк и политолог А.А. Петрушин, – стали избранные в 1996 г. губернаторами Тюменской области, ХМАО, ЯНАО Леонид Юлианович Рокецкий, Александр Васильевич Филипенко, Юрий Васильевич Неелов соответственно. ХМАО обеспечивал 60% российской нефтедобычи, а ЯНАО – 90% добычи газа. Эти обстоятельства объективно толкали элиты этих округов к борьбе за увеличение суверенитета. Логика примерно такая – деньги в Тюменской области зарабатывают именно они, при чем тут спрашивается Тюмень?» [Выборы губернатора, 2015]. В региональном визуально-коммуникативном пространстве коллизии взаимоотношений Юга и округов ярче всего проявились в ходе избирательных кампаний по выборам губернатора Тюменской области 1997 и 2001 гг.

Выборы губернатора Тюменской области в 1996 г. были фактически проигнорированы руководством ХМАО и ЯНАО, что вполне соответствовало духу эпохи «парада суверенитетов». Достаточно сказать, что хотя формально выборы проходили на территории всей области, большинство избирательных участков в округах

просто не были созданы. Неудивительно, что на Юге практически все кандидаты на губернаторское кресло шли на выборы под лозунгом «Не дадим расколоть Тюменскую область!» В агитационных материалах привычный контур «малой родины» был представлен самым драматичным образом: область разрезали бандитские ножи, она раскалывалась на три части, в том же ключе обыгрывалась метафора матрешки.

Победивший во втором туре на тот момент действующий губернатор Тюменской области Л.Ю. Рокецкий так и не смог урегулировать отношения юга и округов, которые стали главной линией напряжения избирательной кампании по выборам губернатора Тюменской области 2001 г. Последняя проходила в новых условиях. «Парад суверенитетов» завершился, начался процесс «укрепления вертикали власти». Весной 2000 г. только что избранный президентом РФ В.В. Путин создал систему семи федеральных округов. Тюменская область вместе с ХМАО и ЯНАО была включена в состав Уральского федерального округа. Первый заместитель полпреда УрФО С.С. Собянин был главным соперником Л.Ю. Рокецкого в борьбе за губернаторское кресло на выборах 2001 г.

Человек из команды губернатора ХМАО А.В. Филипенко, выдвинутый на пост губернатора Тюменской области инициативной группой из города Муравленко, С.С. Собянин воспринимался как кандидат северян. Действительно, в декабре 2000 г. губернаторы ХМАО и ЯНАО призвали избирателей округов поддержать кандидатуру С.С. Собянина. Учитывая существенный перевес количества населения округов – 1,5 млн человек в ХМАО и 500 тыс. в ЯНАО, тогда как население Юга составляло 1,3 млн человек, – можно было предположить победу С.С. Собянина уже в первом туре. С другой стороны, избиратели-северяне традиционно игнорировали выборы «губернатора Юга». Кроме того, в марте 2000 г. в округах уже прошли выборы собственных губернаторов. А.В. Филипенко и Ю.В. Неелов сохранили свои посты, заручившись поддержкой соответственно 90,84% и 88,1% избирателей. В этой ситуации проблема «тюменской матрешки» была разыграна обеими сторонами. Электорат ХМАО и ЯНАО был мобилизован на выборы губернатора Тюменской области 14 января 2001 г. под лозунгом «Отстоим самостоятельность!», электорат Юга области – под лозунгом «Сохраним единство области!» В агитационных материалах избирательной кампании С.С. Собянина в зависимости от целевой аудитории использовались оба лозунга. Базовой идеей

северного кандидата было сотрудничество округов и Юга. Тюмень была увешена баннерами «Сила Севера – Югу!», «С.С. Собянин – согласие, сотрудничество, стабильность».

С.С. Собянин одержал победу благодаря голосам северян. И в ХМАО, и в ЯНАО за него было двое из трех проголосовавших, в то же время на Юге Л.Ю. Рокецкий набрал чуть больше половины голосов, а С.С. Собянин чуть меньше четверти. Северный кандидат должен был отстаивать интересы округов или как минимум не ущемлять их. На инаугурации С.С. Собянина губернатор ЯНАО Ю.В. Неелов сказал: «Поздравляю юг Тюменской области, который наконец-то избрал себе губернатора». Тем самым губернатор Ямала попытался обозначить сферу ответственности губернатора Тюменской области. Однако в эпоху «укрепления вертикали власти» вопросы устройства и развития крупнейшего нефтегазового региона страны решались уже не в Ханты-Мансийске, Салехарде или Тюмени, не в центре УрФО – Екатеринбурге, но в Москве. Как известно, после захвата террористами школы в Беслане 1 сентября 2004 г. выборы губернаторов были отменены. 17 февраля 2005 г. президент РФ В.В. Путин наделил полномочиями губернатора Тюменской области С.С. Собянина. 24 ноября 2005 г., после того как С.С. Собянин был назначен руководителем Администрации президента РФ, полномочия губернатора Тюменской области получил В.В. Якушев. 12 октября 2010 г. он был наделен губернаторскими полномочиями повторно. Выборы губернатора Тюменской области состоялись только в 2014 г.

Взаимоотношения округов и юга Тюменской области оставались главным вопросом регионального развития в 2000-е годы. В 2004 г. губернаторами Тюменской области и автономных округов был подписан, а в 2013 г. – продлен Договор между органами государственной власти Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО. По условиям договора разграничивались полномочия частей «тюменской матрешки». С другой стороны, на основе этого же договора принималась и вводилась в действие программа «Сотрудничество», нацеленная на развитие интеграционных процессов, прежде всего в социально-экономической сфере. Вместе с тем в это же время в ХМАО и ЯНАО быстрыми темпами шел процесс формирования собственной территориальной и историко-культурной идентичности, что, в частности, выразилось в появлении и стремительном распространении в визуально-коммуникативном пространстве ХМАО и ЯНАО стилизованных изображений контуров (абрисов) округов. Недавние выпускники школ ХМАО и

ЯНАО – нынешние студенты-первокурсники тюменских вузов – нередко только в Тюмени с удивлением узнают, что их округа являются частью большой Тюменской области.

Выборы губернатора Тюменской области 2014 г. проходили в духе эпохи «стабильности», т.е. в отсутствие интриги и реальных конкурентов облеченному президентским доверием действующему губернатору В.В. Якушеву. Однако следует помнить, что в рамках «тюменской матрешки» выборы губернатора всегда являются в некотором смысле и референдумом по вопросу единства области. Так, еще до начала избирательной кампании 2014 г. в Устав Тюменской области была внесена поправка, согласно которой дискуссионный вопрос о том, на какой территории избирается губернатор Тюменской области – только на юге региона или в северных округах тоже, был решен в пользу «большой» Тюменской области. Визуальным выражением общерегионального характера предстоящих выборов стал контур Тюменской области в агитационных материалах областной избирательной комиссии.

Чаще всего в агитационных материалах областной избирательной комиссии использовался топоним коллективного ландшафта / портрета. Такой способ визуального представления Тюменской области хорошо знаком ее жителям. Коллажи, составленные из фотографий ландшафтов и / или тружеников края и заключенные как в рамку в контур Тюменской области, стали частью региональной визуально-коммуникативной среды уже в 1970-е годы. Следует заметить, что в агитационных материалах областной избирательной комиссии контур Тюменской области изображается без внутренних административных границ между Югом, ХМАО и ЯНАО. Напротив, подчеркивается органическое единство региона, взаимосвязь его специализированных частей – аграрного Юга и нефтегазодобывающего Севера. В одном из случаев на Юге изображено хорошо узнаваемое местными жителями здание правительства Тюменской области.

Контур Тюменской области активно и разнообразно использовался и в агитационных материалах кандидатов на пост губернатора. На постерах, призывающих голосовать за В.В. Якушеву, контур Тюменской области присутствовал в двух основных вариантах: коллективный ландшафт и трехчастный регион. В зависимости от места проведения кампании в изображении абриса подчеркивалась идея тесного сотрудничества Юга с ХМАО или ЯНАО. Тема интеграции всех частей «тюменской матрешки» была центральной в избирательной кампании «альтернативного» канди-

дата, председателя Совета Тюменского регионального отделения «Справедливой России» В.Ю. Пискайкина, проходившей под лозунгом «Отношения частей определяют суть целого».



Рис. 5. Плакат кандидата на должность губернатора Тюменской области В.В. Якушева. 2014 г. Юг Тюменской области



Рис. 6. Плакат кандидата на должность губернатора Тюменской области
В.В. Якушева (2014 г., ХМАО)

Избирательная кампания по выборам губернатора 2014 г. совпала с празднованием юбилея Тюменской области. Хорошо распознаваемый абрис размещался едва ли не на всех билбордах, транспарантах и плакатах, посвященных 70-летию области. Он связывал два информационных потока, циркулирующих в это время в региональной визуально-коммуникативной среде, – *юбилейный* и *предвыборный* – таким образом, что в некоторых случаях они сливались воедино. Ряд политологов не без оснований расценивали некоторые юбилейные материалы как скрытую рекламу действующего губер-

натора. Так, например, была запущена целая линейка юбилейных билбордов, демонстрирующая достижения области в отдельных отраслях хозяйства, социальной и культурной сферах за последние годы, т.е. за время губернаторства В.В. Якушева.

В современном мире большая часть значений создается и распространяется посредством визуальных образов, среди которых особое место занимают картографические изображения регионов. Сегодня вряд ли можно кого-то удивить заявлением о том, что карты не являются полностью бесстрастным и объективным инструментом описания реальности, но представляют собой образы, искаженные тем влиянием, которое оказывает на них социально конструируемый мир [Harley, 1988]. В заключение остается лишь добавить, что в настоящее время стилизованные изображения карты «большой» Тюменской области используются преимущественно в самой Тюмени и на юге области, тогда как в ХМАО и ЯНАО активно внедряется собственная региональная эмблематика, важной частью которой являются стилизованные изображения контуров округов. В условиях «тюменской матрешки» сложилась ситуация сосуществования разных ментальных образов Тюменской области. Если «южане» по-прежнему воспринимают ее как крупнейший субъект Российской Федерации, на территории которого может поместиться несколько европейских стран, то «северяне» понимают под Тюменской областью только ее юг.

Литература

- Агапов М.Г., Корандей Ф.С. Карта Тюменской области как символ: географические топосы в популярной картографии региона, 1964–2014 гг. // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – Тюмень, 2015. – № 1. – С. 106–114.
- Аристотель. Риторика / Пер. Н. Платоновой // Античные риторика / Под ред. А.А. Тахо-Годи. – М.: МГУ, 1978. – С. 15–164.
- Важные стройки года // Тюменская правда. – Тюмень, 1975. – 2 апреля. – С. 1.
- Выборы губернатора Тюменской области: теория и практика. – Тюмень, 2015. – 96 с.
- Ганопольский М.Г. Региональная общность Тюменской области: попытка концептуализации // Социология регионального и городского развития: Сб. ст. – М., 2012. – С. 116–131.
- Горелова А. Герб и флаг Тюменской области: у геральдики свои законы // Тюменские известия. – Тюмень, 2008. – 5 сентября. – С. 2.
- Калуцков В.Н. Географические подходы к созданию историко-культурных образов // Культура и пространство: историко-культурные бренды и образы территорий, регионов и мест. – Ростов-на-Дону, 2010. – С. 63–82.

- Карпов В.П. Анатомия подвига. Человек в советской модели индустриализации Тюменского Севера. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. – 184 с.
- Махов А. «Историческая топика»: раздел риторики или область компаративистики? // Вопросы литературы. – М., 2001. – № 4. – С. 275–289.
- Молчанов И. География жизни // Тюменская правда. – Тюмень, 1961. – 5 декабря. – С. 3.
- Моэм С. Записные книжки. – М.: АСТ, 2009. – 448 с.
- Саблукова О., Павлова С. Депутаты заблуждались, принимая символ власти // 72.ru. – Тюмень, 2014. – 10 февраля. – Режим доступа: http://72.ru/text/open_access/756516.html (Дата посещения: 06.02.2016.)
- Тархов С. Изменение административно-территориального деления России в XIII–XX вв. // Логос. – М., 2005. – № 1(46). – С. 65–101.
- Batuman B. The shape of the nation: Visual production of nationalism through maps in Turkey // Political geography. – Oxford, 2010. – Vol. 29. – P. 220–234.
- Curtius E.R. European literature and the Latin Middle Ages / Trans. by W. Trask. – N.Y., 1953. – 658 p.
- Edsall R.M. Iconic maps in American political discourse // Cartographica: The international journal for geographic information and geovisualization. – Toronto, Ontario: Univ. of Toronto press, 2007. – Vol. 42 (4). – P. 335–347.
- Francaviglia R.V. The shape of Texas: Maps as metaphors. – College Station: Texas A & M Univ. press, 1995. – 144 p.
- Harley J.B. Maps, knowledge and power // The iconography of landscape. – Cambridge, MA: CUP, 1988. – P. 277–312.
- Kosonen K. Maps, newspapers and nationalism: The Finnish historical experience // GeoJournal. – Wiesbaden, 1999. – Vol. 48. – P. 91–100.

О.Б. Подвинцев*

МЕНТАЛЬНАЯ ГРАНИЦА МЕЖДУ УРАЛОМ И СИБИРЬЮ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация. В статье делается вывод о том, что ментальное размежевание Урала и Сибири в современной России становится несколько более четким, чем это было ранее. При этом идентификационное соприкосновение («стыковка») Урала и Сибири происходит на территории двух регионов – Тюменской области и Курганской области, – каждому из которых свойственна своя ситуация в этом отношении.

Ключевые слова: идентичность; образная карта; символическая граница.

O.B. Podvintsev

Mental border between the Urals and Siberia in modern Russia

Abstract. The author argues that the mental disengagement of the Urals and Siberia in modern Russia becomes somewhat clearer than it was previously. The main zones differentiation («docking») of the Urals and Siberia are territories of the Tyumen region and the Kurgan region. The article analysis specific context of identification in each of these regions.

Keywords: identity; imaginary map; a symbolic boundary.

Важным показателем состояния общероссийской идентичности, с нашей точки зрения, является тот факт, что образная карта составляющих Россию макрорегионов в настоящее время находится в движении. Об этом свидетельствуют, в частности, начавшийся про-

* **Подвинцев Олег Борисович**, доктор политических наук, профессор, зав. Отделом по исследованию политических институтов и процессов Пермского научно-го центра Уральского отделения РАН (Пермь), e-mail: podvintsev2009@yandex.ru

Podvintsev Oleg, Perm scientific center of the Ural branch, Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russia), e-mail: podvintsev2009@yandex.ru

цесс определения в качестве ее самостоятельного элемента Российской Арктики, наметившееся размежевание Юга России и Северного Кавказа и т.д. Основной тренд, по-видимому, заключается в том, что представления о структуре российского пространства у жителей страны в целом становятся более приближенными к реалиям сегодняшнего дня, а не следующими исторической традиции. В данном контексте стоит рассматривать и вопрос соотношения двух, казалось бы, давно уже определившихся макрорегионов – Урала и Сибири.

Внимание к исторической проблеме ментальных границ Сибири в рамках Российской империи было привлечено благодаря трудам А.В. Ремнева и его последователей [Ремнев, 2002; 2010; Родигина, Худяков, 2012]. Однако актуальный вопрос о современных ментальных границах сибирского макрорегиона и сопутствующей ему идентичности остается слабо исследованным. Это касается в том числе и границы Сибири с Уралом. Примером шаткости мнений, существующих по данному поводу, может служить обсуждение, развернувшееся после публичной лекции того же А.В. Ремнева, прочитанной им в Москве в 2008 г. [Ремнев, 2008]. Эта дискуссия лишней раз подтверждает, что для жителей столицы и основных районов европейской части России различия между «сибиряком» и «уральцем» зачастую представляются несущественными.

Однако на местах ситуация иная. Сибиряки и уральцы обычно достаточно четко разделяют друг друга (хотя могут и считать, что более близки между собой, чем с жителями других частей страны). Во время проведения автором экспертных интервью в городах Сибири одна из респонденток, жительница Абакана, рассказала, например, как во время учебы в Уфе, когда она познакомилась с выходцами из Иркутска, и она, и ее новые знакомые сразу сочли друг друга земляками (расстояние по автодороге между Абаканом и Иркутском составляет почти 1500 км, между Абаканом и Уфой – лишь в два раза больше). По мнению большинства сибиряков, их территория начинается *за Уралом*. Для обычного уральца же оказаться на Енисее или Байкале вполне равнозначно поездке на Кубань или побережье Балтики. Следует отметить также, что и на Урале, и в Сибири существует своя сетка соперничающих друг с другом «столиц».

В настоящее время на местности граница между Уралом и Сибирью уже, по крайней мере, в двух точках обозначена символическими конструкциями. Одна из них – в Свердловской области, на дороге, ведущей из Ирбита в соседнюю Тюмень, там, где по реке Межница раньше проходила граница Пермской и Тобольской губерний. Комплекс включает в себя пограничный столб с указа-

нием названий двух макрорегионов по разные стороны от него, информационный щит, рассказывающий об истории этого места, и обустроенный, тоже снабженный соответствующей надписью родник. Рядом находится небольшой придорожный ресторан, специализирующийся, правда, на грузинской кухне.

Другая, более монументальная композиция, символизирующая географическую границу Урала и Сибири, была установлена в августе 2014 г. в Челябинске, в преддверии проведения в этом городе чемпионата мира по дзюдо. Ее основу составляют две каменные плиты – более узкая и длинная с надписью «Сибирь» вдвинута в более высокую и мощную с надписью «Урал». Таким образом композиция обозначает зону разлома между геологическими структурами Уральских гор и Западно-Сибирской низменности, которая проходит в этом месте. Глава городской администрации назвал этот факт «одним из географических богатств Челябинска» [В Челябинске обозначили... 2014]. Вместе с тем жители челябинского региона уверенно идентифицируют себя с Уралом. Общеупотребимым неформальным наименованием Челябинской области остается «Южный Урал». Поэтому позиционирование Челябинска в качестве границы Урала и Сибири не выглядит органичным, оно слабо связано с основным образно-символическим рядом региональной идентичности (интересно, кстати, что размер букв слова «Урал» на челябинском «пограничном» монументе оказался заметно больше, чем слова «Сибирь»). Неудивительно, что значимой достопримечательностью города монумент так и не стал, а в самом факте его возведения можно усмотреть определенное подражание Екатеринбургскому с его стремлением узурпировать в качестве одного из своих символов «границу Европы и Азии», особенно заметным в 2000-е годы. В любом случае исторические и социальные маркеры в символической политике, как правило, оказываются основательнее ландшафтных и тем более геологических.

Реальное идентификационное соприкосновение («стыковка») Урала и Сибири происходит, однако, не в однозначно «уральских» областях, а внутри двух других, соседних с ними российских регионов – огромной сложносоставной Тюменской области и небольшой Курганской. При этом внутри каждого из этих субъектов РФ сложилась своя идентификационная ситуация.

На первый взгляд, сибирская идентичность в Тюменской области, по крайней мере на ее юге, является однозначно доминирующей. Административное отнесение региона к Уральскому федеральному округу не меняет ситуацию с его идентификацией, а рассматривается обычно в качестве казуса. В южных районах Тю-

менской области Урал воспринимается как близкая и партнерская, но все же иная земля. Аналогичным является отношение к тюменцам у их уральских соседей.

Однако, как представляется, в современных условиях тюменцы не воспринимают свой регион просто как одну из частей Сибири. В первую очередь это связано с особой ролью, которую играет Тюменская область и особенно входящие в ее состав Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа в экономике страны в целом. Термин «Западная Сибирь» в Тюмени в обиходе употребляется в настоящее время редко. В основном он сохранился здесь в названиях различных государственных или связанных с государством учреждений и организаций (Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», Западно-Сибирский государственный колледж и др.). В большей степени это определение востребовано в Омске, который в гораздо большей степени претендует на роль неформальной «столицы Западной Сибири». О Тюмени же в настоящее время в основном говорят как о «нефтегазовой столице России», противопоставляя это прежней уничижительной шутке: «Тюмень – столица деревень».

Зато широко употребляемым общим наименованием для двух автономных округов, входящих в Тюменскую область, стало слово «Севера». Данный термин изначально связывался не только с жизнью и работой в суровых, закаляющих характер природных условиях, но и с высокими заработками, а затем стал подразумевать и быстрый рост качества жизни в тех же условиях. Кроме того, каждый из двух автономных округов Тюменской области имеет собственные широко используемые короткие наименования – «Югра» и «Ямал». Именно «северная» и «окружная» идентификации и становятся здесь ведущими среди региональных. Так, согласно данным опроса, проведенного в 2014 г. тюменскими социологами, 10,5% жителей городов ЯНАО с гордостью считают себя «северянами», 9,0 – «ямальцами» и только 2,8% – «сибиряками» [Отчет по результатам... 2014, с. 8].

Между тюменским Югом, включающим областную столицу, и «Северами» существуют непростые отношения, которые тем не менее для каждой из сторон более приоритетны, чем связи с другими регионами. В частности, политика идентичности, проводимая властями Тюменской области, более всего сосредоточена на подчеркивании единства областного пространства, что явно отражает страх по поводу возможности административного отделения округов. Между тем в самих округах по-прежнему сильны опасения, что

областное руководство, заручившись поддержкой в Кремле или выполняя его прямые указания, может попытаться административно объединить регион по примеру Пермского или Красноярского края.

Данные противоречия находят выражение и в борьбе символов. Тюменские исследователи М.Г. Агапов и Ф.С. Корандей отмечают, что «в настоящее время стилизованные изображения карты “большой” Тюменской области используются преимущественно в самой Тюмени и на Юге области, тогда как в ХМАО и ЯНАО активно внедряется собственная региональная эмблематика, важной частью которой являются стилизованные изображения контуров округов. В условиях “тюменской матрешки” сложилась ситуация сосуществования разных ментальных образов Тюменской области. Если “южане” по-прежнему воспринимают ее как крупнейший субъект Российской Федерации, на территории которого может поместиться несколько европейских стран, то “северяне” понимают под Тюменской областью только ее Юг» [Агапов, Корандей, 2015, с. 114].

Интересно также, что, в отличие от большинства других сибирских и всех уральских регионов, внутри Тюменской области присутствует дихотомия «новой» и «старой» столиц – Тюмени и Тобольска [Богомяков, 2007]. Для Тюмени основной «город-соперник» находится не в другом, а в том же самом регионе. Тюменская область и в этом смысле оказывается самодостаточной, «вынесенной за рамки» внутрисибирской конкуренции. При этом широко признано, что Тюмень ныне является также одним из самых динамично развивающихся городов в масштабах всей России.

Иное положение дел в Курганской области. Здесь жители фактически в равной степени соотносят себя с Уралом и с Сибирью. В названиях различных объектов – гостиниц, ресторанов, магазинов и т.д., расположенных, как в областном центре, так и в других населенных пунктах региона, слова «Урал» и «Сибирь», а также образованные от них прилагательные можно встретить с равной вероятностью. В Кургане, например, на одном и том же здании могут соседствовать вывески «Уральские самоцветы» и «Сибирские пельмени»¹.

В Курганской области, в отличие от Тюменской (как таковой), активно используется единое неформальное наименование

¹ Последняя особенно показательна: на Урале, если речь идет о названиях соответствующих предприятий общепита, пельмени всегда «уральские», а в Сибири – «сибирские», хотя подразумевается, фактически одно и то же блюдо.

региона – Зауралье, возникшее еще в советские времена. Однако оно относится к числу неопределенных, указывает лишь на то, что эта территория лежит *за* Уралом, т.е. *вне* его. Этим данный термин отличается от таких идентифицирующих наименований, тоже имеющих привязку к географическому объекту, как, например, Поволжье или Прикамье, а также Средний или Южный Урал, Южная или Восточная Сибирь или те же Ямал и Югра. Недостатки неформального наименования Курганской области становятся особенно очевидны, когда дело доходит до производных от него. Довольно странно звучит, например, наименование учрежденного в Курганской области знака «Зауральское качество», существование которого в качестве бренда высоко оценивал бывший губернатор области [Олег Богомолов... 2008] (сравните «уральское качество» или «сибирское качество»), или название предприятия «Зауральские напитки», тоже рассматриваемое ныне в качестве одного из основных брендов региона.

У Курганской области есть и другое неформальное название – «Ворота Сибири», оно фигурирует, например, в подготовленном властями региона презентационном издании «Добро пожаловать в Зауралье» [Курганская область, 2012, с. 10]¹. Функция «ворот», как известно, предполагает соединение объектов, но и отстраненность от них. При этом следует отметить, что данный бренд не является оригинальным – он так или иначе используется в позиционировании целого ряда других, больших и малых, городов и территорий. Интересно, что «дороги в Сибири» из Зауралья в настоящее время ведут либо в ту же Тюменскую область, либо в Казахстан.

В экономическом, социальном и даже политическом отношении Курганская область не только не выдерживает конкуренции с более сильными и успешными соседями, но и находится под их мощным давлением. С одной стороны, неоднократно озвучивались инициативы и планы о включении всей Курганской области в состав Свердловской. С другой – в некоторых районах Зауралья сами жители пытались начать процесс присоединения их территорий к Тюменской или Челябинской области [см., например: Гейн, 2013; Борисова, 2014].

Таким образом, Курганская область в настоящее время представляет поле столкновения уральской и сибирской макрорегио-

¹ Раздел носит название «Уголок России – Зауральский край».

нальных идентичностей с относительно слабой собственной региональной идентичностью. Тюменская область, напротив, – регион с ярко выраженной и усиливающейся особой собственной идентичностью (хотя и имеющей свои значимые внутренние расколы). По сути, в ментальном плане сейчас это *другая* или *новая* Сибирь, лежащая между Уралом и *собственно* Сибирью.

В целом же ментальное размежевание Урала и Сибири в современной России становится несколько более четким (хотя и проходящим через «буферные» в данном отношении территории), чем это было ранее. Впрочем, данное обстоятельство, как и другие подобные сдвиги в восприятии российских макрорегионов, может трактоваться не как свидетельство слабости и дальнейшего размывания общероссийской идентичности, а, напротив, как показатель ее укрепления. Любая идентичность, возникающая на основе принадлежности к определенной, «своей» территории, требует представлений не только о ее границах и центре («столице»), но и об общей структуре данного пространства. Основой идентичности, обеспечивающей ее прочность, призваны быть не только «общее прошлое», но и «общее настоящее» и «общее будущее». Картина, конкретизирующая и обогащающая видение пространства, с которым связывают себя носители идентичности, является необходимой частью именно «общего настоящего». Поэтому степень ее четкости и адекватности может рассматриваться как показатель зрелости и устойчивости данной идентичности. Единство становится прочнее если согласуется с многообразием, а не подменяет его. Вопрос лишь в том, что представления о структуре «своего» пространства должны быть схожими если не для всех, то для большинства носителей идентичности, складывающейся на основе принадлежности к одной стране.

Литература

- Агапов М.Г., Корандей Ф.С. Карта Тюменской области как символ: географические топосы в популярной картографии региона, 1964–2014 гг. // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – Тюмень, 2015. – № 1. – С. 106–114.
- Богомяков В.Г. Региональная идентичность «земли тюменской»: мифы и дискурс. – Екатеринбург: ИД «Дискурс ПИ», 2007. – 147 с.
- Борисова Н. «Меняем газ на землю» // URA.RU. – М., 2014. – 7 июля. – Режим доступа: <http://ura.ru/articles/1036262448> (Дата посещения: 20.12.2015.)

- В Челябинске обозначили границу Урала и Сибири. – Челябинск, 2014. – 24 августа. – Режим доступа: <http://mega-u.ru/node/35179> (Дата посещения: 11.12.2015.)
- Гейн А. «Если пройдет референдум, 90 процентов выскажутся за присоединение к Челябинской области...» // *Znak*. – Екатеринбург, 2013. – 4 апреля. – Режим доступа: <http://www.znak.com/kurgan/articles/2013-04-04/100550.html> (Дата посещения: 10.12.2015.)
- Добро пожаловать в Зауралье!: Курганская область. – Курган: Типография Дамми, 2012. – 380 с.
- Олег Богомолов: «Зауральское качество» – это бренд Курганской области. – Курган, 2008. – 24 августа. – Режим доступа: <http://kurganobl.ru/14720.html> (Дата посещения: 16.12.2015.)
- Отчет по результатам социологического исследования «Региональная идентичность городского населения Ямало-Ненецкого автономного округа». – Салехард, 2014. – 64 с. – Режим доступа: http://www.arctic89.ru/wa-data/public/site/data/www.arctic89.ru/Reg_ident_26_02_2015.pdf (Дата посещения: 03.03.2016.)
- Ремнев А. Азиатские окраины Российской империи: география политическая и ментальная // *ПОЛИТ.РУ*. – М., 2008. – Режим доступа: <http://polit.ru/article/2008/11/27/remnev/> (Дата посещения: 20.12.2015.)
- Ремнев А.В. Географические, административные и ментальные границы Сибири (XIX – начало XX века) // *Сибирская Заимка*. – М., 2002. – 30 декабря. – Режим доступа: <http://zaimka.ru/remnev-border/> (Дата посещения: 10.12.2015.)
- Ремнев А.В. Империя расширяется в восток: топонимический национализм в символическом пространстве Азиатской России XIX – начала XX века // *Ofiary imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzzenia*. – Warszawa, 2010. – С. 153–168.
- Родигина Н.Н., Худяков В.Н. «Воображаемая Сибирь»: А.В. Ремнев о ментальном картографировании Сибири XIX в. // *Вестник Омского университета*. – Омск, 2012. – № 2 (64). – С. 27–32.

М.Я. Рожанский*

**МЕСТО МОСКВЫ В СОВЕТСКОМ
СИБИРСКОМ КИНОТЕКСТЕ: ОТ 1930-х годов
К СОВЕТСКОМУ ФИНАЛУ**

Аннотация. В статье рассматриваются семантические функции образов Москвы и москвичей в советских кинофильмах, сюжеты которых разворачиваются в Сибири. Прослеживается динамика изменений этих функций в контексте советской послевоенной истории.

Ключевые слова: Сибирь; Москва; советское кино; советский идеализм.

**M.Ya. Rozhansky
Representations of Moscow in the Soviet «Siberian» films**

Abstract. The article discusses the semantic functions of the images of Moscow and Muscovites in the Soviet movies, the plots of which are deployed in Siberia. Dynamics of changes of these functions in the context of post-war Soviet history.

Keywords: Siberia; Moscow; Soviet cinema; the Soviet idealism.

Практически в каждом советском кинофильме, действие которого происходит в Сибири (назовем эти фильмы сибирским кинотекстом), присутствует Москва как еще одно территориальное понятие, смысловое наполнение которого существенно для содержания фильма. Причем образ Москвы, транслируемый с экрана фильмами о Сибири, разительно отличается от того, который создан советскими фильмами, посвященными Москве и / или москвичам, – такими, как

* **Рожанский Михаил Яковлевич**, кандидат философских наук, доцент, научный директор Центра независимых социальных исследований (Иркутск), e-mail: mr1954@yandex.ru

Rozhansky Mikhail, Centre for Independent Social Research (Irkutsk, Russia), e-mail: mr1954@yandex.ru

«Застава Ильича», «Я шагаю по Москве», «Романс о влюбленных», «Москва слезам не верит». Почему тема Москвы и москвичей обязательна в сибирском кинотексте? Почему образ Москвы в фильмах о Сибири наполняется в послевоенные десятилетия особой семантикой, специфической именно для этих «сибирских» фильмов? И что стоит за настойчивым сопоставлением (а иногда – резким противопоставлением) Сибири и Москвы? На эти вопросы я и попытался ответить, работая над статьей.

«Приспособленец, шкурник и подлец Одинцов, естественно, находится в Москве, а натуру свободную, гордую, честную – красавицу Лену авторы смогли обнаружить только в тайге» [Даниловский, 1960]. Раздраженный рецензент выявил у авторов фильма «Люди на мосту» просчет в концепции – «надуманное противопоставление понятий “Москва” и “периферия”». По мнению кинокритика, «фильм мог стать большим событием», но в результате этого концептуального просчета замысел «получил примитивное воплощение» [там же]. Заметим, что вышедший на экраны в 1959 г. фильм «Люди на мосту» получил много критических рецензий. Это несколько контрастировало с ожиданиями – съемки фильма, проходившие на сибирских стройках (в Братске и под Красноярском, т.е. там, где происходит действие), активно освещались в прессе. Судили фильм по главной для искусства конца пятидесятых мере – достаточно ли он «правдоподобен». В сюжете действительно можно усмотреть подмеченное В. Даниловским «примитивное противопоставление» Москвы и Сибири. Фильм повествовал о жизни семьи крупного строительного начальника, переехавшей из Москвы на сибирскую стройку, и об изменении отношения к жизни и к людям у каждого из ее членов¹, причем об изменении радикальном. Но вряд ли именно в противопоставлении заключался центральный замысел авторов фильма. И сам фильм, и его восприятие критикой, на мой взгляд, интересны как проявление характерной тенденции культурной жизни рубежа 50–60-х годов: примечательны как ненамеренное противопоставление Москвы и Сибири, так и готовность заподозрить в нем умысел. Раздраженная критика, во-первых, могла быть реакцией на смыслы, которые прочитывались в фильме, но были не изобретены, а транслированы авторами, стремившимися к узнаваемости героев

¹ В период съемок будущий фильм носил название «Серебряная свадьба», явно подчеркивающее, что фильм о семье.

и правде жизни. А, во-вторых, рецензент мог прочитать в этих смыслах «послание» фильма благодаря тому, что эти смыслы актуализировали социокультурный контекст, достаточно знакомый зрителям и неприемлемый для рецензента. К фильму «Люди на мосту» мы еще вернемся – он действительно не стал событием, но достаточно насыщен основными темами сибирского кинотекста. Фильм вышел в 1959 г., самом урожайном для темы Сибири за всю историю отечественного кино. «Москва» как семантически нагруженное понятие практически обязательно присутствовала в фильмах, действие которых разворачивалось в Сибири, но эта семантическая нагрузка не просто менялась.

Для самого сибирского кинотекста можно выделить несколько этапов, и для каждого из них была «своя Москва», которая менялась в связи с тем, зачем на этом этапе оказалась востребованной тема Сибири.

«Наша таежная песня о Москве»

В довоенных фильмах Сибирь – далекая земля, но нашенькая, люди Сибири – непосредственные, иногда наивные, но наши советские люди. Столица не забывает о них, и они трепетно и с благодарностью (по-сыновьи) относятся к заботливой власти и столице, устремленной в будущее. В истории сибирского кинотекста из фильмов того периода назвать прежде всего нужно фильмы «Новая Москва» (реж. А. Медведкин, 1938, на экраны не вышел), «Сибиряки» (реж. Л. Кулешов, 1940) и «Парень из тайги» (реж. О. Преображенская, 1941). Эти фильмы разные по жанру, поэтике, интонации, но каждый из них представляет Сибирь как край обновления, а Москву – как источник и флагман новой, настоящей жизни. Советская столица дает уверенность в обновлении и признание будущих возможностей сибирской глухомани.

Действие лирической комедии «Новая Москва» (реж. А. Медведкин, 1938), не выпущенной на экраны, разворачивается вокруг архитектурного преобразования Москвы. Проект такого преобразования, созданный инженерами, работающими на строительстве Таежной ГЭС, герой фильма везет для демонстрации на выставку достижений в столицу. Сами инженеры – москвичи; среди персонажей есть и сибиряки, но об их сибирском происхождении зритель узнает по их восторгу от знакомства с Москвой и по неловкости их поведения в большом городе. В Москве героя Алё-

шу, молодого сибиряка, командированного для демонстрации модели, наступает любовь. Беда в том, что избранница героя, ответив ему взаимностью, вовсе не собирается при этом покидать столицу, она не представляет себе жизни вне Москвы и пытается убедить возлюбленного остаться с ней. Безнадежно. Алексей, хотя и с тяжестью в душе, но отправляется обратно по Транссибирской магистрали. Однако уже летают над просторами советской Родины самолеты, и героиня летит туда, куда уехал герой, чтобы встретить Алексея на Таежной ГЭС, где за время его отсутствия вырос современный город. И новый город, созданный советской Москвой, судя по восторгам девушки, вполне заменит ей родную столицу. Музыкальная тема фильма – «наша таежная песня о Москве».

Фильм Льва Кулешова «*Сибиряки*» (Мосфильм, 1940) снят для подростковой аудитории, герои – школьники из сибирского села, в котором до революции отбывал ссылку Сталин. Ребята, услышав легенду о том, что будущий вождь подарил свою любимую трубку местному охотнику, помогавшему ему во время побега из ссылки, разыскивают эту трубку и везут в Москву, чтобы отдать великому вождю. Финалу фильма предшествует сон девочки о том, как ее друзья пришли в Кремль к Сталину и вождь как заботливый старший товарищ, ведающий обо всех их тайнах, помог ребятам разобраться в сложных подростковых отношениях. Сон оказался почти вещим – ребята вознаграждены за свою настоящую дружбу и заботу о вожде приглашением в Кремль «на пельмени»¹.

Фильм «*Парень из тайги*» (режиссеры Ольга Преображенская и Иван Правов) вышел в 1941 г.² Кинематографические средства вполне современны для рубежа 1930–1940-х годов, но поэтика и проблематика ближе к первой половине 1930-х. Во всяком случае такое ощущение возникает благодаря картинам и персонажам из сибирской жизни: трактир с угодливыми половыми, фартовые люди и аферисты, единоличники, не верящие в коллектив и образование. Собственно, главные герои – старатели, работающие в одиночку или артелью. Тайга – мир настоящей жизни, воспитывающий само-

¹ Импульсом для сценария стала реальная история 1934 г., когда школьники из села Новая Уда были приглашены от имени Сталина в Москву, после того как написали ему письмо [Оширов, 2014].

² В некоторых аннотациях Ольга Преображенская указана как единственный режиссер. В целом фильм, завершающий в режиссерском творчестве Преображенской, очень органично вписывается в ее фильмографию.

стоятельность и силу чувств, но мир дремучий. С приехавшими из Москвы инженерами приходит новая организованная жизнь, в которой тоже чувствуется нечто настоящее («*Работа настоящая поважнее золота*»), «*Хочу быть хозяином земли*»). Отец Степана, главного героя, – бывший партизан – сам решает отдать разведанные им места в тайге инженерам. Его поддерживают товарищи по артели («*того, что намыли, порядочному человеку на три жизни хватит*»). Сам Степан, удачливый старатель, для которого тайга – родной мир, теперь тянется к большому миру современных людей и знаний («*Столько простору кругом, а душу как в сапоги обули*»). Борьбу за Степана ведут две влюбленные в него женщины: таежная спутница и подруга Нюрка («*пусть будет темный, только – мой*») и московский инженер Галина Полевая. Инженер побеждает в борьбе за Степана и остается навсегда в тайге, которая стала понятным и близким миром («*В тайге есть много замечательных людей, их надо только найти. Их надо искать, как мы золото ищем*»). А Нюрка устремляется учиться в город, «чтоб стать начальницей над всеми инженершами».

Эпические интонации есть во всех трех фильмах, и личные истории развиваются в контексте этой эпичности. В «Сибиряках» (отчетливо) и в «Парне из тайги» (в какой-то мере) присутствует эпический образ Сибири уходящей. Но он живет в контексте эпического преобразования мира и человека, т.е. советского эпоса. А в «Новой Москве» эпичность исключительно советская, о чем свидетельствует и название. Старая Москва здесь помеха нормальной разумной и счастливой жизни, а старой Сибири и вовсе нет, Сибирь – площадка, из Москвы приходит не просто обновляющая сила, а сила, создающая Сибирь. Москва во всех трех фильмах – демиург нового мира.

«Найди простор, где дремлет столько сил». Творение сибирского кинофифа

Сопоставление Сибири и Москвы возникает и в фильме, создавшем канон сибирского кинотекста. Речь о музыкальном фильме Ивана Пырьева «*Сказание о земле Сибирской*», датирован-

ном 1947 г., но вышедшем на экраны в 1948 г.¹ Картина была одной из первых в период директивного «малокартинья», последовавший за постановлением о кинофильме «Большая жизнь». Характерно, что в условиях резкого сужения тем кинопроизводства и высочайшего санкционирования сценариев сибирская тема оказалась в первом ряду, вместе с биографическими полотнами о русских гениях и непобедимых полководцах. Сюжеты сибирской истории и современности стали функционально эффективной и незаменимой частью формирования нового советского патриотизма. Этот процесс начался при активном участии кинопроизводства в конце 1930-х годов: если первоначально исторической санкцией для власти большевиков была их преемственность от русского революционного движения, то в середине 1930-х добавился принципиальный акцент на преемственность от русской классической культуры, а в конце 1930-х – на защитников земли русской, а также ее собирателей и преобразователей (что и делало сибирскую тему востребованной).

Герой фильма «Сказание о земле Сибирской» (роль которого исполнил Владимир Дружников) – музыкант и боевой офицер Андрей Балашов, победитель и творец, воспитанный Сибирью и воспевший Сибирь. Вернувшись с войны в Москву, он понимает, что мечта стать выдающимся пианистом, пронесенная через войну, неосуществима, и в смятении чувств, не объяснившись с любимой девушкой, солисткой Большого театра Наташей, уезжает на большую стройку в Сибирь. Кульминация фильма – приезд Андрея в Москву с написанной им симфонической ораторией «Сказание о Земле сибирской» и триумфальное исполнение оратории в Большом зале консерватории. Вся история сибирских просторов вместилась в семь минут. Пространство огромное, а время сжатое – от Ермака до сталинских планов преобразования природы. Слова оратории написаны Ильей Сельвинским. В основе исторической панорамы – тот литературный образ Сибири, который сложился еще в XIX в., но в оратории он дополнен

¹ «8 января 1948 г. На заседании худож. совета Министерства кинематографии СССР обсуждался фильм И.А. Пырьева “Сказание о земле Сибирской”. В заключении, принятом худсоветом единогласно, безоговорочно отмечалось: “Фильм может быть выпущен на экран после серьезных исправлений” [Летопись российского кино... 2010, с. 73]. Сейчас можно посмотреть только версию, возникшую в 1954 г. в результате «десталинизации» фильма: режиссер изъясил некоторые сцены и внес коррекцию в тексты. По письменным источникам не удастся установить, было ли изъятие сцен приближением к авторской версии 1947 г.

линией революционной (через тему ссылки в соответствии с ленинской схемой трех поколений русской революции) и темой грандиозного преобразования природы. Оратория проиллюстрирована батальными сценами, величавыми пейзажами – горными, степными, таежными, морскими – и панорамными съемками городов, дымящих заводов, сельской страды¹.

Советское преобразование Сибири звучало как «крещендо» неодолимого подвижничества русского человека, его стремления к необозримым просторам – степным, таежным, морским, небесным. Сибирь в кинополотне Пырьева – не просто место действия, а единство истории, настоящего и будущего России, воплощение того характера, который раскрылся в покорении и советском преобразовании Сибири. Победа в войне предстает подвигом народного характера, закаленного Сибирью. Советское таким образом интегрировано в историю государства российского, история государства российского и великая русская культура служат предисловием к советскому и обоснованием его значения.

Четыре музыкальные темы служат лейтмотивами для фильма: «По диким степям Забайкалья», «Ревела буря», дающая зачин оратории (т.е. народная песня о Ермаке, слова Рылеева используются минимально), «Сибирь, Сибирь – благословенный русский край» (финальные патетические аккорды оратории, а затем – всего фильма) и написанная для фильма песня «Уходил на войну сибиряк» («Уходил на войну сибиряк // С Енисеем, с тайгой прощался // Слово силы для жарких атак // От родимой земли набирался»)².

Ретроспективно трудно разделить, что этот киномиф позаимствовал из уже существующих представлений о сибиряках, а что привнес в их образ. Человек, живущий в Сибири, видит в качестве собственного прошлого «большую историю». Это компенсирует недостаток истории семьи (которая, как правило, разрывается «ухо-

¹ Визуальный ряд оратории выразительно пересказывает в своем анализе фильма Евгений Добренко: «Эта визуальная оратория сочетала в себе театральные эпизоды о покорении Ермаком Сибири, выполненные в традициях русской исторической живописи. На фоне пейзажей с диким сочетанием огненных зарниц, ядовито-красного заката и ультрамаринового неба Сибирь предстает вначале дикой, затем – мрачным краем царской каторги и, наконец (под документальные кадры), преображенной трудом советских людей необъятной страной с мощными заводами и комбинатами, бескрайними хлебными полями и цветущими городами» [Добренко, 2006, с. 223].

² Стихи Е. Долматовского.

дом» в Сибирь) и оторванность от истории места (прошлое края, в который «приходят», не воспринимается как свое). «Большая история» оказывается важным ресурсом идентичности, поскольку наделяет смыслами и значительностью вольный или вынужденный выбор Сибири как места жизни: жизнь в Сибири формирует лучшие человеческие качества, наполняет силой и основательностью. Сопоставление с Москвой возникает именно потому, что Сибирь выступает синонимом народности – не только народности свершений, но и народности конкретного человека. *«Ты видишь здесь только чайную, Наташа. А я вижу народ. Во время войны я сроднился с ними. И вот я вернулся к ним, в Сибирь»*, – говорит Андрей.

Энергия преодоления себя и подвиг творчества были сибирского производства. Сибирь зарядила Андрея тем, что он оказался на стройке нужен людям не только как работник, но и как музыкант. Его аудиторией были строители будущей Сибири – еще не те молодые, которые станут героями фильмов в конце 1950-х, но, разумеется, и не бывшие узники лагерей, а соприродные сибирские мужики и женщины. И сама суровая природа Сибири подняла Андрея к творческому подвигу: мелодия будущей оратории была услышана на зимней стуже как музыка выюги.

Сибирь для народной интеллигенции – как живая почва, источник творчества, жизненных сил, вдохновения. «Сказание о земле Сибирской», как убедительно показал Евгений Добренко, было проводником сталинско-ждановского курса «народности» в музыке [Добренко, 2006]. Но сибирская народность Андрея Балашова – источник не только его творчества, но и жизненного самостояния, и покорения женщины. Андрей возвращает Наташу к народу, она окончательно разочаровывается во влюбленном в нее незаурядном пианисте Борисе, который кичится своим мировым признанием и творческой карьерой, но выступает как явный космополит¹ и оттого ограничен в своем творчестве. Андрей покоряет Наташу энергией и истинностью Сибири, любимая уезжает с героем в Красноярск работать в открывающемся там театре.

Сопоставление Москвы с Сибирью в фильме – не антагонистическое. Андрей покоряет московских коллег и публику своим творчеством сибирского производства, московские артисты, ока-

¹ Фильм снимался и вышел до развертывания официальной борьбы с «космополитизмом в искусстве», но тема противопоставления космополитического и русского звучит очень отчетливо.

завшиися из-за нелетной погоды в чайной, где перед строителями выступал Андрей, дают импровизированный концерт и вступают в диалог с сибиряками (в ритме вальса):

«– Много ездил я по родной стране, но теперь в этот край я влюблен. Вам, строителям, победителям, наш привет и почет, и поклон.

– Вам спасибо за ваше искусство, мы вас рады здесь видеть всегда, передайте Москве наши чувства, приезжайте почаще сюда».

Сибирь представлена просторным краем, Москва тоже предстает как город просторный: просторны (и почти безлюдны) заснеженные проспекты и площади, просторны залы консерватории, просторна квартира Наташи и ее дяди – учителя Андрея¹.

Контраст в сопоставление привносит только образ Бориса Оленича в исполнении Владимира Зельдина. Самовлюбленность и космополитизм – признаки оторванности от народа, а судя по некоторым репликам Бориса, и народофобии. Борис – не просто соперник Андрея, но его антагонист в понимании искусства, жизненных целей, любви и, главное, в отношении к народу. И поскольку он – рафинированный столичный интеллигент, а Андрей – сибиряк, то их радикальная контрастность участвует в сопоставление Москвы и Сибири. В каноническом для сибирского кинотекста фильме мы видим тот потенциал «антимосковскости», который реализуется в фильмах с «сибирским акцентом» в 1950–1980-х годах.

Фильм «Сказание о Земле Сибирской» получил официальное и зрительское признание, но тема Сибири до середины, 1950-х годов на экраны не возвращалась.

Московские мальчики. Путь к себе по сибирским дорогам

В первые годы «оттепели», когда производство художественных фильмов расширилось, сибирская тематика не вызывала особого интереса. Было лишь несколько фильмов, действие которых разворачивалось в Сибири², но образ самой Сибири остался не раскрыт.

¹ Из воспоминаний актеров известно, что московские сцены снимались в павильонах на студии «Баррандов» в Праге, а сибирские сцены на натуре – в Подмосковье [Как снимали фильм... 2014].

² В 1953 и 1954 г. появились два фильма о таежной природе, о людях, охраняющих ее, и борьбе с браконьерами («Случай в тайге» и «Повесть о лесном великане»), а в 1955 г. – шпионский фильм «Следы на снегу» о том, как московские чекисты ловят в Якутии американских диверсантов.

В 1956 г. «Ленфильм» выпускает лирическую комедию «*Медовый месяц*» (реж. Н. Кошеверова), а в 1957 г. – производственную драму «*Рядом с нами*» (реж. А. Бергункер). В «*Медовом месяце*» молодые ленинградские супруги едут по распределению жить и работать на сибирскую стройку. Но если Алексей (в его роли Павел Кадочников) едет сознательно, то Людмила (в исполнении Людмилы Касаткиной) – поневоле, она и замуж вышла, рассчитывая таким образом остаться в Ленинграде. Трудности жизни на стройке и настоящая работа перевоспитывают Людмилу и превращают брак по расчету в союз на основе взаимной любви. Сибирь здесь лишь место действия: важно, что это далеко от Ленинграда, что идет стройка, что быт не обустроен, а работа состоит из авралов и неожиданностей. Никакой особой «сибирскости» ни в характерах, ни в биографиях персонажей, ни хотя бы в природе нет. «*Рядом с нами*» – повествование о первом годе самостоятельной трудовой жизни трех молодых людей из лучших московских вузов (МГУ, МВТУ и медицинский), поехавших по распределению в далекий от Москвы город. Мы знаем лишь, что город, в который они приехали, где-то на Алтае. Но он мог бы быть и на Урале, и в Поволжье, как и производство, на котором вытачивают какие-то детали, простые и сложные. Даже природа, послужившая натурой для съемок, могла бы быть в средней полосе (как, кстати, и в комедии «*Медовый месяц*»). Существенно то, что это далеко от Москвы, в глубинке, где хорошие советские рабочие люди, где есть свои проблемы, и свои трудности, и свои подлецы. Вчерашние студенты становятся самостоятельными людьми, живут проблемами завода и людей. У завода большие перспективы, город строится на глазах, а люди становятся родными, и герои, конечно, останутся здесь. Просто жизнь оказалась сложнее, чем они раньше это представляли. Чтобы понять эту сложность и обрести самостоятельность, надо уехать из столицы. Это то, что мы узнаем о Москве из данного фильма.

В 1950-е годы это знание лежит в основе многих киносценариев. Молодые киногерои едут из Москвы и Ленинграда туда, где нужны их образование или рабочие руки, и, преодолевая трудности, участвуют в преобразовании «глубинки». В поэме Твардовского «*За далью даль*», молодая московская выпускница афористично подводит итог рассуждениям своего мужа о том, почему они, несмотря на любовь к Москве, едут по распределению далеко на восток: «Где мы с тобой, там и Москва...». То же можно добавить и про Ленинград, и про Киев. Сибирь в этих фильмах не са-

мостоятельна в отношениях с советскими столицами, молодежь несет в себе передовую современную жизнь, источником которой являются столицы¹. Иногда (как, например, в фильме Владимира Басова «Случай на шахте восемь», вышедшем также в 1957 г.) в конфликтах, возникающих на новом месте, виновато не только отставшее от требований времени начальство, но и сам носитель передового. Геобиография героя здесь, как правило, ни при чем.

Новый и чрезвычайно важный для сибирского кинотекста акцент, прочно вошедший в него через несколько лет, впервые прозвучал в фильме 1956 г., сюжет которого от первого до последнего кадра разворачивается в Москве. Сибирь присутствует в сюжете именно как альтернатива столичной московской жизни, ее узнаваемым персонажам и нравам. Речь о фильме «В добрый час» режиссера Виктора Эйсмонта по сценарию Виктора Розова (киностудия им. Горького). Герой фильма Алексей приезжает со своими друзьями из Сибири поступать в московский институт и останавливается в «профессорской» квартире семьи родственников, живших во время эвакуации в его семье. Появление в московском доме молодого искреннего сибиряка с принципиальным отношением к жизни и к людям высвечивает неестественность столичных нравов и житейских правил в среде, которую можно отнести к элите. В институт Алексею поступить не удается, в то же время его московский двоюродный брат Андрей, который тянется к Алексею, отказывается сдавать последний экзамен в институт, в который устраивают родители, и делает самостоятельный выбор – уезжает с Алексеем в Сибирь жить и работать.

Московский юноша, отправляющийся по той или иной причине на сибирскую стройку и обретающий там самостоятельность и правильные взгляды на жизнь, становится частым персонажем в

¹ В поэме Твардовского процитированному высказыванию из главы о вагонных разговорах («Москва в пути») предшествует авторское рассуждение:

*«...если виновата
Она – Москва – какой виной,
Так разве той, что маловато
На всех про всех ее одной.
И хоть бы втрое растянулась,
Так не вместиться всем в одну...
Но не твое ли время, юность,
Нести ее на всю страну?»*

[Твардовский, 1973].

литературе, в драматургии и в кино. В 1957 г. выходит самое известное произведение с подобным героем – повесть «Продолжение легенды» Анатолия Кузнецова [Кузнецов, 1957]. По ней в том же году ставится телеспектакль и один из первых спектаклей театральной студии «Современник». Один из героев пьесы «Иркутская история», ставшей на несколько лет репертуарным лидером в советских театрах, – вчерашний школьник, москвич Родик (Родион). Московский юноша – неперемный персонаж фильмов, действие которых происходит на сибирских стройках. Режиссеры и сценаристы стремились к правде жизни. Московские юноши ехали туда, где правда жизни была совместима с идеалами и помогала искать свое место в мире, а не способы приспособления к правилам игры и «нравам». Сибирская стройка как место действия – это еще и возможность избежать противоречий между бытием и бытом. Отсутствующий или полевой быт помогал решать вопросы бытия, поскольку предполагал испытание молодого человека на «настоящность». Настоящая жизнь и настоящие люди к концу 1950-х получают от писателей и драматургов сибирскую прописку.

В фильме 1959 г. «*Всё начинается с дороги*» («Мосфильм») москвич Геннадий, недавно закончивший школу, приехал на большую стройку (пока не в Сибири), как он объясняет своим товарищам по бригаде, зарабатывать трудовой стаж для поступления в институт. Бригада, в которую он попал, расхлябанная, состоит из случайных разнорабочих и поставлена на третьестепенный объект – ремонт проселочной дороги. Но в бригаду приходит главный герой Степан, опытный строитель и бывший фронтовик, он преобразует работу и отношения людей в бригаде, а в ходе этого и сам объект внезапно становится «позарез» нужным стройке: дорога позволит резко ускорить темпы строительства ГЭС. В финале – результат настоящего труда, возникший настоящий коллектив и мечта ехать всей бригадой вместе на новую большую стройку. Геннадий, как самый молодой и искренний, формулирует эту мечту предельно смело: «*А давайте на Ангару! Там только что проран перекрыли. Я в “Комсомолке” читал. Это же Сибирь!*»; и его товарищам, как и зрителям, понятно, что для Геннадия эта перспектива желаннее, чем поступление в московский институт.

Через несколько лет актер Александр Демьяненко, исполнивший роль Геннадия, получит возможность развить этот образ в достаточно известном фильме «*Карьера Димы Горина*» (студия им. Горького, 1961). Герой уже не юноша, а молодой человек с

образованием и специальностью, однако, встретив в Сибири – на Ангаре – *настоящее*, он тоже откладывает возвращение в Москву.

В фильме «*Ждите писем*» (Свердловская киностудия, 1960) сценарист Анатолий Гребнев и режиссер Юлий Карасик, раскрывая судьбы, характеры и взаимоотношения строителей ГЭС, приехавших из разных мест, отдают роль повествователя юному москвичу Косте, только что окончившему школу.

Москва во всех перечисленных произведениях – место, откуда уехали в поисках настоящего. Сибирь требует самостоятельности и дает возможности для проверки себя и для настоящей жизни. Москва – другая, и главное ее отличие в том, что она не дает возможность молодому человеку узнать, чего он стоит; пространство настоящего – вне ее. Москвич Родик в «Иркутской истории» сравнивает московскую и сибирскую жизнь: *«Я отпуск всегда беру под Новый год, а январь в Москве особенный... И я так посмотрю за месяц всякого-разного, что целый год потом есть что вспомнить. Зато остальные 11 месяцев сам действую – живу как человек, по-своему»*.

Московская молодая пара в фильме «*Неотправленное письмо*» (реж. Михаил Калатозов, «Мосфильм», 1959) в составе разведки, заброшенной в глухую тайгу на поиск алмазов, эмоциональна, непосредственна, шумлива, чем и отличается от других участников экспедиции – опытного геолога Константина и сибирского проводника Сергея. Молодые геологи еще не обработаны Сибирью:

«Андрей: вот бы здесь жить».

Таня: не хочу. Я люблю московскую сумасшедшую жизнь».

Таня все время просила по радио искать Москву – и когда отмечали начало экспедиции коньяком («Москву на минуточку»), и когда праздновали победу. В тот момент, когда товарищи произносят тост за возвращение, Андрей натывается в рации на «Подмосковные вечера». Но когда Москва, благодаря Тане, упоминается в группе, на это с явной ревностью реагирует влюбленный в Таню проводник Сергей: «Кончай музыку». Ревность – то ли из-за Москвы, то ли уже из-за Тани. Мы знаем о Сергее, что он воевал и что он живет в тайге. И все. Но в нем видна тяжесть прошлого, и похоже, что дорога в Москву ему по каким-то внутренним или внешним причинам закрыта. Во всяком случае, Москва – это то, что разделяет его и Таню. А Таня манит, возможно, и своей «московскостью». Не столичностью, а чистотой и незамутненностью романтизма – того романтизма, который уже столкнулся с изматы-

вающей работой в экспедиции, но пока не имеет опыта настоящих испытаний. А сибирская природа, как бы сопротивляясь планам людей преобразовать эти края, приготовила испытания огнем и водой. Романтизм Тани оказывается высокой пробы, она проходит лесные пожары, до последнего пытается в зимней стуже продвигаться по реке, чтобы вместе с Константином вынести из тайги карту месторождения на Большую землю. Андрей уходит из жизни раньше, чтобы не обременять товарищей, несущих его, тяжелораненого, через тайгу, – они должны вынести карту людям. И когда сил уже нет, Таня призывает на помощь «пионерскую клятву», пытаясь даже в ней найти ресурс выживания, – девушку удерживает в жизни чувство долга.

В фильме *«Люди на мосту»* (реж. Ал. Зархи, «Мосфильм», 1959), о котором шла речь в начале статьи, одна из двух основных линий – взросление Булыгина-младшего, Виктора, окончившего школу и не прошедшего в институт (не в Москве – в Омске, т.е. в Сибири!) из-за своего ершистого характера. Он не хочет возвращаться в Москву, ищет самостоятельности и оказывается в районе той же стройки, на которую его отца направили руководить возведением моста. Виктор взрослеет благодаря работе и любви сибирячки Лены, работающей взрывником на стройке. Лена (яркий дебют Александры Завьяловой) – олицетворение Сибири (об этом писали практически все рецензенты, независимо от того, как они оценивали фильм в целом и смысловую нагрузку этого образа сибирячки, реализованную через сюжетные ходы и режиссерские решения). В ней есть противоречивое сочетание женственности и прямоты, даже некоторой брутальности, абсолютная независимость и способность к сильным чувствам. А Виктор – юноша из московской семьи большого начальника. Но Олег Табаков исполняет его совсем не избалованным шалопаем, как, возможно было прописано в сценарии¹, а скорее – неискушенным и открытым к жизни и людям юношей. Он стремится к самостоятельности и желает работать не хуже других. Любовь достается трудно: у Лены не только независимый характер, но и какая-то тайна (маленький сын, живущий в тайге со старым охотником). В моменты, когда

¹ Актриса Л. Касьянова, игравшая Ольгу – сестру Виктора, рассказывая для «Советского экрана» о съемках фильма, так обозначила эволюцию образа «брата», видимо, на основе сценария: «И вот беспечный юнец постепенно становится настоящим человеком» [Касьянова, 1959].

Лене кажется, что Виктор покушается на эту тайну, она бросает ему саркастическое: «Москвич!». В самозащите Лены (хотя Виктор не нападает на нее) – не только обозначение разницы жизненных опытов. Звучит это как напоминание пришельцу, что ему не дано разобраться в сложной жизни – слишком ограничена цивилизация, в которой он вырос. В минуты примирения и взаимной нежности Виктор называет Лену сибирячкой («*И Сибирь полюбил потому, что это – твоя Сибирь*»). Совместная жизнь (молодые люди уходят работать на железную дорогу из-под отцовского надзора и подчинения) – счастливая, но заканчивается разрывом: фатальным оказывается начальственное вмешательство Булыгина-старшего. А затем Лена трагически гибнет, спасая Виктора. Эта смерть, сила чувств Лены, ее безоглядность в спасении любимого меняют и Виктора, и его отца. Она событийно завершает изменение этих москвичей разных поколений (на котором и сосредоточено киноповествование): старший объясняет это собеседнику и зрителям, а младший берет на себя ответственность за сына Лены, т.е. становится отцом. Сопоставление «столичности» и «сибирскости» контрастно благодаря образу Лены, но оно ни в коей мере не антагонистично. Любовь Виктора и Лены – не из тех, что «вдруг настигла», в ее основе – неподдельный интерес друг к другу людей из разных миров. Увидеть в этом концепцию уничтожения Москвы крайне трудно.

Другое дело, что контрастность становится предельно резкой, когда с Москвой ассоциируется персонаж однозначно отрицательный, антагонист героев – но не Лены, а Булыгина-старшего, т.е. другого полпреда Москвы, – карьерист и подхалим Одинцов, референт Булыгина, который ухаживает за дочерью своего начальника, но остается после отъезда его семейства в Москве и занимает кресло в министерстве, которое предлагали Булыгину.

Наделение Москвы негативной коннотацией независимо от замысла автора имеет место в произведениях о сибирских стройках именно потому, что в центре этих произведений – москвичи, ищущие себя. Так было уже в повести «*Продолжение легенды*» Анатолия Кузнецова, благодаря тому что его лирический герой получал письма от школьного приятеля, устраивающего свою жизнь в Москве в соответствии с правилами и идеалами его процветающего отца. Но существенно, что Кузнецов, передав герою свой опыт и впечатления, полученные в Иркутске, сделал его при

этом не только более юным и менее опытным¹ (Кузнецов во время поездки на строительство был уже студентом Литинститута с трудовым стажем, полученным на строительстве Каховской ГЭС), но еще и урожденным москвичом (сам Анатолий Кузнецов – киевлянин). Семантика Москвы давала больше возможностей.

Действие этого эффекта дискриминации Москвы можно проследить и в фильме «*Ждите писем*». Среди его героев – несколько центральных персонажей, приехавших из Москвы. Это ушлый парень Лёнька – московский таксист, приехавший заработать на машину. Он не упустит своего – ни денег, ни халтуры, ни женщины, спокойно соврет товарищам (но и Лёнька в конце концов меняется благодаря работе, товарищеским отношениям и любви). Это девушка Римма, которая нашла себя на этой стройке как работник, но несчастлива, потому что к ней никак не придет из Москвы любимый парень. Порой кажется странным, что Римма – москвичка: ее яркость и независимость, бытовая уверенность больше ассоциируются с Сибирью. При этом, как и в повести Кузнецова, повествование ведется от лица вчерашнего школьника Кости; однако в фильме ничего не говорится о его московских приятелях, а родители с симпатией относятся к жизненному выбору сына – мы видим, что его поездка в Сибирь соответствует их жизненным принципам. С семьей родителей мы знакомимся, поскольку в Москву приезжает в заслуженный отпуск один из строителей – Филипп, бывший солдат, который никогда в столице этого не был. И мы смотрим на Москву глазами человека, восхищенного красотой, масштабом, знакомыми с детства символами. И люди, которых он навещает – родные его товарищей, – хорошие советские люди, хотя и относятся к разным социальным слоям (при этом признаки сословности – только внешние, без морального подтекста). Но самый важный для фильма московский эпизод – это все-таки посещение Филиппом «на дому» московского возлюбленного Риммы. Комната говорит о том, что тот – модный парень, манера общения и первые же реплики выдают в нем жизнелюба, наслаждающегося возможностями столичной жизни, но

¹ Автор объяснял это дидактическим замыслом: «И я видел мальчишек и девчонок, которые с горящими глазами ехали в Сибирь, но при первых же трудностях терялись, потом скисали, потом пачками драпали назад – с потухшими глазами, становились в лучшем случае “разочарованными”, в худшем – циниками» [Кузнецов, 1967, с. 8].

он быстро разоблачает себя как приспособленец и подлец. Поскольку подлость по отношению к девушке прямо связана с привязанностью парня к московской жизни, Москва попадает в поле негативной коннотации, в ее образе актуализируется именно то, что резко контрастирует с семантикой понятий «Сибирь» и «сибирская стройка».

Сословность советского мира стала в 1950-е публично осуждаться. Стигматизировалась не Москва, а «золотая молодежь», звезды кино и эстрады, бюрократы, охочие до бытовых благ, «оторвавшиеся от народа» интеллигенты. Но эти социальные группы имели, как правило, столичную прописку, и образ Москвы неизбежно обретал некую контрастность по отношению к образу Сибири как края народности и исторических свершений.

География бюрократии

В фильме «Люди на мосту» есть одна знаковая деталь: приспособленца Одинцова, появившегося в первых же кадрах фильма, выразительно – с акцентом на лицемерие и угодливость – играл Владимир Дружников, за 12 лет до этого исполнивший главную роль в фильме «Сказание о земле Сибирской». Был в этом замысел режиссера или нет, но персонаж актера в фильме 1959 г. – антагонист героя фильма 1947 г. В той линии сопоставления Москвы и Сибири, которую рецензент «Советской культуры» расценил как стигматизацию Москвы, режиссер, пригласив Дружникова, использовал потенциал канонического для сибирского кинотекста фильма. Возможно, именно поэтому автор рецензии В. Даниловский или редакция газеты не решились упомянуть эту деталь как доказательство существования «антимосковского» умысла создателей фильма и напоминать, что московские антиподы сибиряков были героями картин, выходявших в то время, когда негативная окраска образа советской столицы была невозможна¹. Ко второй половине 1950-х ситуация кардинально поменялась: противопоставление «Москва – периферия» (а именно о противопоставлении периферии, а не собственно Сибири – москвичам и

¹ Представить, что кинокритик не обратил на эту подробность внимания, трудно. Владимир Дружников создал в фильме Ивана Пырьева заметный образ; актер был награжден за эту роль Сталинской премией первой категории.

Москве было сказано в рецензии Даниловского) стало привычным и политически актуальным. Раздражение этим обстоятельством могло побудить рецензента и редакторов московской газеты увидеть идейное намерение там, где его не было¹.

В публичном пространстве периферии противопоставлялись не москвичи, а чиновничество, оторванное от народной жизни и живущее своими карьерными интересами, которое в условиях гиперцентрализма и ассоциировалось с Москвой. Эта идея прослеживается и в некоторых реформаторских заявках власти – например, в создании совнархозов и «расселении» из Москвы министерств с целью приблизить отраслевое руководство к местам, ключевым для развития отрасли. Претензии, предъявляемые чиновникам, распространялись и на научные структуры: бюрократизация науки, ее отрыв от запросов жизни и производства связывался с тем, что сотрудники московских институтов привязаны к столичным благам. Поэтому отраслевые НИИ тоже должны были быть распределены по стране – ближе к задачам, которые надо решать прикладной науке. Эта реформа также не удалась, хотя стимулировала создание филиалов. Крупной и удавшейся реформой стало создание Сибирского отделения Академии наук с центром в Новосибирске. Но заметим, что «отцы-основатели» отделе-

¹ Замысел антимосковской семантики могли заподозрить и потому, что съёмочная группа была «ленинградской» (хотя картина была выпущена «Мосфильмом»). А «москвоборческие» настроения ленинградской интеллигенции в 1950-х годах были особенно обострены – после «ленинградского дела» и его последствий для Ленинграда в идеологическом руководстве и «управлении культурой». Приведем как пример горькую запись, сделанную Григорием Козинцевым в своей рабочей тетради в ноябре 1954 г.: «Приезжие москвичи и их поучения. Можно ли приехать, посмотреть спектакль и, “не отходя от кассы”, научиться, как жить и работать. “По морям, по волнам” – в Твери и Калуге, в Петрозаводске и Ленинграде... Но для такого скоростного процесса (сразу снял, проявил, отпечатал и вынул карточку) в фотографии существует лишь один научно-художественный метод. Так называемых “пушкарей”. Построено это на том, что у аппарата постоянная наводка на фокус. Аппарат установлен навечно, перед ним тоже накрепко установлен общий фон с видом Кавказа или Крыма, и только голова вставляется в маленький вырез в написанном фоне. Так поступают и приезжие “пушкари”. Фон установлен накрепко, в нем две цитаты из Энгельса о титанах, широкими мазками написанные “гуманизм”, “реализм” и т.п. Остается лишь всунуть голову. Тверскую голову, калужскую, ленинградскую и т.д. и вписать ее в общий фон. Посмотреть вечером спектакль, а утром вынуть карточку» [Козинцев, 1984, с. 380–381].

ния изначально предлагали создать в Сибири Академию наук РСФСР, т.е. планировали руководить из Сибири работой институтов, расположенных не только к востоку от Урала¹. Заметим также, что это предложение отклонено партийными органами, поскольку в случае его реализации АН СССР оставались бы только бюрократические функции². Иначе говоря, контекстом для «географической» трактовки проблемы отрыва бюрократии от народной жизни были конфликт интересов и столкновение взглядов, прошедшие через весь период «оттепели» в острых (и часто открытых) формах.

В литературе знаковым, но далеко не единственным произведением, рассматривающим эту проблематику, был роман Владимира Дудинцева *«Не хлебом единым»*, датируемый 1956 г. Действие происходит в рабочем поселке в Сибири, главный герой стремится «пробить» свое необходимое производству изобретение, преодолевая сопротивление со стороны сотрудников московского отраслевого института и директора комбината, мечтающего перебраться в Москву на спокойную министерскую должность. Роман Дудинцева был официально подвергнут разгрому и вызвал резкие дискуссии.

Но еще в начале 1954 г. та же участь постигла пьесу Леонида Зорина *«Гости»*, опубликованную в журнале «Театр». В центре пьесы тоже конфликт, развивающийся в некоем маленьком городке (где-то в Центральной России): в родительский дом приезжает со своим семейством сын, занимающий высокий пост в союзном министерстве. Разговоры и манера поведения персонажа выдают в нем сословные замашки; для его жены и сына провинциальная жизнь тоже неудобна и непонятна. Московский гость совершает в ходе пьесы подлый поступок, отказывая в помощи человеку из провинции, в судьбе которого он мог бы восстановить справедливость. В финале пьесы один из героев, журналист с фронтовым опытом объявляет войну отбывающему с позором из родительско-

¹ Записка академиков М.А. Лаврентьева и С.А. Христиановича в ЦК КПСС о создании в Сибири Академии наук РСФСР. 8 декабря 1956 г. [Сибирское отделение... 2007, с. 18].

² Заключение Отдела науки, вузов и школ ЦК КПСС по РСФСР по предложению академиков М.А. Лаврентьева и С.А. Христиановича о создании в Сибири Академии наук РСФСР. 30 декабря 1956 г. [Сибирское отделение ... 2007, с. 19–20].

го дома московскому гостю [Зорин, 1989, с. 119]¹. Пьеса была подвергнута резкой критике в «Литературной газете» и «Театре».

Фильм «Люди на мосту» создавался именно в этом политическом контексте. Порочный Одинцов – одновременно чиновник и ученый. Он написал диссертацию по ледовым переправам (т.е. о строительстве моста на зимней замершей реке), и Булыгин-старший ждет его на стройке как специалиста, от знаний которого зависит строительство моста, а от этого, в свою очередь, сроки строительства ГЭС. Однако Одинцов предпочитает делать карьеру в Москве, в министерстве. Зато его невеста, Ольга Булыгина, остается в Сибири, разлюбив Одинцова и полюбив инженера Орлова – интеллигента-сибиряка, независимого и скромного, но незаурядного, без всяких диссертаций разработавшего операцию по ледовой переправе. И наконец, одна из двух основных линий фильма – высокопоставленный московский начальник на сибирской стройке. Вопреки мнению В. Даниловского, Ивана Денисовича Булыгина трудно назвать чиновником. Исполняющий его роль Василий Меркурьев рисует образ, напоминающий «красных директоров» предвоенных пятилеток, – авторитарного трудоголика, недовольного людьми, условиями, собой, но способного на решение масштабных задач. Судя по первому эпизоду фильма, Иван Булыгин, и работая в главке, не сидел в Москве, а ездил в спецвагоне по стране, контролируя строительство и состояние мостов. Когда после ликвидации главка ему предлагают спокойную должность в министерстве («быть пятым тузом в колоде»), он отказывается и едет командовать строительством моста на реку Северную в Аргун. Его проблема – это выработанный предыдущим опытом командирский нрав. Соратник Булыгина по прежним стройкам, сибиряк Паромов, сохранивший независимость поведения и самостоятельность суждений, объясняет Ивану Денисовичу, что жизнь и люди уже не те, чтобы подчинять их своей железной воле. Благодаря серьезным жизненным урокам, полученным от сибиряков, герой меняется и вновь обретает себя на этой стройке². Образ «отца-командира» – неперемный элемент

¹ В этой авторской версии пьесы московский гость отвечает: «Прежде не мешает понять: кто хозяева и что они – навсегда». В первой публикации в 1954 г. этой фразы не было, зато заключительная реплика сообщала о том, что наступило утро и что в свежей «Правде» будет опубликована статья о деле, вызвавшем конфликт героев пьесы [Зорин, 1954, с. 45].

² Василий Меркурьев создал первый в «оттепельном» кино образ человека номенклатуры как московского зазнавшегося чиновника, оторвавшегося от живой

многих фильмов, действие которых происходит на большой стройке или крупном предприятии, – оказывается включен в сопоставление Москвы и Сибири. Большой проект – это всегда отношения между условной Москвой (Центром), где принимается решение о проекте и откуда контролируется его осуществление, и тем конкретным местом в Сибири, которое должно радикально измениться и меняться благодаря стройке. И когда вопросы начинают ставить к проектам, в ответчиках оказывается Москва, поскольку вопрос о том, правильно ли устроены отношения между страной и ее властным центром, в советском кино озвучен быть не мог.

«Беду он нам привез... Большую беду...»

В фильмах 1950-х и начала 1960-х годов смыслы больших проектов и их отношения с людьми и природой Сибири не проблематизируются, стройка выступает как предмет гордости сибиряков. Исключение из этого правила – короткая, но смачная реплика старого сибирского охотника из фильма *«Люди на мосту»*. Нехотя показывая отцу и сыну Булыгиным, как пройти от железнодорожного тупика к месту строительства, он бросает им вслед: «Какое там строительство, библейский хаос там, а не строительство. Только и делов, что зверя распугали». Вероятно, это первый случай, когда в советском кино было высказано «негосударственное» отношение к большим проектам, хотя тема последствий великих строек и будущих предприятий для природы и традиционного уклада жизни уже проникала в печать. В кинематографе эта тема появляется в «сибирских» фильмах середины 1960-х, в ее развитии в разной мере сочетаются человеческий и публицистический аспекты. В фильмах, где публицистический преобладает (например, *«У озера»* Сергея Герасимова (студия им. Горького, 1969), *«Сибирячка»* Алексея Салтыкова по пьесе Афанасия Салынского (Мосфильм, 1972)), условная «Москва» не участвует или

жизни и от людей, ради которых он должен работать. Речь о кинокомедии Михаила Калатозова по сценарию Александра Галича «Верные друзья», вышедшей в 1954 г. Один из главных героев, роль которого исполнил Василий Меркурьев, – архитектор Нестратов, ставший высокопоставленным чиновником. Для того чтобы он понял, что надо изменить отношение к себе и к людям, достаточно было путешествия-приключения с друзьями по Подмосковию. Через пять лет его герою необходимо было уехать в Сибирь, чтобы понять, что надо менять себя.

мало участвует в выяснении отношений. Фильмы развивают общественную дискуссию о целях и смысле научно-технического прогресса, о коммунизме и гуманизме, о сочетании прогресса и гуманизма, но, разумеется, эти понятия не могут быть географически локализованы, символически привязаны к Москве или Сибири. То же самое происходит, когда сибирский большой проект становится источником сюжетов в жанре производственной драмы. В этих случаях, как в фильмах *«Твой современник»* Юлия Райзмана и Евгения Габриловича («Мосфильм», 1967) или *«Факты минувшего дня»* Владимира Басова по роману Юрия Скопа («Мосфильм», 1981), инициаторы передовых технологий или организационной перестройки вступают в борьбу со здоровым или злостным консерватизмом, и понятно, что поскольку побеждает в конце концов передовое, то прогрессивно мыслящие люди, как и консерваторы, есть и в Сибири, и в столице. Образ Москвы в этих фильмах создается безотносительно к сибирскому кинотексту.

Иначе обстоит дело, если фильм сфокусирован на человеческом измерении проблемы, как малоизвестная лента *«На диком берегу»* режиссера Анатолия Граника по повести Бориса Полевого («Ленфильм», 1966, вышел на экраны в 1967) или киноэпопея с мировой известностью *«Сибириада»* («Мосфильм», 1978). В таком случае важную роль играет образ Москвы как места нахождения людей, принимающих судьбоносные для сибиряков решения.

Фильм *«На диком берегу»* был задуман и снят на киноязыке оттепели, с персонажами и проблемами, естественными для литературы и искусства начала 1960-х, однако на экран он вышел в середине 1960-х, когда эти персонажи и проблемы вновь оказались табуированы, а о десталинизации стали говорить эзоповым языком намеков и недоговоренностей. Такие фильмы шли узким прокатом и не подлежали широкому обсуждению. Очевидно, поэтому картина, вышедшая в кинопрокат в год, когда громко отмечался полувековой юбилей революции, осталась малоизвестной, несмотря на блестящие работы актеров, исполнявших главные роли (Борис Андреев, Всеволод Сафонов, Владимир Глазырин, Олег Борисов), и драматургическую насыщенность¹. О том, что из сценария или фильма изъяты многочисленные эпизоды, говорит странный для

¹ Подобная судьба ждала и другую выдающуюся работу «Ленфильма» – поставленный в 1965 г. Владимиром Венгеровым по сценарию Веры Пановой и вышедший в кинопрокат в 1966 г. фильм «Рабочий поселок».

советского кинопроизводства метраж (2 часа 20 минут), а также прерывистость сюжетных линий. Если острую линию нельзя было просто оборвать, то она завершалась лаконичным диалогом и идеологически безупречным финалом. Так произошло с центральным конфликтом первой части фильма. Жители края¹ сопротивляются грандиозным планам строительства ГЭС. Из интервью, которое дал газете «Правда» московский доктор наук Петин, сибиряки узнают, что их земли и села уйдут под воду, – стройка окажется грандиознее, чем первоначально планировалась. Надвигающаяся беда у местных жителей ассоциируется с этим московским ученым, приглашенным на строительство в качестве главного инженера: *«Беду он нам привез... Большую беду...»*. Начальник строительства Литвинов (яркая работа Бориса Андреева) заинтересован в новом масштабе стройки: крупнейшая в мире ГЭС – желанная жизненная цель. Литвинов хочет как можно быстрее развернуть строительство и осваивать финансирование, чтобы там, в Москве, до которой дошли протесты жителей и местной власти, труднее было бы урезать проект, когда уже будет затрачена большая доля средств. Бюрократов Литвинов ненавидит, но надеется, что столичные бюрократы будут мурьжить письмо колхозников по кабинетам, а за это время удастся переубедить людей, родина которых будет затоплена. Правда, сам убедительных слов не находит. У сибиряков есть к чему апеллировать: хлеб страна ввозит, а лучшие земли под воду уходят. И еще более громкий аргумент (он и звучит первым): *«А могилу куда денем?!»*. Речь о братской могиле коммунаров, убитых в Гражданскую войну, вдовы и дети которых ненавидят стройку. Литвинов ждал, что местных сумеет переубедить крупный ученый Петин, объяснив им значение ГЭС, но Петин не считает нужным это делать и излагает свои доводы местным лидерам на онаученном канцелярите. И мудрые старики ставят на место заезжих москвичей: *«Чтобы затопить нас?! Нет, не согласны!»*. Однако вся эта борьба и вся драма людей, теряющих родные дома, могилы, уклад жизни (за десяток лет до повести *«Прощание с Матерой»* Валентина Распутина, которая вывела тему в центр общественной дискуссии), куда-то вдруг исчезают из

¹ Действие невозможно локализовать в реальной географии. Она явно запутана самыми разными признаками: топонимами, часовым поясом, названием организации. Это можно объяснить блокированием поиска прототипов героев среди крупных гидростроителей.

фильма и из жизни героев. Мы узнаем об этом от одного из мудрых стариков в финале первой части: *«Письмо отзовем. Молодежь наша голосует за стройку. Им жить»*. В фильме мы не видим и не слышим эту молодежь, но старикам верить надо. От того, что в начале фильма люди называют большой бедой, во второй части не остается ни кадра, ни слова. Во второй части идет ударная стройка со своими драмами, но ни местных, ни земли, ни тайги эти ударные драмы уже не касаются. И даже кадры, в которых мощная техника выворачивает из земли добротные сибирские избы, перенесены ближе к началу фильма, когда еще непонятно, что и зачем рушат.

Вторая часть вроде не специфически сибирская, а производственная. Но один из основных персонажей и участников производственного конфликта – некто Дюжев, технический гений и знаменитый мостостроитель, который *«сидел в лагерях где-то здесь в Сибири»* и не вернулся ни в Москву, ни в профессию, ни в партию, а работает колхозным механиком, живет тайгой и рекой и пьет горькую. А его антагонист – тот самый главный инженер Петин, приехавший в Сибирь из столицы то ли за орденом, то ли за звездой Героя. Оказывается, что именно он в оное время помог отправить Дюжева в лагерь. Помог по убеждению. Не по коммунистической правоте – коммунистической риторикой он только пользуется как средством манипуляции, а по убеждению, что поступает соответственно природе человека. И в нем самом намешано столько, да еще в тонком исполнении Всеволода Сафопова, что на анализе этого персонажа можно написать исследование по социальной антропологии верноподданных модернизаторов. Главный конфликт на ударной стройке возникает оттого, что этот прогрессист и доносчик (впрочем, человек симпатичный, покоряющий масштаб личности и размахом дела, – его даже замечательная героиня не может разлюбить, как ни старается) придумывает некую операцию «Бросок к коммунизму», по форме – мобилизацию, а по сути – обман и самообман. И за его стремлением прогреметь с трудовым почином, занять место руководителя строительства крупнейшей ГЭС (Литвинов при смерти после инфаркта, случившегося во время конфликтного принципиального разговора с Петиним), стоит циничный расчет, включающий в себя его московские связи. Завершается вторая часть поражением Петина (временным – *«Друзья подберут для него хорошую должность»*), Литвинов возвращается к работе и увольняет главного инженера, но фильм заключает характерный и многозначительный

обмен репликами между героями. На риторический вопрос Петина «*Вы говорили с Москвой?*», Литвинов отвечает: «*Да, я договорился с Москвой. Очень легко договорился*». Звучит эта фраза не без иронии, и мы знаем, что за ней стратегическое лукавство человека, взявшего ответственность на себя без всяких согласований. Отец-командир, сочетающий государственное мышление с человеческим отношением к людям и с независимым масштабным характером (что органично и для Сибири и для крупной стройки), умеет быть принципиальным в отношениях с системой (московским начальством) там, где компромисс невозможен.

В начале заключительной части «*Сибириады*» также идет речь о строительстве крупнейшей в мире ГЭС и затоплении обширного края. Места действия два – сибирская деревня Елань и московские высокие кабинеты. Здесь не звучат аргументы о хлебе – земля считается бросовой, но Елань – старая сибирская деревня, родина по крайней мере двух семейных кланов – Соломиных и Устюжаниных, чьи взаимоотношения на протяжении XX в. и составляют драматургию фильма, давая возможность говорить о деревне в контексте истории страны. Сюжет заключительной части разворачивается в 1960-е годы, когда рядом с Еланью идет поиск нефти. Впрочем, нефть здесь ищут на протяжении века, и в московских кабинетах уже не верят в сибирскую нефть. Главными героями нефтяной эпопеи оказываются в конце концов два воина-сибиряка: Филипп Соломин, секретарь «*Сибирского обкома*» (по его имени и названа заключительная часть фильма), и Алексей Устюжанин, буровщик 6 разряда. Надежда Филиппа в том, что нефть найдут, он апеллирует в кабинетах к государственным интересам, но для него нефть в крае – еще и возможность спасти край и родную деревню от затопления. Большую нефть находят и именно в Елани, край спасен, но это не спасает Елань. Горит в нефтяном пожаре кладбище, его ликвидируют, пока огонь не перекинулся на деревню, и понятно, что это завершение истории Елани, общей истории Соломиных и Устюжаниных на фоне большой Истории, ее логики и неотвратимости. Но это еще и результат того, что из московского министерства, решающего исторические задачи, подробностей не разглядишь: «*В Москве очкарик в карту ткнет пальцем, а мы здесь приезжаем и забуриваемся*» (Алексей Устюжанин).

В своей книге о борьбе тенденций в советском кинопроцессе 1970-х Валерий Головской уделил «*Сибириаде*» едва ли не больше внимания, чем любому другому фильму [Головской, 2004]. В четвертой части, на его взгляд, встречаются эпос и современ-

ность, причем два центральных персонажа – буровщик Устюжанин и партийный руководитель Соломин – персонажируют две эти линии. Не оспаривая такую интерпретацию (ее разбор потребовал бы анализа фильма за рамками темы статьи), обращу внимание на то, что она не исключает и рассмотрения фабулы фильма как коллизии советского и национального идеалов, советской и русской (сибирской) идентичностей. К 1970-м годам обнаружилось противоречие между советской и национальной идентичностями, которое переходило в почти открытое противоборство. Две эти идентичности и соответствующие культурные традиции совпадают в существенных пунктах. Во-первых, обе традиции содержат в качестве основополагающей категории понятие «народ» и апеллируют к народу как к моральной и исторической инстанции. Во-вторых, обе традиции хотя и в разной, но в значительной степени идеократичны, т.е. содержат представление о том, что власть должна быть идейным руководителем народа. Противоречие советской и русской национальной идентичностей прорвалось в 1970-е годы в литературе, искусстве и в публицистике как свидетельство неосуществленности социального идеала русской культуры (идейное единство народа) и советского социального идеала (народный характер власти). Попытку их согласования мы видим в «Сибириаде». Но власть способна лишь формально декларировать общий идеал, поэтому ее локус, (Центр / Москва), предъясняет внутреннюю пустоту, и идейное согласование становится сложной режиссерской задачей.

Разумеется, увидеть персонафикацию этих двух идентичностей в героях невозможно. Советское и национальное густо перемешано и в Филиппе Соломине (роль Игоря Охлупина), и в Алексее Устюжанине (Никита Михалков), но советское и национальное четко локализованы географически. Елань – это традиционный деревенский уклад (не чуждый, конечно, мечте и утопии), а место для советского дискурса – московские кабинеты и зал большого совещания.

Валерий Головской трактует сцены «официоза» как чуждые стилистике фильма и считает фальшивой игру Игоря Охлупина: парадный историзм чужероден для стихии поэтического кинематографа. По мнению киноведа, «сюжетная линия партийных боссов», оставшаяся в фильме от радикально переработанного сценария, – это компромисс режиссера с государственным заказом (эпопея об открытии сибирской нефти) [Головской, 2004, с. 284–285]. Не обращаясь к киноведческому вопросу об исполнитель-

ском мастерстве Игоря Охлупина, замечу, что фальшивой в московских сценах предстает сама парадность, какими бы внешними признаками авторы ни пытались ее «утеплить» и очеловечить. Функция судьбоносных московских разговоров и совещаний – в том, чтобы напомнить о государственном значении происходящего в глухой деревне Елань. Герой Охлупина необходим в завершающей серии киноэпопеи. Филипп Соломин, секретарь «Сибирского обкома», – человек, считающийся с историческими задачами и в то же время кровно связанный с краем и с его людьми, даже, более того, родившийся в старом селе, обреченном на гибель. Можно спорить о жизненности подобного персонажа, достигшего высокого положения «солдата партии»¹ и способного открыто сопротивляться позиции высшего партийного руководства. Понимая это, авторы показывают нерешительность героя, который не сразу начинает оспаривать принятые уже «наверху» планы. На помощь призван сибирский характер: «вечный дед», хранитель духа Елани, напоминает Филиппу, что дальше Сибири не сошлют. И Филипп вскоре повторяет эту расхожую сибирскую поговорку как шутку, но и как обоснование своей решимости в разговоре с секретарем ЦК (и фронтовым товарищем), предупредившим Соломина, что возникает вопрос, способен ли он руководить областью. Фальши в подобном сюжете избежать было трудно, но если бы не Филипп Соломин, сочетающий государственность и сибирскость, сибирский край предстал бы в фильме либо жертвой большой истории, либо радостным участником преобразований в духе исторического оптимизма. Поэтика фильма и его содержательная объемность были бы разрушены в этом случае.

«Сибириада» не завершает советский сибирский кинотекст, но исчерпывает потенциал темы Москвы в данном контексте. В 1981 г. Элем Климов завершил начатую погибшей Ларисой Шепитько экранизацию повести Валентина Распутина «*Прощание с Матёрой*» – ключевого произведения для сибирского сопротивления централизованной модернизации. Сибирская деревня и сибирская природа предстают жертвами бездумного, бесчеловечного и антинародного натиска индустриальной цивилизации. Однако то, что источником этого натиска являются Центр и его оторванность от жизни народа и национального идеала, уже настолько очевидно,

¹ Исторической подоплекой этого сюжета стала борьба мнений руководителей Тюменской области в 1950-е годы вокруг проекта Нижнеобской ГЭС.

что создавать образ Москвы в этой эпической трагедии совершенно излишне. Образ Москвы достаточно выразительно прописан в пяти-серийном телефильме «*Ермак*», работа над которым совпала с саморазрушением советского мира (1985–1995). Причем не как образ города, а именно как образ подлой и корыстной власти. Как ни стремились авторы эпопеи преодолеть советское в киномифе о Сибири, именно этим сведением образа Москвы к негативному образу власти они завершили историю советского сибирского кинотекста, упразднив его с помощью выработанных им средств.

Потенциал противопоставления Сибири и Москвы возник вместе с возникновением самого сибирского кинотекста. В 1930-е годы советская столица пересотворяла на киноэкране девственную Сибирь. В этой колонизации средствами кино не было ничего специфически сибирского – на пространстве страны утверждался советский идеал новой жизни, – но было контрастное противопоставление центра советской жизни и ее периферии. Во второй половине 1940-х годов, когда вышло «*Сказание о земле Сибирской*», сибирская история потребовалась, чтобы укрепить советскую идентичность национальной. Можно рассматривать это как идеологический госзаказ, но заказ не был чуждым для творческой интеллигенции. Чувство принадлежности к советскому строю и самоощущение наследников культурных традиций России – две ключевые для советской интеллигенции «коллективные» идентичности. Они лежали в основе «большого стиля» и прошли через оттепель, пропитанную историческим оптимизмом. Сибирь на экране, как и в литературе, предстала носителем национального идеала и поприщем для советского идеализма, для настоящего советского человека. Москва в этом контексте оказалась локусом, создающим контраст: идеал не обязателен, сословное непонимание национального (народного) или советского вполне вероятны и характерны.

Кинообраз Москвы, разошедшейся с идеалами, но остающейся источником власти и судьбоносных решений, – симптом саморазрушения идеократии на исходе советского века. Колонизация пространства (а Сибирь – символ российского пространства) деромантизируется: драматично в «*Сибириаде*» и трагически в «*Прощании*». В первом случае советское и национальное могут найти друг друга только на сибирской земле (в последний момент, на грани утраты земли, и с жертвоприношением героя), во втором – идеал вместе с сибирской природой принесен на алтарь безыдеальному будущему.

Закономерно, что авторы «Ермака», восстанавливая романтический окрас колонизации, противопоставляют казаков, идущих «воевать Сибирь», власти московской, корыстной и безыдейной.

Литература

- Головской В. Между оттепелью и гласностью. Кинематограф 70-х. – М.: Материк, 2004. – 390 с.
- Даниловский В. Там, где пройдет дорога // Советская культура. – М., 1960. – 26 января, № 11. – С. 3.
- Добренко Е. REALA STHETIK, или Народ в буквальном смысле (Оратория в пяти частях с прологом и эпилогом) // Новое литературное обозрение. – М., 2006. – № 82 (6). – С. 183–242.
- Зорин Л. Гости. Драма в трех действиях // Театр. – М., 1954. – № 2. – С. 3–45.
- Зорин Л. Гости // Оттепель. 1953–1956: Страницы русской советской литературы / Сост. С.И. Чупринин. – М.: Моск. рабочий, 1989. – С. 61–119.
- Как снимали фильм «Сказание о земле Сибирской». – 2014. – Режим доступа: <http://1001material.ru/26937.html> (Дата посещения: 26.03.2016.)
- Касьянова Л. Серебряная свадьба // Советский экран. – М., 1959. – № 17. – С. 16.
- Кузнецов А. Продолжение легенды // Юность. – М., 1957. – № 7. – С. 6–59.
- Кузнецов А. Продолжение легенды. Повесть и рассказы. – Новосибирск: Западно-Сибирское книжное изд-во, 1967. – 344 с.
- Козинцев Г. Записи из рабочих тетрадей, 1940–1973 // Козинцев Г.М. Собрание сочинений: в 5 т. – Ленинград: «Искусство», 1984. – Т. 4. – С. 333–549.
- Летопись российского кино, 1946–1965: Науч. монография / Ответ. ред. А.С. Дерябин. – М.: Канон+: РООИ «Реабилитация», 2010. – 694 с.
- Оширов А. Школьники Новой Уды ездили в Москву по приглашению Иосифа Сталина // Копейка. – Иркутск, 2014. – № 12, 2 апреля. – Режим доступа: <http://baikal-info.ru/shkolniki-novoy-udy-ezdili-v-moskvu-po-priglasheniyu-iosifastalina> (Дата посещения: 26.03.2016.)
- Сибирское отделение Российской академии наук: создание (1957–1961 годы): Сб. документов / Сост. Е.Г. Водичев, И.С. Кузнецов, Л.И. Пыстина, Ю.И. Узбекова. – Новосибирск: Nonпарель, 2007. – 376 с.
- Твардовский А. За далью – даль. – Петрозаводск: «Карелия», 1973. – 143 с.

**Р.В. Евстифеев, И.В. Задорин,
П.Л. Крупкин, С.Д. Лебедев***

ГОРОДСКИЕ ЛОКАЛЬНЫЕ ИДЕНТИЧНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЛИДАРИЗАЦИИ

Аннотация. В статье представлены результаты изучения локальных идентичностей в трех российских городах. Применение качественных и количественных методов исследования позволило авторам зафиксировать основные элементы городской локальной идентичности, изучить взаимосвязь между идентичностью и склонностью к солидаризации.

Ключевые слова: социальная идентичность; солидарность; социальный капитал; социальные институты.

* **Евстифеев Роман Владимирович**, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник кафедры менеджмента Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Владимир), e-mail: roman_66@list.ru; **Задорин Игорь Вениаминович**, генеральный директор группы ЦИРКОН (Москва), e-mail: Zadorin@zircon.ru; **Крупкин Павел Ливерьевич**, кандидат физико-математических наук, научный руководитель Центра изучения современности (Москва), e-mail: kroopkin@mail.ru; **Лебедев Сергей Дмитриевич**, кандидат социологических наук, профессор кафедры социологии и работы с молодежью Института управления НИУ «Белгородский государственный университет» (Белгород), e-mail: serg_ka2001-dar@mail.ru

Evstifeev Roman, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Vladimir branch (Vladimir, Russia), e-mail: roman_66@list.ru; **Zadorin Igor**, Zircon Research group (Moscow, Russia), e-mail: Zadorin@zircon.ru; **Krupkin Pavel**, Centre for Modernity Studies (Moscow, Russia), e-mail: kroopkin@mail.ru; **Lebedev Sergey**, Belgorod National Research University, Institute of Management (Belgorod, Russia), e-mail: serg_ka2001-dar@mail.ru

R.V. Evstifeev, I.V. Zadorin, P.L. Krupkin, S.D. Lebedev
Urban local identities and a potential of political solidarity

Abstract. The article presents the results of the study of local identities in three Russian cities. The authors describe the essential elements of the local identities and examine the relationship between identity and a tendency for solidarity using qualitative and quantitative methods.

Keywords: social identity; solidarity; social capital; social institutions.

Местные сообщества, как первичный элемент социума, обоснованно привлекают внимание ученых. Именно в местных сообществах происходит становление социальных взаимосвязей, формируются основы социальных практик и институтов.

Изучение местных сообществ и их основных характеристик является актуальной задачей для различных социальных наук. Это, одной стороны, позволяет исследовать объект с разнообразных методологических позиций, но, с другой стороны, порождает проблему рассогласованности теоретических установок исследователей и полученных результатов.

Наиболее востребованными при исследовании местных сообществ, на наш взгляд, являются три пересекающиеся друг с другом теоретических подхода.

1. Институционализм (включая неоинституциональные направления), настаивающий на определяющей роли устойчивых социальных связей и практик в развитии местных сообществ [Олсон, 1995; Остром, 2010; Норт, 2011].

2. Теории социального капитала, разрабатываемые в пространстве экономико-социологических идей, обращающих главное внимание на уровень доверия между членами сообщества и использование этого доверия для снижения издержек в процессе интеракций [Бурдье, 1993; Патнэм, 1996; Коулмэн, 2001; Фукуяма, 2006].

3. Теории социальной идентичности, получившие изначальное распространение в русле психологии и социальной психологии, а сегодня активно разрабатываемые также в социологии и политической науке, объясняющие развитие общества наличием особых социально-психологических характеристик, объединяющих и связывающих членов сообщества [Хантингтон, 2004; Anderson, 2010; Lawler, 2014].

Нетрудно заметить, что все подходы связывает признание важной роли символической сферы в развитии общества. Однако попытки соединения данных подходов в теоретических и эмпирических исследованиях пока не привели к созданию единой устой-

чивой теоретической модели. Более того, такие попытки часто приводят к существенным противоречиям. Исследователи весьма по-разному рассматривают роль социальных институтов, социального капитала, идентичности и их иерархию, что не может не влиять на результаты исследований.

Следует отметить, что, несмотря на «лавинообразный поток научных публикаций российских исследователей, в названии которых встречается слово “идентичность”» [Идентичность как предмет политического анализа, 2011, с. 29; Политическая идентичность... 2011; 2012], а также широкую распространенность в российской науке концепций социальных институтов и социального капитала, пока нельзя говорить о существовании достаточного корпуса теоретических обобщений, эмпирических исследований и описаний местных сообществ и символической сферы.

Подход к исследованию городских сообществ, представленный в данной статье, основан на объединении указанных трех подходов вокруг понятия «*локальная коллективная идентичность*».

Согласно одной из признанных в институциональном обществоведении теорий, качество социальных институтов зависит от соотношения активности двух типов сообществ: «замкнутых» (bonding), т.е. организованных по типу «мафий / кланов», с высоким порогом включения в сети доверия людей «со стороны», и «открытых» (bridging) – таких, которые обеспечивают априорное доверие к незнакомцам [Полищук, 2012, с. 53]. Исследования показывают, что постсоветская Россия отличается от других европейских стран существенным дефицитом «открытости в доверии», что помимо прочего тормозит развитие социальной активности и становление гражданского общества [Белянин, 2010, с. 16]. Поэтому на сегодняшний день крайне актуально изучение различных подходов к повышению уровня доверия в российском обществе и солидарности в местных (локальных) сообществах.

Сообщества самоорганизуются разными способами. Одним из механизмов солидаризации является механизм социальных идентичностей (social identity) индивидов [Tajfel, 1986, p. 7–24]. В рамках данного исследования понятие «социальная идентичность» было сформулировано следующим образом: социальная идентичность – это психосоциальный комплекс человека, задающий эмоционально важное для него самоотнесение к какой-либо группе / общности, а также определяющий правила поведения людей в этой группе, правила приема людей в группу и исключения их из нее, критерии различения «свой / чужой» для данной

группы [Крупкин, 2010, с. 122]. Каждый индивид имеет набор социальных идентичностей, «завязанных» на разные сообщества. Обычно к ним относятся: семья, расширенная семья (родня), круг друзей, коллеги по обеспечивающему сообществу (трудовому коллективу), профессиональные ассоциации, соседская община, территориальные (локальные и региональные) общности, религиозная община и конфессия, политическая партия, этнос, нация и другие важные для индивида сообщества и социальные группы.

Авторский подход в рамках данной статьи установки может быть сформулирован следующим образом.

1. Для городских сообществ характерно наличие коллективных локальных (городских) идентичностей.

2. Коллективные городские идентичности имеют общие базовые структурные элементы, которые наполняются различным содержанием и участвуют в формировании социальных институтов.

3. Структурные элементы городской идентичности и особенности их наполнения в конкретных городских сообществах являются основой формирования и накопления социального капитала через развитие доверия и солидарности членов сообщества.

Таким образом, на уровне гипотезы взаимоотношения социального капитала, социальных институтов и локальной идентичности рассматривались авторами в виде иерархии, центральное место в которой занимает локальная идентичность, а социальные институты и социальный капитал формируются на ее основе.

На базе указанных методологических установок проведено исследование городских локальных идентичностей в городах Смоленске, Владимире и Ярославле. При реализации проекта использованы средства государственной поддержки, полученные в качестве *гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 17.01.2014 № 11–рп и на основе конкурса, проведенного ИСЭПИ.*

Методология исследования

Общая цель проекта – выявление и описание спектра локальных (городских) коллективных идентичностей трех российских городов, а также накопление эмпирического материала для развития языка описания такого социального объекта, как «локальная коллективная идентичность». Исследование направлено на решение следующих задач:

- подтвердить существование городских идентичностей;
- описать городские идентичности нескольких городов, сделав это, с одной стороны, единообразно, с другой – полно;
- выявить связь характеристик городской идентичности с показателями солидарности горожан, их социальной спайки.

В соответствии с целями, установками и гипотезой исследования его методологическая стратегия построена на сочетании качественных и количественных методов.

Качественный этап исследования основан на проведении пяти дискуссионных фокус-групп в каждом из городов с основными социальными категориями горожан:

- 1) гуманитарная интеллигенция – работники культуры, писатели, краеведы, библиотекари, преподаватели гуманитарных дисциплин в вузах;
- 2) интеллигенция социальной сферы – учителя, врачи;
- 3) инженерно-техническая интеллигенция – инженерные работники, руководители цехов и подразделений промышленных предприятий;
- 4) предприниматели – представители малого и среднего бизнеса;
- 5) публичные лидеры общественного мнения – политики, популярные журналисты.

В ходе фокус-групповых дискуссий (сентябрь-октябрь 2014 г.) обсуждался широкий круг вопросов, включающий вопросы уникальности города, объектов гордости горожан, символов города, выдающихся личностей, отличительных черт жителей города и т.д.

По итогам фокус-групповых дискуссий был сформирован опросник для количественного этапа исследования. Основой количественной части стал массовый опрос населения в каждом из городов с выборкой не менее 600 человек (общий объем выборки – 1800 респондентов). Опрос проводился в ноябре-декабре 2014 г. Выборочная совокупность репрезентировала население каждого из трех городов по полу, возрасту и району проживания. Опрос реализовался по месту жительства респондентов (face-to-face). Генеральной совокупностью исследования являлось взрослое население соответствующей территории (18 лет и старше). Для обеспечения репрезентативности опроса использован метод квазислучайной маршрутной выборки, при котором интервьюер опрашивает респондентов в домохозяйствах (квартирах, домах), отбираемых в соответствии со специально построенным маршрутом.

Изначальная установка была скорректирована после проведения дискуссионных фокус-групп как в целом, так и по каждому из исследуемых городов. В результате изучение локальной идентичности в ходе массовых опросов строилось вокруг следующих базовых элементов:

1) представления о локальной географии (средне- и крупномасштабной), где находится город;

2) значимые места города (символический центр и пр.);

3) символические ценности (предметы гордости, значимые исторические события);

4) пантеон героев – реальных и мифических (знаменитые и почетные горожане);

5) мифы самостояния (главные представления о городе и горожанах);

6) представления о структуре городского сообщества: ядро («элита»), страты, сегменты, границы, дифференциация «свой – чужой»;

7) ритуалы воспроизводства идентичности (общие праздники, регулярные мероприятия).

Методической основой социологического измерения являлся вопросник, содержащий три ключевых блока вопросов: 1) показатели социального самочувствия горожан, 2) блок, тестирующий локальную идентичность респондента по семи указанным компонентам и 3) блок оценки склонности респондента к солидаризации.

Результаты исследования представлены в виде трех основных линий, соответствующих вышеуказанным блокам. Мы также попробуем оценить взаимосвязь между этими линиями, обратив особое внимание на потенциал солидаризации в исследованных городах.

Уровень социального самочувствия во Владимире, Смоленске и Ярославле

Уровень социального самочувствия населения трех городов измерялся с использованием традиционных показателей: социальная адаптация (удовлетворенность текущей жизнью), социальный оптимизм (ожидания в отношении ближайшего будущего), самооценка материального положения и потребительского статуса семьи.

По итогам опроса можно констатировать, что во всех трех исследованных городах число жителей, декларирующих удовлетво-

ренность своей нынешней жизнью, превышают число недовольных. При этом между городами имеются значительные расхождения по указанному параметру. Во Владимире удовлетворенность текущей жизнью выразили 78% участников опроса, в то время как доля недовольных составила 21%. А вот в Смоленске доля социально адаптированных горожан составила 61% (против 29 неадаптированных), в Ярославле – соответственно 68 и 31%.

По уровню социального оптимизма, как и в случае с социальной адаптацией, наиболее благоприятными оказались оценки жителей Владимира: доли тех, кто ожидает ухудшения и улучшения жизни своей семьи, оказались примерно равными (26 и 28% соответственно). Совокупная доля респондентов, прогнозирующих улучшение ситуации или сохранение статус-кво (группа «не ожидающих ухудшения»), составила 66% (почти 2/3 населения города).

В Смоленске и Ярославле пессимисты преобладают над оптимистами: в Смоленске эти группы представлены цифрами 32 и 20%; в Ярославле соответствующие значения составили 24 и 15%. Если сравнить совокупные доли «не ожидающих ухудшения» жизни (т.е. оптимистов и тех, кто считает, что все останется «так же, как и сейчас»), то в Ярославле этот показатель на 5% меньше, чем во Владимире (60%; в этом городе, кстати, доля прогнозирующих сохранение статус-кво наиболее высока – 45%), а в Смоленске он составил всего 51%, т.е. является наиболее низким (т.е. самым пессимистическим).

Во всех трех городах наиболее объемными оказались категории респондентов, оценивших свое материальное положение как «среднее»; эти доли довольно близки – 63% во Владимире, 64 – в Смоленске и 70% в Ярославле.

Однако в распределении позитивных («хорошее и очень хорошее» материальное положение) и негативных («плохое и очень плохое») оценок различия довольно существенны. Сравнительно более благоприятно это распределение во Владимире, где позитивные оценки превышают негативные более чем в полтора раза (23% и 14% соответственно). В Смоленске доли жителей, оценивших свое материальное положение как «хорошее» и «плохое», очень близки – по 18%, т.е. по сравнению с Владимиром здесь меньше позитивных и больше негативных самооценок. Еще более существенны различия в оценках между населением Владимира и Ярославля. В Ярославле наблюдается превышение негативных оценок над позитивными, причем доля респондентов, считающих материальное положение своей семьи «хорошим», вдвое ниже

доли тех, кто считает его «плохим» (10 и 20%, соответственно). То есть из трех городов исследования в Ярославле самооценки материального положения семьи наиболее низкие.

В пространстве предложенных потребительских статусов большинство жителей всех трех городов выбрали среднюю альтернативу *«Денег хватает на продукты и на одежду, но покупка вещей длительного пользования является для нас затруднительной»* (52–58%). Наиболее неблагоприятны оценки жителей Ярославля; в этом городе самая высокая доля респондентов, которые отнесли себя к самым «бедным» категориям (22% респондентов), в то время как к категориям с высоким потребительским статусом отнесли себя чуть более 18% жителей.

Наиболее благоприятными оказались оценки жителей Смоленска: здесь выбор в пользу высоких потребительских статусов встречался вдвое чаще, чем в Ярославле (37%), а доля наиболее низкостатусных категорий составила лишь 9%. Показатели, полученные во Владимире, в целом ниже, чем в Смоленске, но выше, чем в Ярославле. Здесь, как и в Смоленске, доли респондентов с высокими и низкими самооценками покупательной способности составляют (соответственно 25% и 17%), но превышение первых над вторыми менее значительно.

Таким образом, опросы демонстрируют в целом довольно позитивные самооценки материального положения населения. При этом по совокупности показателей наиболее высоки самооценки жителей Владимира, – они довольно близки к оценкам жителей российских областных центров в целом. Смоленяне наиболее пессимистичны относительно ближайшего будущего, а ярославцы, в свою очередь, наиболее критичны в оценке своего материального положения.

В оценках положения дел также наблюдается дифференциация. Негативно ситуацию в своем городе оценили лишь 14% владимирцев, доля позитивных оценок почти втрое выше (39%), относительно большинство респондентов выбрали среднюю альтернативу: *«отчасти доволен, отчасти нет»*. В Смоленске же и Ярославле, напротив, перевес – хотя и небольшой – недовольных над в той или иной степени удовлетворенными.

Таким образом, из всех трех городов, только во Владимире фиксируются как сравнительно высокие оценки социального самочувствия жителей, так и более высокий уровень удовлетворенности положением дел в городе.

Городские локальные идентичности

Изучение городской локальной идентичности, предполагающей наличие воображаемой связи с городом / городским сообществом, логично начать со степени «укорененности» жителей, в частности, длительности проживания в городе индивида и его семьи, его стремления уехать или остаться в городе.

Результаты опроса показали, что большинство жителей во всех трех городах являются коренными жителями, т.е. родились в них. При этом ниже всего доля коренных жителей во Владимире (57%), в то время как Смоленск и Ярославль являются «родным городом» для более чем 2/3 участников опросов (68 и 67% соответственно).

Учитывая другие характеристики укорененности, прежде всего такие как срок проживания в городе, можно сделать вывод, что большинство жителей исследованных городов являются коренными жителями как минимум во втором поколении.

Интересным и важным с точки зрения оценки самооощущения связи с городским сообществом или его отдельными структурными элементами является также представление о перспективах дальнейшего проживания в городе, выраженное в том числе в декларируемом стремлении сменить место жительства. В каждом из трех городов существенное большинство жителей (более 70%) не стремятся сменить место жительства. Вместе с тем в каждом городе доля тех, кто в принципе хотел бы уехать, составила 17–20%.

Интересным индикатором восприятия города является также декларируемое желание респондента, чтобы в городе остались жить его дети и внуки. О своем желании, чтобы дети и внуки сменили место жительства, заявили лишь 11–13% респондентов, еще 9–12% считают, что решение должны принять сами дети и внуки.

Наряду с вопросами, касающимися длительности проживания в городе и намерений сменить место жительства, в анкету был включен вопрос о территориальной идентичности. Респондентам предлагалось определить, *жителем какой территориальной единицы (от города проживания до планеты Земля) они ощущают себя в первую очередь*.

Как оказалось, во всех городах существенное большинство ответов свелось к двум альтернативам – «страна (Россия)» и «город проживания»; в совокупности они набрали от 80 (в Смоленске) до 90% (в Ярославле). Ни один из других предложенных вариантов не набрал и 10% голосов, за исключением варианта «жителем своего региона, области» во Владимире (12%).

Опросы, таким образом, демонстрируют, с одной стороны, высокую долю коренного населения в составе жителей всех трех городов, с другой – высокий уровень декларируемых намерений остаться в своем городе, распространяющийся, хоть и в меньшей степени, и на следующее поколение (детей и внуков).

Результаты исследования показали, что в актуальном самосознании горожан проявлены практически все основные элементы локальной идентичности – с высоким уровнем репрезентации большинства из них. В целом локальная городская идентичность присутствует во всех трех городах. При этом в большинстве случаев жители не только осознают свою идентичность, но и придают ей большое субъективное значение.

В то же время исследование выявило некоторый дефицит выбранного набора для отражения таких культурно-антропологических характеристик генеральной совокупности, как диалект, лексические особенности речи, говор – фонетические особенности речи; манера стильно одеваться. В частности, для смолян и в несколько меньшей степени для ярославцев данные феномены оказались наполненными «смыслом значимости», они обнаружились как источник эмпатии, внутренней привязанности уроженцев к городу. Данный факт требует дополнения списка элементов локальной идентичности пунктом «этнографические особенности жителей города».

Практика исследования показала также, что элементы «символические ценности локальной идентичности» и «мифы самостояния / гордости собой» лучше переименовать в «представления горожан о городе» и «представления горожан о себе».

Соответственно, апостериорный набор элементов для описания локальной городской идентичности можно представить следующим образом:

- значимые места (включая символический центр);
- представления о географии (локальной, средне- и крупномасштабной);
- пантеон героев – реальных и мифических;
- представления горожан о городе;
- представления горожан о себе;
- представления о структуре сообщества: ядро («элита»), границы, составляющие (страты, сегменты);
- ритуалы воспроизводства идентичности;
- этнографические особенности жителей города.

В целом жители каждого из трех городов ощущают себя довольно-таки гомогенным сообществом; субидентичности, обу-

словленные внутригородским территориальным и социально-профессиональным делением, выражены слабо. На периферию своего сообщества горожане помещают небольшие группы «иных» (приезжие, гастарбайтеры, люди ярко выраженной другой культуры – религиозной, этнонациональной и т.д.).

Выделенная и описанная городская идентичность не является субъектной – это, скорее, культурная рамочная идентичность с четко выделяемыми культурными реперами, общими для всех жителей каждого из обследованных городов. Это прежде всего преобладание досуговой и демонстрационно-символической функциональных ниш, отводимых ценностям и представлениям локальной идентичности в повседневной жизни. Элементы идентичности, связанные с современностью, с ритуалами воспроизводства идентичности и представлениями о структуре сообщества и его границах, в большинстве случаев выражены гораздо слабее, и разброс мнений здесь более существенен. Во всех трех городах отмечается тяготение коллективных представлений к досоветской истории, а в случае Владимира – даже к домонгольской (доимперской) Руси. Это проявляется в том числе в выборе значимых событий и главных городских «героев».

Локальные идентичности и уровень доверия

Однако важно не только то, что удалось зафиксировать, но и то, что не было обнаружено.

Во-первых, в исследовании не удалось зафиксировать большого значения символов и ритуалов, связанных с советской эпохой. Возможно, это связано с особенностями исследовательской оптики и (или) особой «углубленностью» советского прошлого в практики и представления горожан.

Во-вторых, значимым можно считать также почти полное отсутствие упоминания делиберативных практик, т.е. институционализированных механизмов взаимодействия внутри сообществ, не связанных с властными взаимодействиями.

В-третьих, не удалось зафиксировать и механизмы формирования репутаций в местных сообществах. Вообще, вопрос о «лучших людях» вызывал видимые затруднения в процессе дискуссий в фокус-группах и порождал большой разброс мнений при проведении массового опроса.

Представляется, что обнаруженные лакуны, особенно вторая и третья, могут быть тесно связаны с уровнем доверия в городских

сообществах. Примерно половина жителей в каждом из городов выразили уверенность, что в нашей стране среди людей больше разобщенности и несогласия. Во всех трех городах доли жителей, считающих, что в отношениях с людьми следует быть осторожными, вдвое выше доли тех, кто уверен, что большинству людей можно доверять.

Особенно впечатляющими выглядят результаты опроса в Смоленске, где представления населения о разобщенности в российском обществе откровенно преобладают над противоположными: лишь 27% респондентов считают, что в стране наличествует сплоченность, в то время как 54% – т.е. вдвое больше – заявляли об отсутствии таковой. В Ярославле перевес пессимистичных оценок не столь велик (52% против 40), а во Владимире противоположные оценки и вовсе разделились в равных долях (по 47%), т.е. ни одна из позиций не преобладает.

В то же время стоит отметить, что в оценке ближнего окружения респонденты более оптимистичны. Значимое большинство жителей каждого из трех городов (от 69% в Смоленске до 74% во Владимире и Ярославле) выразили мнение, что среди их близкого окружения преобладают согласие и сплоченность. В анкете не уточнялось, кто подразумевается под «людьми, окружающими лично вас», но очевидно, что респонденты имели в виду прежде всего членов семьи, друзей и коллег, что делает полученные результаты вполне понятными.

Весьма показательным представляется распределение ответов на вопрос о готовности к объединению с другими людьми для совместных действий. Несмотря на общую негативную оценку уровня доверия в обществе, во всех трех городах большинство жителей отнесли себя к группе людей, готовых объединяться с другими. Правда, это «большинство» не одинаково: о готовности к объединению заявили $\frac{3}{4}$ участников опросов во Владимире и Ярославле. Жители Смоленска оказались склонны к консолидации в гораздо меньшей степени: такую готовность выразили немногим более половины респондентов (57%), в то время как 28% жителей сообщили о неготовности к объединению с другими.

Проведенный анализ показывает, что наибольшую склонность к солидарности демонстрируют те горожане, которые удовлетворены своей жизнью, положением дел в городе, оценивают свое экономическое положение как среднее или выше среднего и склонны доверять большинству людей. Вместе с тем склонность респондентов к солидарности сложно коррелирует с представле-

ниями об основных элементах локальной идентичности, в некоторых случаях будучи положительной (представления горожан о самих себе, о «лучших людях» города), а в других вопросах нулевой или отрицательной (ритуалы единения – праздники, исторические события, исторические персоны).

Заключение

Полученные в ходе исследования результаты можно было бы интерпретировать по нескольким направлениям.

Во-первых, очевидно, что городские локальные идентичности представляют собой сложный социальный феномен, теоретическое обоснование которого, на наш взгляд, разработано пока явно недостаточно и для изучения которого необходимо применять комплексные методы из инструментария различных наук – философии, социологии, политологии, психологии и истории.

Во-вторых, взаимосвязь и четкую иерархию идентичности, социального капитала и социальных институтов по итогам исследования выявить не удалось. Возможно, взаимодействие данных категорий происходит на более глубоком уровне и требует дальнейших исследований.

В-третьих, описанные локальные идентичности не дают оснований для оптимистичной оценки потенциала политической солидарности в изученных городах. Исследователям не удалось обнаружить значимой корреляции между элементами городских локальных идентичностей и склонностью жителей к солидаризации. Основываясь на данных, лежащих за рамками исследования, можно лишь предположить, что описанные элементы городских локальных идентичностей являются потенциальными линиями, по которым возможно будут развиваться солидаристские тенденции в городских сообществах.

И, наконец, сами механизмы солидаризации сообщества имеют более сложную природу, нежели предполагалось изначально. Опыт исследования показал, что помимо элементов локальной городской идентичности и уровня доверия внутри сообщества необходимо принимать во внимание другие важные параметры, связанные, в частности, с характером организации сообщества, доминирующими представлениями о власти, с распределением власти в городе, т.е. с политическим устройством городского пространства в целом.

Литература

- Белянин А.В., Зинченко В.П. Доверие в экономике и общественной жизни. – М.: Фонд «Либеральная миссия, 2010. – 164 с.
- Бурдые П. Социология политики. – М.: Socio-Logos, 1991. – 336 с.
- Идентичность как предмет политического анализа: Сб. ст. по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции (ИМЭМО РАН, 21–22 октября 2010 г.) / под ред. И.С. Семененко, Л.А. Фадеевой, В.В. Лапкина, П.В. Панова. – М., ИМЭМО РАН, 2011. – 299 с.
- Колмэн Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. – М., 2001. – № 3. – С. 122–139.
- Крупкин П.Л. Россия и Современность: Проблемы совмещения: опыт рационального осмысления. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 568 с.
- Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. – М.: Изд-во Инта Гайдара, 2011. – 480 с.
- Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп. – М.: ФЭИ, 1995. – 174 с.
- Остром Э. Управляя общим: эволюция институтов коллективной деятельности. – М.: ИРИСЭН: Мысль, 2010. – 447 с.
- Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии. – М.: Ad Marginem, 1996. – 288 с.
- Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – Т. 1: Идентичность как категория политической науки: словарь терминов и понятий / Под ред. И.С. Семененко. – 208 с.
- Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – Т. 2: Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке / под ред. И.С. Семененко. – 471 с.
- Полищук Л., Меняшев Р. Экономическое значение социального капитала // Вопросы экономики. – М., 2012. – № 12. – С. 46–65.
- Фукуяма Ф. Доверие. – М.: Хранитель, 2006. – 248 с.
- Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. – М.: АСТ: Транзиткнига, 2004. – 640 с.
- Anderson M. Community identity and political behavior. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2010. – 242 p.
- Lawler S. Identity. Sociological perspectives. – Cambridge, UK; Malden, MA: Polity press, 2014. – 210 p.
- Tajfel H., Turner J.C. The social identity theory of intergroup behavior // Psychology of intergroup relations. – Chicago: Chicago univ. press, 1986. – P. 7–24.

ПОЛИТИКА КАК ПРОИЗВОДСТВО СМЫСЛОВ

Д.В. Березняков, С.В. Козлов *

«В УКРАИНСКОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ»: СИМВОЛИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ В УСЛОВИЯХ КОЛЛАПСА УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА

Аннотация. В статье на материале публичных выступлений президента Украины П. Порошенко проанализированы некоторые базовые идеологемы, задающие общие параметры, позиционирующие страну в политико-географическом пространстве. Авторы показывают, что ключевыми значимыми Другими являются Европа и Россия, населяющиеся соответственно позитивным и негативным значением.

Ключевые слова: Европа; Россия; Украина; символическая политика.

D.V. Bereznyakov, S.V. Kozlov

**In the «Ukrainian frame of reference»: Symbolic geography
in the context of a collapse of the Ukrainian state**

Abstract. The article examines public speeches of Ukrainian president Petro Poroshenko to identify certain basic ideological clichés, which set general parameters

* **Березняков Дмитрий Владимирович** – кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, e-mail: bereznyakov@ngs.ru;

Козлов Сергей Васильевич – кандидат исторических наук, доцент, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, e-mail: feld@ngs.ru

Bereznyakov Dmitri, Siberian institute of management – Siberian branch of the Russian presidential academy of national economy and public administration (Novosibirsk, Russia), e-mail: bereznyakov@ngs.ru; **Kozlov Sergei**, Siberian institute of management – Siberian branch of the Russian presidential academy of national economy and public administration (Novosibirsk, Russia), e-mail: feld@ngs.ru

for positioning the country in the politico-geographic space. The authors show that Europe and Russia appear as meaningful «Others» respectively endowed with positive and negative meanings.

Keywords: Europe; Russia; Ukraine; symbolic politics.

Одной из важнейших задач символической политики является определение / переопределение границ и поддержание идентичности политических сообществ. Представления о том, что эти границы и идентичности являются стабильными символическими конструкциями, являются своеобразной иллюзией наблюдателя, считающего, что слова отображают вечные и неизменные денотаты. Случаи распада государств и эрозии символических границ макрополитических сообществ с особой очевидностью показывают, что «власть называть» или, говоря словами П. Бурдьё [см.: Бурдьё, 2007], навязывать легитимное видение социального мира, является важнейшим ресурсом того, что мы называем «символической политикой».

Очевидно, что различные акторы обладают в поле символической политики разными ресурсами и статусами. Доминантным актором здесь, безусловно, является лидер страны, который персонализирует символический центр нации-государства. Именно он задает общее стратегическое видение места страны в символическом пространстве и направления ее движения. Украинский исследователь В. Кириченко отмечает, что основными целями производства главами государств текстов, предназначенных для публичного обращения к различным аудиториям, являются:

– конструирование новых и воспроизводство сложившихся идентичностей как внутреннего пространства государства, так и внешнего мира, представляемого в качестве чужого или «не-нашего»;

– легитимация сложившихся властных отношений через апелляцию к здравому смыслу с его дальнейшим использованием для реализации собственных задач;

– информирование и воздействие на группы потребителей текстов [см.: Кириченко, 2008, с. 252].

Вместе с тем главы государств, как правило, являются не столько авторами этих текстов, сколько актерами, озвучивающим результаты чаще всего коллективного творчества обслуживающих власть профессиональных спичрайтеров и идеологов.

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы выявить особенности конструирования пространства действующим украинским президентом Петром Порошенко в условиях фактического коллапса

украинского государства. Для осуществления названной цели были проанализированы все тексты публичных выступлений и обращений П. Порошенко, содержащиеся на официальном сайте президента Украины с момента вступления П. Порошенко в должность в июне 2014 г. и до августа 2015 г. включительно. Всего было проанализировано 99 текстов: 79 из них обращены к внутренней аудитории (50 представляют собой обращения к украинскому народу по поводу тех или иных событий, 29 – выступления на разного рода мероприятиях), 20 – к зарубежной аудитории. Несмотря на то что адресаты обращений были различными, исследованный нами корпус текстов можно рассматривать как определенное смысловое единство, которое репрезентирует основные идеологемы, востребованные в актуальном для Украины политическом контексте.

В свою очередь сам контекст характеризуется политической дезорганизацией, эскалацией насилия и растущей зависимостью украинского государства от внешних сил. В этих условиях роль президента в качестве спикера, говорящего от лица государства, нуждается в постоянной актуализации, поскольку в институциональном плане его власть слаба и на региональном уровне постоянно оспаривается различными акторами (в первую очередь, представителями украинского олигархата).

Обоснование самостоятельности и суверенности всегда предполагает позиционирование по отношению к другим субъектам, обладающим властью. В случае Украины в качестве таковых выступают «Европа» и «Россия». Демонстрация суверенитета предполагает наличие «самостоятельной» точки зрения того, кто говорит от имени государства. Говоря словами самого П. Порошенко, необходимо *«то, что происходит на украинской земле, оценивать исключительно в украинской системе координат, а не под влиянием внешних центров»* [Порошенко, 2014 г].

Европа как нормативный образец

Ключевым означающим в дискурсе Порошенко выступают Европа и Европейский союз как ее политическая ипостась. Европа является символом процветания, основанного на рыночной экономике (*«В отличие от нас страны европейского сообщества построили экономику свободной конкуренции»* [Порошенко, 2014 а]) и демократии (*«Европейская демократия для меня – лучший способ государственного правления, изобретенный человечеством»* [там же]), а Евро-

пейский союз предстает как *«история успеха, эталон успешного государства, проверенная временем модель реформ»* [Порошенко, 2014 с]. Порошенко постоянно подчеркивает, что европейское процветание базируется на ценностном фундаменте: *«Отрицание у недругов Европы вызывают именно ее ценности, которые являются основой существования европейской цивилизации»* [Порошенко, 2014 j].

Столь восторженное отношение к Европе выливается в стремление мерить все происходящее на Украине европейскими стандартами. Порошенко говорит о *«внедрении европейских стандартов жизни»* [Порошенко, 2014 j], о европейских стандартах при проведении избирательной кампании в Верховную Раду (*«Власть обеспечила честную, конкурентную, свободную и прозрачную избирательную кампанию. Она целиком и полностью соответствует европейским стандартам»*) [Порошенко, 2014 к]), о том, *«что именно с европейскими стандартами местного самоуправления мы сверяем нашу концепцию изменений к Конституции в части децентрализации»* [Порошенко, 2015 р].

Однако пространство Европы не является в дискурсе украинского президента целостным и внутренне однородным. Очевидно, что в качестве «настоящего европейского центра» он рассматривает Западную Европу, которая выступает как пространство демократии и рынка, территория успеха, имеющего продолжительную историю. *«Самые успешные страны... создали социальный порядок открытого доступа... Подобный порядок во всей Западной Европе царит уже десятки, а в некоторых [странах] – и сотни лет»* [Порошенко, 2014 j]. Отметим, что в данном случае спичрайтеры Порошенко демонстрируют знание современной интеллектуальной моды, а именно работ неинституционалиста Дугласа Норта и его коллег, и используют их при нормативно-идеологическом обосновании формирования политического курса. По сути речь идет о том, что перед Украиной стоит фундаментальная задача перехода к обществу открытого доступа [см.: Норт, 2011]¹.

С точки зрения Порошенко, ярким примером современного успешного перехода к подобным обществам являются страны Центральной и Восточной Европы, которые, выйдя из-под опеки

¹ Заметим, что подобный подход актуален и для российской ситуации, поскольку многие российские политологи, опирающиеся на неинституциональную парадигму, обосновывают необходимость политической трансформации страны именно в категориях социального порядка открытого доступа.

советской империи, вошли в число процветающих государств лишь в последние десятилетия: *«За эти 25 лет наши ближайшие соседи по Центральной Европе вышли из общей серой советской шинели. Они уже оделись на изысканный европейский манер. Буквально ворвались в число государств с социальным порядком открытого доступа и – соответственно – намного высшим уровнем жизни»* [Порошенко, 2014 j]. Таким образом, речь идет об интеграции бывшей европейской периферии в центральную зону.

Своего рода нормативным образцом подобного рода перехода является Польша. Порошенко не жалеет комплиментарных слов, чтобы подчеркнуть успехи этой страны в процессе интеграции в европейские структуры: *«Польша... стала для нас символом успеха европейского выбора и европейских реформ... Я без преувеличения назвал бы Польшу “европейским экономическим тигром”»* [Порошенко, 2014 p].

Отметим, что Соединенные Штаты Америки фигурируют в качестве значимого Другого Украины существенно реже. США в проанализированных нами текстах Порошенко упомянуты 30 раз, в то время как ЕС – 136. Контент-анализ показывает, что чаще всего США появляются в текстах выступлений украинского президента в качестве партнера Украины наряду с ЕС. Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на очевидную прозападную ориентацию, понятие «Запад» встречается в текстах Порошенко весьма нечасто (в рассмотренных нами речах оно упоминалось 10 раз).

Причиной относительно малой востребованности понятий «США» и «Запад» является то, что они обладают меньшей символической привлекательностью в глазах украинской аудитории. Если «Европа» в украинском публичном дискурсе стабильно наделяется положительным значением, то такие категории, как «США» и «Запад», подобной однозначной трактовки не имеют (прежде всего, в глазах представителей советских поколений и многих жителей Юго-Востока Украины).

Вернуться в Европу

Позиционирование Украины относительно Европы в риторике украинского президента выглядит достаточно неоднозначным.

С одной стороны, Украина – это часть Европы, *«неотъемлемая часть христианской европейской цивилизации»* [Порошенко, 2014 g], а украинцы *«являются европейской нацией – сотворцом*

европейской истории, культуры и духовных идеалов» [Порошенко, 2014 p]. Для подтверждения «европейскости» украинцев П. Порошенко прибегает к различным аргументам, которые в целом подчиняются логике идеологической реификации. Это означает, что украинская нация выступает как вневременная и внеисторическая общность. В качестве исторического аргумента выступают отсылки к истории, в частности украинский президент утверждал, что князь *«Владимир [Святославович] выбрал для нас не только религию, но и политический вектор»* [Порошенко, 2014 j]. Квазиестественный аргумент отсылает к *«самой природе [украинцев] как европейского народа»* (а *«бороться с самой природой – совершенно бессмысленно»*) [Порошенко, 2014 l]. Политическим аргументом выступает выбор, который сделал украинский народ в ходе «революции достоинства»: *«в эти дни украинцы окончательно и бесповоротно подтвердили свой европейский цивилизационный выбор»* [там же]. Этот выбор имеет ценностное оправдание: *«Украина, как европейское государство... имеет одинаковые ценности – верховенство закона и свободы»* [Порошенко, 2014 d].

Однако постулирование нормативно-ценностной сущности украинской нации входит в явное противоречие с описанием текущего институционального порядка. Европейцы по природе, разделяющие ценности демократии, законности и свободы, живут в пространстве коррупции, бюрократического произвола, всевластия олигархов нортовского «естественного государства». Украине только предстоит *«сломать неофеодальную политико-экономическую модель, демонтировать механизм, обогащающий небольшой круг олигархов и коррумпированной бюрократии, которые фактически приватизировали государство и потрошат его, как мясник коровью тушу»* [Порошенко, 2014 j]. Основная ответственность за мифическую «порчу» первоначальной европейской природы Украины возлагается на имперское и советское прошлое, а также на режим В. Януковича.

Фундаментальная задача «возвращения» в Европу предполагает демонтаж наследия порочного прошлого и строительство новой европейской Украины. Поэтому в текстах П. Порошенко часто появляется будущее время: *«Суверенная и соборная Украина станет современной европейской страной – богатой и сильной»* [Порошенко, 2014 f]. Неудивительно в связи с этим, что в выступлениях украинского президента весьма востребованной оказывается метафора пути, *«возвращения Украины к своему естественному, европейскому, состоянию»*, которое *«было желанно многими поколениями»*

[Порошенко, 2014 а]. Украинцы предстают как *«народ, который был оторван от своей великой Родины Европы, и возвращается к ней»* [там же]. И факт принадлежности Украины Европе, и движение к ней предстают как естественные и безальтернативные. Поэтому *«остановить естественное движение украинского экспресса в Европу, чтобы вернуть его обратно – и во времени, и в пространстве»* [Порошенко, 2014 m] невозможно. Таким образом, Европа выступает как воплощение утопии «светлого будущего», в рамках которой Украина предстает *«в качестве полностью интегрированного, экономически динамичного и продуктивного члена европейской семьи народов»* [Порошенко, 2015 j].

Вместе с тем неполнота «европейскости» Украины проявляется в использовании метафоры семьи. Украина выступает то состоявшимся членом европейской семьи (*«протест Евромайдана... доказал миру, что народ Украины принадлежит к Европейской семье»* [Порошенко, 2014 e]), то лишь пребывающей в *«движении к лучшей жизни в семье европейских народов»* [Порошенко, 2015 h].

Поскольку «европейской Украине» только предстоит стать «настоящей Европой», и на данном этапе необходимо оправдать не только болезненный процесс интеграции, но и сохранение доминирующих позиций прежних властных групп, П. Порошенко использует в качестве символа грядущего прорыва к «светлому европейскому будущему» факт подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. *«Бескрайние горизонты и необъятные перспективы открывает Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, потому что она... наш важный первый шаг к обретению будущего членства Украины в Европейском союзе»* [Порошенко, 2015 n].

Обращает на себя внимание, что Порошенко настойчиво подчеркивает суверенность выбора, хотя вступление в ЕС предполагает отказ от значительной доли национального суверенитета: *«Европейский союз будет делать все, чтобы поддержать наш суверенный выбор, защищать нашу украинскую независимость и территориальную целостность»* [Порошенко, 2014 d]. Более того, Порошенко стремится поставить знак равенства между патриотизмом и желанием вступить в ЕС: *«Именно за последний год кардинально возросло количество тех, кто считает себя патриотом Украины. Кто за вступление в Евросоюз. Кто за унитарное государственное устройство. Кто за украинский, как единственный государственный»* [Порошенко, 2014 h]. Подчеркнем, что подобное противоречие между логикой суверенизации и логикой евроинтеграции является

устойчивой характеристикой легитимирующего нарратива постсоветской Украины [см.: Березняков, Козлов, 2015].

Выбор в пользу интеграции с Европейским союзом носит экзистенциальный характер: *«Европейский выбор Украины – это сердце нашего национального идеала. Это выбор, сделанный нашими предками и пророками... Вокруг идеи независимости, свободы, достоинства, правового государства, европейской интеграции объединилась вся Украина и все мировое украинство»* [Порошенко, 2014 а]. Очевиден мифологический подход к обоснованию европейского выбора, поскольку мифы не предполагают никакой рациональной аргументации и конструирования исторически доказательной базы.

«Революция достоинства»: Пересборка «мифа об основании»

В мифологизированной картине перехода от «порочного прошлого» к «светлому будущему» центральное место занимает так называемая «революция достоинства», которая может быть понята как своеобразный политический «ритуал очищения», призванный радикально преобразовать действительность и породить нового макрополитического субъекта – украинскую политическую нацию.

По сути «революция достоинства» выступает в качестве «мифа об основании»¹ «украинской политической нации», знаменующего фазу перерождения воображаемого субъекта из имперско-советского состояния в современное европейское. Характеризуя события зимы 2013–2014 гг., Порошенко говорит: *«Революция достоинства стала первой и, главное, выигранный битвой в войне за нашу независимость»* [Порошенко, 2015 е]. Однако в цепочке событий, символизирующих новизну состояния украинской нации, есть и другие «первые» события, участвующие в пересборке «мифа об основании». Так, например, 17-й саммит Украина – ЕС изо-

¹ «Миф об основании» предполагает рассказ о моменте «начала» некоего сообщества, который открывает перспективу определенного будущего. Подобные мифы конструируют представление о том, что «потом» все будет лучше, а перерожденное сообщество будет избавлено от того, что было неприемлемо в старой системе [см.: Малинова, 2015, с. 32; Schöpflin, 1997, p. 33].

бражается как «первый»: *«Это – первый саммит после подписания Соглашения об ассоциации. Это – первый саммит, который состоялся с учетом всех серьезных вызовов и угроз и нового уровня амбициозности в наших отношениях. Поэтому я имею все основания считать, что это – саммит номер один»* [Порошенко, 2015 i]. Репрезентация всех «постреволюционных» событий пронизана семантикой новизны. Практически во всех сферах счетчик истории обнуляется. Выступая на открытии Международной конференции в поддержку реформ на Украине 28 апреля 2015 г., украинский президент провозгласил, что тендер на частоты 3G *«начинает совершенно новую историю взаимоотношений инвестора с государством»* [Порошенко, 2015 j].

Характерно, что в речах П. Порошенко не упоминаются другие президенты Украины (кроме В. Януковича, персонифицирующего предшествующий период). Подобное символическое «забвение» своих предшественников на посту президента можно рассматривать как один из аспектов переписывания нарратива новейшей истории Украины, в котором бывшие «герои» так и не смогли сделать Украину европейской страной: *«Еще в 90-е годы Украина осуществила попытки воссоздать европейский социальный порядок. Но <...> вместо европейских институтов сформировались их квазиформы под властью союза бюрократии и олигархии. По форме было вроде как в Европе, а смысл оставался совково-криминальным»* [Порошенко, 2015 p]. Отчасти на бывших президентах лежит определенная доля ответственности за то, что *«даже с обретением независимости Украина не смогла окончательно избавиться от наследия тоталитарного прошлого»* [Порошенко, 2014 o]. Иными словами, неудачникам нет места в «новой» истории «украинской политической нации».

П. Порошенко постоянно подчеркивает, что украинская политическая нация окончательно сложилась именно в 2014 г.: *«Мы сплотились в единую украинскую политическую нацию. Мы едины как никогда, а европейская идея проросла и пустила крепкие корни во всех регионах»* [Порошенко, 2015 d]. В акте перерождения происходит стирание этнокультурных, языковых и региональных различий, свойственных прежнему состоянию воображаемого субъекта: *«Украинская политическая нация окончательно утвердилась на всех поприщах – западных и восточных, северных и южных. Она объединила представителей разных этносов и носителей разных языков»* [Порошенко, 2014 h]. Учитывая тот факт, что «европейскость» является имманентной сущностной характери-

стикой «новой» Украины, П. Порошенко использует такой политический неологизм, как «украинско-европейская нация»: *«Тяжелые испытания, одна на всех беда и общие радости, неудачи и победы – все это окончательно сплотило нас в современную украинско-европейскую политическую нацию. Нацию, которая стоит на прочной основе общего и сильного гражданства и патриотизма»* [Порошенко, 2015 1]. Конфликты, которые раздирали Украину в течение всего периода независимости, не отрицаются, а объявляются не просто искусственными, а уже преодоленными: *«Искусственное разделение Украины по географическому, этническому, языковому, конфессиональному признаку, наконец, преодолено, и это разделение уходит в прошлое»* [Порошенко, 2014 n]. Порошенко настаивает на том, что гражданский конфликт в Донбассе может быть прекращен при помощи *«перекрытия границ и вывода иностранных войск с нашей территории. Как только войска будут выведены, никакого конфликта не будет. Его не существует. Он – надуманный»* [Порошенко, 2014 г].

«Миф об основании» предполагает решительный разрыв с неприемлемым прошлым, которое однозначно увязывается с Советским Союзом. *«Соглашение, которое было подписано и скоординировано с Европарламентом, было последним “до свидания” от Украины Советскому Союзу. Мы сказали: “Прощай, Советский Союз”. Это был последний Рубикон, который мы должны преодолеть, и мы никогда уже не вернемся назад к нашему ужасному прошлому...»* [Порошенко, 2014 i].

Несмотря на демонстративную новизну этого образа единой политической нации, в некоторых принципиальных моментах П. Порошенко воспроизводит логику, характерную для украинского идеологического дискурса на протяжении всего постсоветского периода. По мнению украинского историка А. Портнова, к числу ее базовых характеристик можно отнести *«комплекс жертвы* (изображение украинцев автохтонным и миролюбивым народом, который должен постоянно отбивать нападения внешних врагов, являющихся главным препятствием к созданию своего государства); *вынесение конфликта вовне*, в историю взаимоотношений с другими национальными организациями, при одновременном представлении украинцев как монолитной группы с сильными демократическими традициями; *эссенциализация* современных политических и этнических границ Украины с акцентом на соборности – общности судьбы и

устремлений украинцев всех регионов» [Портнов, 2010, с. 158]¹. Наиболее ярко в выступлениях П. Порошенко представлена идея единства украинского народа. Украина «является достаточно единой душой в вопросах соборности, территориального устройства, языка, геополитической ориентации» [Порошенко, 2014 б]. «Граждане Украины были, есть и будут единой семьей» [Порошенко, 2014 j]. Из идеи единства логично вытекает идея привнесения конфликтов: «Все идеи сепаратизма были искусственно навязаны Украине извне. Украина является монолитной» [Порошенко, 2014 с]. Внешним врагом выступает Россия, которая наряду с Европой является ключевым значимым Другим.

Россия как империя-агрессор

Россия наследует Российской империи и Советскому Союзу в роли негативного Другого и вынашивает «имперские планы» [Порошенко, 2015 n], «желает реанимировать советскую империю зла, реабилитировать Сталина, переписать историю» [Порошенко, 2015 m], стремится «уничтожить отдельную большую европейскую нацию» [Порошенко, 2014 j]. Кроме того, Россия – это не только хранитель негативного имперского и советского опыта, но и актуальный агрессор, открыто использующий свою военную мощь против Украины. Описывая Парад Победы в Москве 9 мая 2015 г., Порошенко говорит: «Под предлогом Великой Победы, армия агрессора будет греметь своей смертельной мощью на весь мир. Некоторые из подразделений всего несколько дней назад были в Донецке и появятся на военном параде в Москве» [Порошенко, 2014 n].

Российская агрессия проявляется не только в военной сфере. У нее есть экономическая и идеологическая составляющие. Цель экономической агрессии – «...истоцит Украина – вплоть до полного изнеможения» [Порошенко, 2014 n]. Идеологическую агрессию осуществляют «современные последователи Геббельса, мобилизованные на информационную войну против Украины» [там же]). Все формы агрессии сплетаются в понятие «гибридной войны

¹ Эти выводы сделаны на основе анализа особенностей нарративных схем, представленных в школьных учебниках по истории.

против Украины – военной, информационной, психологической, экономической» [Порошенко, 2015 d].

Впрочем, стремление России ликвидировать украинскую государственность Порошенко находит в российской политике задолго до конфликта в Донбассе. В рамках этой логики он берется утверждать, что еще до Майдана *«наши соседи вместе с пятой колонной внутри Украины уже все решили. И за нас, и без нас. Ускоренными темпами шел процесс полного демонтажа украинской государственности»* [Порошенко, 2014 m]. Украинский президент не жалеет эпитетов для описания планов России по ликвидации украинской государственности: *«Украину опутывали непосильными долгами. Целенаправленно... разрушали Вооруженные Силы Украины, украинскую армию. Спецслужбы уничтожались под управлением иностранных граждан»* [Порошенко, 2014 m].

П. Порошенко стремится максимально дистанцироваться от России: *«Главная разница между Украиной и Россией заключается уже не только и не столько в языке, сколько в разной политической культуре, которая была продемонстрирована во время выборов и во время нашей Революции достоинства»* [Порошенко, 2014 n].

Враг внешний смыкается с врагом внутренним: *«бандиты, террористы и интервенты»* [Порошенко, 2014 l] перечисляются через запятую. Актуальный враг имеет облик *«объединенной дэнээровско-элэнэровской банды и тех, кто за ней стоит, с чьих рук она кормится, кто ее вооружает, строит и вдохновляет на кровавые преступления»* [Порошенко, 2015 a]. Стремление интерпретировать внутренний конфликт как *«происки Москвы»* приводит к появлению понятия *«российско-террористических войск на оккупированных территориях Донбасса и Крыма»* [Порошенко, 2015 g].

Набор «врагов» не исчерпывается ведущей *«гибридную войну»* Россией и ополченцами ДНР и ЛНР, которые стигматизируются как *«нелюди, для которых, кроме обесцененных рублей, нет больше ничего святого»* [Порошенко, 2015 a]. К ним также относится и заседающая в Парламенте *«пятая колонна агрессора»* [Порошенко, 2014 r], и *«коммунистические предатели»* [там же], исполняющие роль послушной марионетки России: *«мы на Майдане год назад боролись не с Януковичем. Он был лишь жестокой и послушной марионеткой»* [Порошенко, 2015 d]. Промосковскими марионетками называются все политические противники. Задача внутренней политики формулируется как *«не допустить реванша*

промосковских политических сил, не дать им сформировать пятую колонну из своих представителей в органах местного самоуправления» [Порошенко, 2015 о].

Украина – фронтир Европы

Определение конфигурации отношений между Украиной, Европой как дружественным Другим и Россией как враждебным Другим является для П. Порошенко непростой задачей. Особенно с учетом того, что официальные лица, выступающие от лица России и Европы, врагами друг друга не считают. Именно поэтому риторические усилия украинского президента, адресованные внешним аудиториям, направлены на то, чтобы представить события на Украине как фактор, определяющий будущее Европы: *«Последние месяцы имели прямое влияние на наше общее европейское будущее. События в Украине формируют новую Европу. И эта новая Европа будет единой или расколотой, стабильной или хрупкой» [Порошенко, 2014 с].*

В выступлениях П. Порошенко проявляется стремление риторически повысить статус конфликта в Донбассе. Порошенко заявляет, что *«на восточных рубежах нашего государства мы защищаем европейскую безопасность, защищаем свободу и демократию» [Порошенко, 2014 р].* Более того, Украина защищает будущее объединенной Европы, которое без Украины будет неполным: *«Именно поэтому сегодня на нашей восточной границе – форпост борьбы за объединенную Европу» [Порошенко, 2014 j].*

Порошенко настаивает, что без Украины евроинтеграционный проект носит принципиально незавершенный характер: *«Но европейская интеграция еще не завершена. Борьба будет продолжаться до того времени, пока восточные границы ЕС не совпадают с границами европейских ценностей» [Порошенко, 2015 k].*

По сути для П. Порошенко Украина – это фронтир, который достраивает Европу в пределах ее символических ценностных границ: *«Послевоенный урок европейской интеграции будет продолжаться до тех пор, пока Украина не интегрируется в европейскую семью. Но теперь будущее Европы испытывается в Украине... Отказ от Украины будет означать отказ от них и отказ от памяти о тех, кто боролся в прошлых войнах за свободы, которыми мы наслаждаемся сегодня» [Порошенко, 2015 k].*

События 2014 г. представляются Порошенко как вызов европейской и общемировой безопасности: *«Вся Европа снова под угрозой. Идеалы свободы и демократии на континенте снова в опасности... ЕС должен выйти за рамки своих нынешних границ с целью повышения своей безопасности. Сегодня угрозы, с которыми сталкивается Европа, похожие на те, против которых сейчас борется Украина»* [Порошенко, 2015 б].

Значимость борьбе Украины придает то обстоятельство, что она отстаивает европейские ценности. *«Моя страна ведет войну против терроризма. Она стоит на передовой борьбы за европейские ценности, такие как свобода, суверенитет и демократия»* [Порошенко, 2015 б].

Отметим, что риторические стратегии, маркирующие Украину как фронт европейцев ценностей, имеют и прагматический компонент. Группы, контролирующие ресурсы государственной власти на Украине, нуждаются в финансовой и военной помощи со стороны Европейского союза и отдельных европейских государств. *«Безусловно, европейское будущее Украины зависит прежде всего от нас самих, самой Украины. Однако... мы нуждаемся в значительной и последовательной поддержке Европейского союза в духе наших отношений ассоциации и интеграции; поддержания политического, экономического, финансового, технического и гуманитарного характера»* [Порошенко, 2015 и]. Порошенко стремится увязать победу над сепаратистами и «российской агрессией» со «светлым будущим» самой Европы. *«Помогите нам в этом – и завтрашняя Европа будет единой, стабильной, морально сильной»* [Порошенко, 2014 с] – обращается он к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы. *«Гибридная война России является прямой угрозой для европейского сообщества, построенной на общих ценностях... Я убежден: если бы Европа стояла вместе с Украиной, Европа была бы непобедимой... если бы Европа стояла вместе с Украиной на защите свободы, достоинства, демократии и жизни без страха, то будущее Европы было бы безопасным и ярким»* [Порошенко, 2015 б], – говорит П. Порошенко своим слушателям во время выступления в Цюрихском университете. И, разумеется, важнейший вопрос – это вопрос о предоставлении Украине военной помощи. *«Вопрос Украины будет открыт, пока сердца мирового сообщества будут закрыты для того, чтобы помочь Украине в военной сфере»* [Порошенко, 2015 с].

Впрочем, если внутренний враг, стигматизируемый как «бандиты» и «террористы», однозначно подлежит уничтожению и

не достоин контактов (хотя на деле они ведутся), то в отношении России может проявиться миссия Украины: *«В один прекрасный день Украина, которая больше не будет частью буферной зоны, а будет полноправным членом ЕС, будет толкать Россию идти в демократических и структурных экономических изменениях и притягивать ее к западному миру»* [Порошенко, 2014 n].

* * *

Если подвести определенный итог проведенного анализа и реконструировать идеологическую логику, которая задает общие рамки конструирования символической географии в публичных выступлениях П. Порошенко, то можно выделить несколько опорных тезисов, являющихся каркасом этой символической конструкции.

1. Украина рассматривается П. Порошенко как изначально европейская страна, которая в дальнейшем была оторвана от Европы. Поэтому актуальная задача современной политики – приобретение страной изначально утраченной европейской идентичности.

2. Сама Европа как позитивный значимый Другой рассматривается как пространство возвращения и одновременно как нормативный образец, задающий базовые параметры институционального порядка и политической культуры.

3. В данной идеологической логике события «революции достоинства» оказываются центральным пунктом для пересборки «мифа об основании»: они задают новый отсчет времени, символизируя отказ от негативного прошлого и приобретение искомой европейской идентичности.

4. Подобная трансформация предполагает позиционирование России как негативного значимого Другого, обладающего имперским статусом и ведущего против Украины откровенно агрессивную политику, в первую очередь в формате «гибридной войны». Соответственно появляются и пророссийские агенты влияния, к числу которых относятся все политические противники вновь учрежденной украинской власти.

5. Промежуточное положение Украины между позитивным и негативным Другими актуализирует идею границы, позволяющей рассматривать страну как своеобразный фронт Европы, препятствующий имперской экспансии России на Запад. Именно этот статус Украины позволяет П. Порошенко легитимировать клиентелистскую внешнеполитическую стратегию Киева в отношении

Европейского союза, связанную с постоянными требованиями от последнего экономической, политической и военной помощи.

В итоге можно сказать, что совокупность этих тезисов укладывается в рамки мифологемы порчи изначально благого (европейского) состояния и его повторного обретения через акт сакрального очищения («Революции достоинства»). Сам Порошенко в данном случае выступает как своего рода отец-основатель новой страны, новой государственности и новой – украинско-европейской – нации, которая, пройдя тяжелейшие испытания, вновь возвращается в европейское цивилизационное пространство.

Литература

- Березняков Д.В., Козлов С.В. Символическая политика постсоветской Украины: конструирование легитимирующего нарратива // Полис: Политические исследования. – М., 2015. – № 4. – С. 34–45.
- Бурдые П. Социология социального пространства / Пер. с фр.; отв. ред. перевода Н.А. Шматко. – М.: Ин-т экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. – 288 с.
- Кириченко В. Концептуализация политического пространства (на примере анализа образа Запада в дискурсе президентов Украины и Беларуси) // Перекрестки. – Вильнюс, 2008. – № 2–4. – С. 251–270.
- Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. – М.: Политическая энциклопедия, 2015. – 207 с.
- Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества / Пер. с англ. Д. Узланера, М. Маркова, Д. Раскова, А. Расковой. – М.: Изд. Института Гайдара, 2011. – 480 с.
- Порошенко П. Промова Президента України під час церемонії навігурації // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2014 а. – 7 червня. – Режим доступа: <http://www.president.gov.ua/news/promova-prezidenta-ukrayini-pid-chas-ceremoniyi-inavguraciyi-32967> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Звернення Президента України Петра Порошенка // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2014 б. – 21 червня. – Режим доступа: <http://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-ukrayini-petra-poroshenka-33048> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Виступ Президента України Петра Порошенка на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2014 с. – 26 червня. – Режим доступа: <http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-petra-poroshenka-na-sesiyi-parlam-33084> (Дата посещения: 10.08.2015.)

- Порошенко П. Виступ Президента на церемонії підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2014 d. – 27 червня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-na-ceremoniyi-pidpisannya-ugodi-pro-asocia-33096> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Звернення Президента України до учасників конференції «Європейський вектор України: вплив на бізнес» // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2014 e. – 3 липня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-ukrayini-do-uchasnikiv-konferenciyi-ye-33133> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Звернення до Українського народу з нагоди 24-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2014 f. – 16 липня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/zvernennya-do-ukrayinskogo-narodu-z-nagodi-24-yi-richnici-pr-33241> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Звернення Президента України з нагоди Дня хрещення Київської Русі // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2014 g. – 28 липня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-ukrayini-z-nagodi-dnya-hreshennya-kiyi-33338> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Виступ Президента України на церемонії урочистого підняття Державного Прапора України // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2014 h. – 23 серпня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-na-ceremoniyi-urochistogo-pidnyat-33519> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Виступ Президента України Петра Порошенка перед повним складом Сенату та Палати Громад Парламенту Канади // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2014 i. – 17 вересня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-petra-poroshenka-pered-povnim-skl-33710> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Виступ Президента України на прес-конференції «Стратегія-2020» // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2014 j. – 25 вересня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-na-pres-konferenciyi-strategiya-2-33757> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Голосуйте за Україну! – Звернення Президента України на передодні виборів до Верховної Ради 26 жовтня // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2014 k. – 25 жовтня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/golosujte-za-ukrayinu-zvernennya-prezidenta-ukrayini-napered-33953> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Звернення Президента України // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2014 l. – 3 листопада. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-ukrayini-33999> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Звернення Президента України з нагоди Дня Гідності та Свободи // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». –

- Київ, 2014 м. – 21 листопада. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-ukrayini-z-nagodi-dnya-gidnosti-ta-svo-34099> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Позачергове послання Президента України до Верховної Ради України // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2014 п. – 27 листопада. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/pozachergove-poslannya-prezidenta-ukrayini-do-verhovnoyi-rad-34118> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Звернення Президента до Українського народу з нагоди Міжнародного дня прав людини // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2014 о. – 10 грудня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-do-ukrayinskogo-narodu-z-nagodi-mizhna-34213> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Виступ Президента на спільному засіданні Сейму та Сенату Республіки Польща // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2014 р. – 17 грудня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-na-spilnomu-zasidanni-sejmu-ta-senatu-resp-34397> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Виступ Президента Петра Порошенка на прес-конференції 29 грудня 2014 року // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2014 q. – 29 грудня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-petra-poroshenka-na-pres-konferenciyi-29-g-34459> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Звернення Президента України // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2015 а. – 13 січня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-ukrayini-34512> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Промова Президента у Цюріхському Університеті // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2015 б. – 20 січня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/promova-prezidenta-u-cyurihskomu-universiteti-34546> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Виступ Президента України Петра Порошенка на Мюнхенській конференції з питань безпеки // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2015 с. – 7 лютого. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-petra-poroshenka-na-myunhenskij-k-34663> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Виступ Президента на церемонії вручення державних нагород членам родин Героїв Небесної Сотні // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2015 d. – 20 лютого. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-na-ceremoniyi-vruchennya-derzhavnih-nagoro-34775> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Виступ Президента України на церемонії вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні на Майдані Незалежності // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2015 е. – 20 лютого. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-na-ceremoniyi-vshannuvannya-pamyat-34782> (Дата посещения: 10.08.2015.)

- Порошенко П. Виступ Президента на урочистостях з нагоди 23-ї річниці створення СБУ // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2015 f. – 25 березня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-na-urochistostyah-z-nagodi-23-yi-richnici-35008> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Виступ Президента під час зустрічі з моряками на фрегаті «Гетьман Сагайдачний» // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2015 g. – 10 квітня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-pid-chas-zustrichi-z-moryakami-na-fregati-35118> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Звернення Президента у зв'язку з Днем Чорнобильської трагедії // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2015 h. – 26 квітня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-ukrayini-do-uchasnikiv-konferenciyi-ye-33133> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Виступ Президента України на пленарному засіданні саміту Україна – ЄС // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2015 i. – 27 квітня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-na-plenarnomu-zasidanni-samitu-uk-35219> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Виступ Президента під час відкриття Міжнародної конференції на підтримку реформ в Україні // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2015 j. – 28 квітня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-pid-chas-vidkrittya-mizhnarodnoyi-konferen-35225> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Виступ Президента України Петра Порошенка на Панельній дискусії «Наслідки Другої світової війни через 70 років» // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2015 k. – 7 травня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-petra-poroshenka-na-panelnij-disk-35264> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Виступ Президента на урочистому засіданні Верховної Ради України, присвяченому 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, місцю та ролі Українського народу у Другій світовій війні // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2015 l. – 8 травня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-na-urochistomu-zasidanni-verhovnoyi-radi-u-35270> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Виступ Президента України на вечорі-реквіємі у зв'язку з Днем боротьби за права кримськотатарського народу та 71-ми роковинами депортації // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2015 m. – 18 травня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-na-vechori-rekviyemi-u-zvyazku-z-35342> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Звернення Президента України у зв'язку зі 100-річчям від початку Першої світової війни // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2015 n. – 1 серпня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-ukrayini-u-zv039yazku-zi-100-richchjam-33367> (Дата посещения: 10.08.2015.)

- Порошенко П. Вступне слово Президента на прес-конференції 5 червня 2015 року // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2015 о. – 5 червня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/vstupne-slovo-prezidenta-na-pres-konferenciyi-5-cherwnya-201-35413> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Виступ Президента України на конвокації у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2015 р. – 28 червня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/vstup-prezidenta-ukrayini-na-konvokaciyi-u-nacionalnomu-uni-35570> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Порошенко П. Виступ Президента України на зустрічі з Всеукраїнською радою церков // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2015 р. – 28 липня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/vstup-prezidenta-ukrayini-na-zustrichi-z-vseukrayinskoyu-ra-35728> (Дата посещения: 10.08.2015.)
- Портнов А.В. Упражнения с историей по-украински. – М.: ОГИ; Полит.ру; Мемориал, 2010. – 224 с.
- Schöpflin G. The functions of myth and a taxonomy of myths // *Myths and nationhood* / Ed. By G. Hosking, G. Schöpflin. – N.Y.: Routledge, 1997. – P. 19–35.

Л.И. Закирова*

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТОРОВ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Аннотация. Статья посвящена деятельности российских негосударственных структур, вовлеченных в формирование имиджа России в США и в российско-американские отношения. Автор проводит параллели деятельности организаций и их эффективности в период «перезагрузки» и на современном этапе взаимного охлаждения отношений. Сегодня коммуникация между государствами автоматически транслируется в область символического взаимодействия, что, в свою очередь, сказывается на принятии политических решений и вносит коррективы в политический процесс. Как государства, так и негосударственные акторы вступают в конкуренцию друг с другом за внимание, лояльность и доверие со стороны целевых аудиторий к производимым ими символам и образам. При этом кризисные явления в отношениях между государствами негативно влияют на деятельность негосударственных структур, снижая их символическое влияние.

Ключевые слова: символическая политика; образ государства; российско-американские отношения; мягкая сила; публичная дипломатия; негосударственные акторы.

* **Закирова Лилия Искандеровна**, аспирантка кафедры политической теории МГИМО МИД России, исполнительный директор по маркетингу и коммуникациям Некоммерческого партнерства развития финансового рынка РТС, e-mail: zakirova.lilia@gmail.com

Zakirova Lilia, Moscow State Institute of International Relations, MFA Russia (Moscow, Russia), Nonprofit Partnership for the Development of Financial Market RTS (Moscow, Russia), e-mail: zakirova.lilia@gmail.com

L.I. Zakirova
Symbolic dimension of non-government organizations' activity
in contemporary Russian-American relations

Abstract. The article contains analysis of non-government organizations' activities in the field of public diplomacy in the realm of Russian-American relations. The Author draws parallels between the period of Reset and current confrontation phase in terms of efficiency and outreach of Russian non-government actors in the USA. An interstate communication involves symbolic interaction which is transferred from the real social world to the world of perception and then backward to the real world in the form of decisions, policies and actions. Both states, and non-government organizations compete for attention, loyalty, and trust to the created symbols and images by the social groups. Currently one can observe that the crisis developments on the interstate level undermine non-government organizations' activities and reduce their efficiency.

Keywords: symbolic politics; state image; Russian-American relations; soft power; non-government organizations; public diplomacy.

Символическое измерение мировой политики наиболее ярко проявляется в кризисные моменты истории: любой кризис характеризуется повышенными рисками и высокой степенью неопределенности, что порождает запрос на публичную интерпретацию действий и высказываний партнера (оппонента, врага). При этом резко усиливается конкуренция между политическими акторами в информационно-символическом поле за внимание и лояльность целевых аудиторий и доверие к тем символам и образам социальной реальности, которые креаторы предлагают обществу или отдельным его группам. В этих условиях резко возрастает роль структур, ответственных за формирование имиджей государств на международной арене. На данный момент имеется определенный пласт исследований деятельности государства по продвижению имиджа России [Алексеева, 2009, с. 57–75; Малинова, 2008, с. 86–106; Образ России в мире, 2008, с. 60–77; Шаклеина, 2012, с. 159–185]. Гораздо меньше внимания уделялось деятельности негосударственных акторов. Однако в моменты жесткого противостояния именно по неофициальным каналам можно установить обмен мнениями, подготовить общественное восприятие к определенным решениям, провести предварительное внутреннее обсуждение и согласование переговорной позиции.

В данной статье мы предполагаем рассмотреть символическое измерение деятельности негосударственных структур, вовлеченных в российско-американские отношения, и ответить на вопросы о том, насколько они эффективны в роли медиаторов в кризисные моменты, как воспринимается их деятельность и как институциональная культура организаций, вовлеченных в российско-американский диалог,

транслирует символы и образы, которыми наполнена сегодня коммуникация двух государств. Хронологические рамки нашего анализа охватывают период «перезагрузки» российско-американских отношений с 2008 по 2012 г. и их современный этап. В разгар «перезагрузки» доминировала точка зрения, что наличие сильных институтов гражданского общества способствует укреплению связей между государствами, повышению взаимопонимания и развитию всестороннего сотрудничества. В рамках этой парадигмы предусматривалось, что, будучи достаточно сильными, институты гражданского общества способны выработать единую повестку дня для российско-американских отношений на негосударственном уровне и способствовать созданию нового типа коммуникации между двумя ядерными державами. Анализ символической составляющей деятельности неправительственных организаций, рассматриваемых в настоящей статье, позволяет оценить реалистичность этого предположения.

Исследование символической политики включает в себя анализ «под разными углами широкого спектра явлений и процессов, связанных с производством и обращением смыслов» [Малинова, 2012, с. 6]. Такой подход идеально пригоден для анализа пространства символического взаимодействия, которое, в свою очередь, формирует видоизмененную социальную и политическую реальность. Коллективно разделяемые символы внедрены в массовое сознание и коллективную память, они способны придавать смысловую и эмоциональную наполненность событиям. Как пишет российский исследователь А.В. Бабайцев, политический символ используется для сохранения или изменения властных взаимоотношений «в качестве медиатора между человеком, группой людей и социально-политической реальностью» [Бабайцев, 2014, с. 22]. Человеческое сознание постоянно ведет работу по созданию, осмыслению и переосмыслению, узнаванию и продвижению символов. При этом разные акторы конкурируют за доминирование в пространстве символического взаимодействия.

Отношения между государствами не являются исключением из этого правила: они представляются многомерной композицией из разновременных, индивидуальных и групповых символов, сложно взаимосвязанных между собой. Благодаря использованию «мягкой силы» политические символы укрепляются в массовом сознании и формируют дискурс, устойчивые связи и, наконец, системы координат для последующей оценки событий и принятия решений. В этом смысле эффекты символической политики и символического взаимодействия носят вполне объективный характер и воплощаются

в действиях и событиях. Эти эффекты особенно заметны в эпоху «дигитализации» общества, повсеместного распространения Интернета и достижения непрерывности информационного потока. В этих условиях сложно определить, где символическое, а где объективно-реалистичное начало процесса, явления или цепочки событий. Поскольку и объект, и субъект властных отношений (границы между которыми становятся все более размытыми) находятся в одном информационно-медийном поле, эффективность достижения целей каждым из них определяется степенью влиятельности и проникающей способности конструируемых ими идей и символов.

Агенты имиджевой коммуникации как креаторы символов и образов

Символическое пространство российско-американских отношений складывается из нескольких смысловых полей, на которых происходит взаимодействие разных составов участников. Поля могут быть определены географически, организационно, функционально. Например, одно из полей охватывает официальные дипломатические контакты между двумя государствами (функциональное определение). Другое поле определяется географически и организационно: смысловое поле взаимодействия находится в США, а игроками этого поля являются все те организации и индивиды, которые в своей деятельности имеют отношение к России, российско-американскому диалогу или исследованиям. Всех участников взаимодействия можно назвать *агентами имиджевой коммуникации*. Под этим термином понимаются индивиды, организации, ассоциации, институты, вовлеченные в межкультурный, межстрановой диалог и действующие как в своих интересах, так и в интересах создавших их структур и индивидов [Leonard, Stead, Smewing, 2002, p. 6–8].

Неправительственные организации, присутствующие на этом поле, можно классифицировать следующим образом: первая группа включает российские организации и структуры, представляющие официально или неофициально интересы России за рубежом. Вторая группа – это эмигрантские организации. Третья группа состоит из американских организаций, которые занимаются российскими исследованиями и российско-американскими отношениями. Внутри этой классификации можно выделить подвиды по функционалу: имиджевые, исследовательские и информацион-

ные структуры. Позиционирование организаций относительно официальных российских властей (проправительственные и оппозиционные) является фактором российской внутренней политики, тем не менее на практике отношение организаций к российским властям напрямую связано с восприятием их деятельности со стороны американского общества.

В рамках данной статьи стоит подробнее остановиться на деятельности российских и эмигрантских организаций, поскольку для нас важна их посредническая роль.

К первой из этих групп относятся официальные дипломатические представительства России в США, новостные и информационные агентства, институты и фонды продвижения русского языка и культуры: Фонд «Русский мир», Россотрудничество, Институт демократии и сотрудничества, Агентство «Россия сегодня» и телеканал Russia Today, ИА ТАСС, радио «Голос России», Russia Beyond the Headlines, Russia Direct и другие информационные проекты. Вторая группа включает Русско-американский культурный центр «Наследие», Российско-американский фонд, Фонд «Институт современной России», Общество помощи русским детям, Русскую американскую медицинскую ассоциацию, Американскую ассоциацию инвалидов и ветеранов Второй мировой войны из бывшего СССР, Свято-Серафимовский фонд «Русское возрождение», Американскую ассоциацию русских женщин.

Russia Today: От рассказа миру про Россию до российского взгляда на мир

Телевизионный канал Russia Today, основанный в 2005 г. и с декабря того же года начавший вещание на английском языке, изначально был ориентирован на информирование мира о России. Позже канал стал предлагать «российский взгляд» на мировые события. Это позволило существенно увеличить аудиторию и рейтинг канала. Согласно рейтинговому агентству Nielsen Media Research, в 2010–2011 гг. RT занял первое место по популярности среди иностранных каналов в округе Колумбия, а в 2013–2014 гг. значительно увеличил аудиторию за счет крупных городов США [Xie, Boyd-Barrett, 2015, p. 72–73].

В 2008 г. впервые в основополагающем документе, содержащем внешнеполитическую стратегию России, – «Концепции внешней политики России» – была закреплена установка «доби-

ваться объективного восприятия России в мире, развивая собственные эффективные средства информационного влияния на общественное мнение за рубежом» [Концепция внешней политики России, 2008]. Стремление создать собственный нарратив, собственную повестку дня международных отношений сопровождалось «напористой, хоть и завуалированной, критикой американского лидерства» [Богатуров, 2007, с. 68]. RT является одним из таких средств информационного влияния и продвижения российской внешнеполитической позиции. За 10 лет своего существования телевизионный канал вырос численно и профессионально, но с началом украинского кризиса его, как и другие СМИ, затронул процесс политической поляризации, что повлекло за собой публичные заявления журналистов-иностранцев о несогласии с политикой редакции и ответную реакцию канала. Материалы канала приобрели открытый пропагандистский характер, что не могло не сказаться на восприятии RT и России иностранными аудиториями.

Мягкая сила в случае с каналом RT работала на продвижение имиджа России в условиях благоприятного климата в отношениях России и западных государств, но в условиях международной конфронтации усилия RT по разъяснению позиции России стали восприниматься как заведомо ангажированные.

Фонд «Русский мир»: Распространение русского языка как инструмент общественной дипломатии

Фонд «Русский мир», созданный указом президента РФ В.В. Путина 21 июня 2007 г., реализует миссию по популяризации русского языка как национального достояния России и важного элемента российской и мировой культур. Под «русским миром» идеологи фонда понимают не только всех россиян, живущих в России и за ее пределами, всех бывших соотечественников и их детей, но и всех людей на планете, кому интересны русский язык, литература, культура. В США (Нью-Йорке) деятельность «Русского мира» представлена Центром «Подсолнух» под руководством педагога-филолога М.А. Терентьевой. В центре функционирует библиотека, преподается русский язык, организуются мероприятия для русскоязычной общины.

Несмотря на кажущийся локальный характер мероприятий, проводимых русскими центрами за рубежом, интерес к деятельности фонда обусловлен, прежде всего, тем, что они обеспечивают

индивидуальную коммуникацию с теми, кому интересны Россия и русский язык. Деятельность подобных институтов очень важна в кризисные моменты отношений между государствами, потому что именно эти центры обеспечивают связи на низовом уровне. Они обладают очень высоким кредитом доверия со стороны местного населения и могут быть эффективными посредниками в имиджевой коммуникации. Непосредственная деятельность таких культурных центров находится в символическом поле, освобожденном от политических образов и интерпретаций, тогда как целеполагание и миссия их головных организаций лежат в политической сфере. Впрочем, в современных условиях можно отметить недостаточную координацию между центром и отделениями «Русского мира», а также неизбежное дублирование функций Россотрудничества, Фонда Горчакова и представительств «Русского мира».

***«Russia Beyond the Headlines»:
От печатного приложения к созданию сообщества***

«Russia Beyond the Headlines», печатное приложение Российской газеты к ведущим мировым изданиям, и «Russia Direct» (аналитическое интернет-издание, ориентированное на освещение российско-американских отношений), начинались как переводные материалы из Российской газеты. Эта модель оказалась нежизнеспособной и в дальнейшем была заменена на представление российского взгляда на происходящие в мире и в России события. Критики издания утверждают, что до сих пор непонятна целевая аудитория проекта, а высокая стоимость создания и распространения в соотношении с низким по сравнению с мировыми СМИ (The New York Times, The Wall Street Journal, The Financial Times) охватом аудитории делают этот инструмент экономически неэффективным. Тем не менее представителям RBTH удалось создать профессиональную команду, которая постоянно ищет возможности для сотрудничества с местными аудиториями, вовлекается в культурные и образовательные проекты, выступает информационным спонсором и промоутером представителей российской культурной элиты, отдельных мероприятий (книжные фестивали или гастроли российских театров). Иными словами, несмотря на проблемы издания как инструмента информирования иностранных аудиторий о российском взгляде на мир и события, есть тенденция к образованию на базе Russia Beyond the Headlines некоего сооб-

щества людей, интересующихся Россией, конструирования новой системы символов, ассоциаций и образов. В выстраивании этой системы креаторы плавно движутся от универсальных культурных и исторических образов к ценностным и политическим.

***Институт демократии и сотрудничества:
Успех во время «перезагрузки»
и неэффективность во время конфронтации***

Институт демократии и сотрудничества – неправительственная организация, созданная в 2007 г. для расширения возможностей российско-американского диалога по целому спектру вопросов политического, экономического и культурного сотрудничества как на федеральном, так и на региональном уровнях. Миссией института являлось продвижение российской позиции во взаимодействии между российскими и американскими научно-исследовательскими центрами и общественными организациями.

В период «перезагрузки» наблюдался всплеск активности двустороннего сотрудничества России и США, ежегодно организовывались 10–15 мероприятий, проводился обмен опытом между российскими и американскими экспертами, выпускались доклады о состоянии двусторонних отношений, мониторинги по правам человека и аналитические материалы по внутренней политике США. В символической плоскости наблюдалось некоторое раздвоение: с одной стороны, институт работал над созданием, продвижением и масштабированием «опыта позитивного взаимодействия» между российскими и американскими экспертными, политическими и бизнес-кругами. С другой стороны, мониторинг прав человека в США, проводимый институтом на регулярной основе, и критика американской внутренней политики неизбежно «включали» режим недоверия и напоминали о холодной войне. Кроме того, серьезная проблема в работе института заключалась в низкой степени узнаваемости организации и отсутствии каналов для информирования широких внешних аудиторий о существующих проектах на уровне организаций и институтов гражданского общества. В период противостояния и роста напряженности в российско-американских отношениях этот недостаток оказался особенно критичным. В 2015 г. Институт демократии и сотрудничества прекратил свое существование. Отсутствие у института уникальной компетенции в выстраивании российско-американского диалога в период напряженности

в условиях слабости инфраструктуры общественной дипломатии в России не позволило ему осуществить свою миссию и продолжить существование, несмотря на качественный институциональный дизайн организации, широкие связи с российским и американским экспертным сообществом и принятую им на себя роль медиатора от гражданского общества.

***«Наследие» и Российско-американский фонд:
Устаревший перформанс и зависимость
от эмигрантских общин***

Русско-американский культурный центр «Наследие» (РАКСИ) был основан в 2003 г. для реализации проектов по сохранению и распространению русской культуры в США среди американцев [Зацепина, Ручкин, 2011, с. 227]. Основателями организации выступили филолог и общественный деятель Ольга Зацепина и профессор Городского университета Нью-Йорка Хулио Родригес.

Первыми проектами РАКСИ стали выставки художников, проживающих в северной части Манхэттена, далее центр стал проводить семинары и круглые столы, нацеленные на повышение степени информированности американского общества о России и русских. С 2007 г. ежегодно проводится международный «Детский фестиваль русской культуры в Нью-Йорке». «Наследие» представляет собой в чистом виде «низовую» локальную инициативу активных индивидов, чувствующих свою сопричастность к русской истории и культуре, ассоциирующих себя преимущественно с православием. В деятельности РАКСИ, как и многих подобных структур, присутствует элемент перформанса, театрализованного представления, в котором подчеркиваются и гипертрофированно выделяются те черты русского характера, которые, по мнению идеологов организации, являются положительными и важными. Однако общей проблемой для подобных эмигрантских организаций является то, что их идеологи способны воссоздавать и конструировать только те образы, которые им самим кажутся понятными и приемлемыми. Они как бы «застывают» в том времени, которое они застали, покидая Россию.

Вышесказанное распространяется на Российско-американский фонд, основанный Мариной Ковалевой и Риной Киришнер в 1997 г. для ознакомления американского общества с богатым культурным наследием России, продвижения совместных проек-

тов в области культуры и искусства. Марина Ковалева, будучи научным сотрудником Ленинградского музея этнографии народов СССР по приезду в США направила силы на выстраивание взаимосвязей в культурной сфере. Самым крупным проектом фонда является проведение ежегодного фестиваля русского наследия, в рамках которого проходят выставки, концерты, презентации, выступления ансамблей и отдельных музыкантов. Зрелищность мероприятий достигается за счет приглашения российских актеров и музыкантов, а политический вес набирается благодаря присутствию известных и высокопоставленных политиков.

Характерно, что с началом противостояния в российско-американских отношениях деятельность подобных американских структур серьезно осложнилась, в том числе и в связи с тем, что их лидерам пришлось определиться, на чьей они стороне, и решающим было мнение их групп поддержки. Так, в силу объективных причин Российско-американский фонд объединил вокруг себя ранние волны эмиграции – людей, покинувших Россию во времена Советского Союза (1970–1980-е годы), среди которых широко распространены негативные образы советского прошлого. Как таковой русскоязычной общины или диаспоры в США никогда не было, потому что не существовало общности: люди тут же делились по национальному, религиозному и «местечковому» принципам. Отчасти поэтому казахские или украинские диаспоры и нанятые ими лоббисты более заметны в отстаивании своих интересов в США. Россия же унаследовала негативные черты общего советского имиджа, на которые накладываются сравнения и параллели из современной истории России.

Все вышеперечисленные объективные обстоятельства не позволяют русскоязычной общине серьезно заявлять о своих интересах, влиять на российско-американские торгово-экономические отношения или способствовать притоку иностранных инвестиций в Россию. Для сравнения, китайская диаспора, живущая за пределами Китая, обеспечивает около 70% иностранных инвестиций в Китай [Dinnie, 2008, p. 73].

Более молодые поколения профессионалов, приехавшие в США в 1990-е и 2000-е годы, не интересуются проектами и деятельностью такого рода и настроены на интеграцию в американское общество. На их отношение в большей степени воздействуют американские СМИ, представляя законченный и логичный взгляд на современную Россию. Помимо американских медиа активно вовлечены в процесс конструирования образов и символов представители российской оппозиции.

«Институт современной России»: Успех на фоне поддержки американских политиков и низкой активности пророссийских организаций в США

Фонд «Институт современной России» был создан бывшим юристом ЮКОСа Павлом Ивлевым и сыном Михаила Ходорковского Павлом Ходорковским в 2010 г. в целях информирования американского общества о политических и экономических процессах в России, привлечения внимания американских СМИ к случаям нарушения прав человека, международных правовых норм, борьбы с коррупцией в России. У организации значительное число последователей в Нью-Йорке и Нью-Джерси. На ее сайте обозначено, что фонд существует на средства пожертвований, однако детальная информация не разглашается.

Идеи Института современной России попадают на благоприятную почву и находят сторонников как среди эмигрантов, так и среди американской общественности. Организация активна в социальных сетях и блогосфере. При отсутствии внятной, адекватной позиции со стороны российских властей официальное информационное пространство, не говоря уже о блогосфере, занимают оппозиционно настроенные силы и активно продвигают свой образ России за рубежом. Идеологи Института используют негативные образы и символы российского государства, что при наложении на нынешнюю внутривластную американскую и российскую конъюнктуру дает усиленный медийный эффект. Особенный резонанс мероприятиям Института придает то, что его эксперты позиционируют себя как русских профессионалов и патриотов, которые по политическим причинам вынуждены жить за пределами родной страны.

Заключение

Таким образом, приходится констатировать, что организации, продвигавшие в американском обществе официальную российскую позицию, потеряли часть возможностей (каналов, ресурсов или аудитории) либо прекратили свое существование. Они не способны в кризисных обстоятельствах конструировать новые образы и символы, которые бы могли быть универсально приняты. В то же время институты, деятельность которых лежала в области перформанса, культуры и искусства, потеряли часть сторонников и

меценатов или вынужденно сместились в сторону оппозиционно настроенных по отношению к России кругов. К сожалению, наличием недостатков организаций, которые могли бы эффективно выполнять роль медиатора от гражданского общества и продвигать неполитизированную повестку дня двусторонних российско-американских отношений. Кроме того, остро ощущается потребность в организации, которая взяла бы на себя роль интегратора, идеолога и координатора усилий негосударственных российских акторов в области публичной дипломатии.

На конструирование образа России в США существенное влияние оказывает логика холодной войны. Практика информационных войн показывает, что внедрение определенных образов и символов ведется «на всякий случай» независимо от того, на какой бы высокой ноте ни находились текущие отношения. С исчезновением внутренней «пропаганды» времен СССР произошла дезориентация населения, потеря уверенности в себе и веры в Родину. Негативизм по отношению к своей собственной стране транслируется вовне отдельными людьми, что добавляет красок к существующему резко отрицательному образу России.

Кроме того, вслед за австралийским исследователем Гремом Гиллом [Gill, 2013, p. 79] стоит обратить внимание на важность противоречия между институциональной культурой и риторикой. В эту ловушку попали некоторые современные российские организации, работающие в США. Их институциональная культура была выстроена с учетом логики противостояния сверхдержав и теми людьми, которые профессионально работали на успех своей стороны в этом противостоянии, и простой смены риторики в период «перезагрузки» было недостаточно для смены парадигмы отношений. Так, российская сторона небезосновательно видела во многих американских организациях иностранных агентов, а американские СМИ неоднократно критиковали российский канал Russia Today за отсутствие объективности и ангажированность. Символическая интеракция развивалась в логике противостояния, несмотря на позитивную риторику о сотрудничестве и общий вектор на конструктивное взаимодействие. В тот момент, когда пропала мотивация для сотрудничества, негосударственные акторы вернулись к привычной им парадигме противостояния и соперничества.

К сожалению, в данный момент не наблюдается политической воли какой-либо из сторон российско-американских отношений изменить образы, риторику и нарратив взаимодействия. Это, впрочем, не означает того, что необходимо заморозить все ини-

циативы в области общественной дипломатии. Кризис в российско-американских отношениях, как лакмусовая бумажка, показал все неэффективности и пробелы в российской мягкой силе. Для дальнейшего развития крайне важно их устранить.

Литература

- Алексеева Т.А. Россия в пространстве глобального восприятия // Международные процессы. – М., 2007. – Т 5, № 2 (14). – Режим доступа: <http://www.intertrends.ru/fourteen/005.htm> (Дата посещения: 25.03.2016.)
- Бабайцев А.В. Подходы к определению понятия политический символ // Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. – М., 2014. – Вып. 2. – С. 18–25.
- Богатуров А.Д. Три поколения внешнеполитических доктрин России // Международные процессы. – М., 2007. – Т 5, № 1 (13). – Режим доступа: <http://www.intertrends.ru/thirteen/005.htm> (Дата посещения: 25.03.2016.)
- Зацепина О.С., Ручкин А.Б. Русские в США: Общественные организации русской эмиграции в XX–XXI вв. / Русско-Американский культурный центр «Наследие». – Нью-Йорк: RACH-C PRESS, 2011. – 290 с.
- Концепция внешней политики России // Президент России. – М., 2008. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/acts/news/785> (Дата посещения: 25.03.2016.)
- Лидерство и конкуренция в мировой системе: Россия и США / Отв. ред. А.Д. Богатуров, Т.А. Шаклеина. – М.: КРАСАНД, 2010. – 352 с.
- Малинова О.Ю. Теория представительства и политический символизм парламента в российском контексте // Вестник Томского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Политология. – Томск, 2014. – № 3(27). – С. 5–11.
- Малинова О.Ю. Темпоральность и другие свойства символического в политике // Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. – М., 2014. – Вып. 2. – С. 5–18.
- Образ России в мире: становление, восприятие, трансформация / Отв. ред. И.С. Семененко. – М.: ИМЭМО РАН, 2008–152 с.
- Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 272 с.
- Dinnie K. Nation branding: Concepts, issues, practice. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 2008. – 264 p.
- Gill G. Symbols and legitimacy in Soviet politics. – Cambridge; N.Y.: Cambridge university press, 2013. – 264 p.
- Leonard M., Stead C., Smewing C. Public Diplomacy. – L.: Foreign Policy Centre, 2002. – Mode of access: <http://fpc.org.uk/fsblob/35.pdf> (Дата посещения: 25.03.2016.)
- Xie S., Boyd-Barrett O. External national TV news networks' way to America: Is the United States losing the global «information war»? // International journal of communication. – Los Angeles, CA, 2015. – Vol. 9. – P. 66–83. – Mode of access: <http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/viewFile/2752/1285> (Дата посещения: 25.03.2016.)

**В.Н. Конышев, А.А. Сергунин,
С.В. Субботин***

КОНСТРУИРОВАНИЕ АРКТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В РОССИЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСКУРСАХ¹

Аннотация. В статье рассматриваются российские «официальный» и «неофициальный» дискурсы по вопросам арктической политики. Анализируется влияние этих дискурсов на формирование и реализацию российской стратегии на Крайнем Севере, а также на международный имидж России в регионе.

Ключевые слова: Россия; Арктика; символическая политика.

V.N. Konyshov, A.A. Sergunin, S.V. Subbotin
Constructing Arctic space in Russian political and public discourses

Abstract. This study examines Russia's «official» and «unofficial» Arctic discourses. It also analyzes the impact of these discourses on Russia's High North strategy making and implementation as well as on Russia's international image in the region.

Keywords: Russia; Arctic; symbolic policies.

* **Конышев Валерий Николаевич**, доктор политических наук, профессор факультета международных отношений СПбГУ, e-mail: konyshov06@mail.ru; **Сергунин Александр Анатольевич**, доктор политических наук, профессор факультета международных отношений СПбГУ, e-mail: sergunin60@mail.ru; **Субботин Сергей Викторович**, кандидат исторических наук, доцент НИУ ВШЭ (Нижегород), e-mail: ssubbotin@hse.ru

Konyshov Valery, Saint Petersburg State University (St. Petersburg, Russia), e-mail: konyshov06@mail.ru; **Sergunin Alexander**, Saint Petersburg State University (St. Petersburg, Russia), e-mail: sergunin60@mail.ru; **Subbotin Sergey**, Higher School of Economics (Nizhny Novgorod, Russia), e-mail: ssubbotin@hse.ru

¹ Данная работа выполнена в рамках совместного проекта СПбГУ с Норвежским институтом международных отношений при финансовой поддержке Норвежского совета по науке.

С середины 2000-х годов арктический регион находится в центре российских общественно-политических дебатов. Повышение интереса российских политиков и широкой общественности обусловлено разными причинами внутреннего и внешнего порядка.

Среди внутренних причин отметим такие объективные факторы, как наметившееся смещение центра экономической активности в северные регионы страны, необходимость освоения природных ресурсов Крайнего Севера для будущего успешного развития страны и, соответственно, развития там транспортных коммуникаций (прежде всего, Северного морского пути (СМП), а также железных и шоссейных дорог, кроссполярных авиационных маршрутов и пр.). Внимание общества привлекло также сложное (а подчас и бедственное) положение коренных малочисленных народов Севера, а также деградация хрупкой окружающей среды в результате хозяйственной и военной деятельности человека в Арктике.

Среди факторов международного порядка, способствовавших повышению внимания российских элит и общественности к Крайнему Северу, следует отметить отсутствие действенных международных режимов безопасности в регионе, споры прибрежных арктических держав по разграничению морских пространств и континентального шельфа, а также все более активную вовлеченность в арктическую политику государств, не принадлежащих к данному географическому региону, но желающих поучаствовать в разделе «арктического пирога» (богатейших природных ресурсов Севера) или озабоченных последствиями климатических изменений, происходящих в этом регионе, для своей экологической безопасности (КНР, Япония, Южная Корея, Индия и пр.).

Среди факторов внешнего характера следует отметить и своеобразный «эффект бумеранга». В 1990-е годы Россия существенно свернула свое экономическое, геополитическое и военное присутствие в Арктике, и поэтому начавшийся в 2000-е годы процесс восстановления ее утраченных позиций в регионе вызывал немалую тревогу зарубежных стран, расценивших этот феномен как возврат Москвы к временам «советского экспансионизма». В свою очередь, антироссийская риторика части западных политических кругов и СМИ вызвала обратную реакцию со стороны российских элит, возмущенных, с одной стороны, нежеланием Запада признать «наши законные права» в Арктике, а с другой – «головными обвинениями» Москвы в экспансионизме.

К концу первого и началу второго десятилетия XXI в. российское государство сформулировало концептуальные основы своего

политического курса на Крайнем Севере, включая стратегии социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) 2008 г. [Основы государственной политики... 2008] и 2013 г. [Стратегия развития Арктической зоны... 2013], а также Государственную программу развития АЗРФ на 2014–2020 гг. [Государственная программа... 2014]. В этих документах, во многом задавших «официальные рамки» для российского арктического дискурса, были достаточно четко сформулированы основные национальные интересы и – одновременно – приоритеты политики РФ в Арктике.

Однако принятие этих документов отнюдь не поставило точку в спорах относительно российской политики на Крайнем Севере; скорее наоборот – послужило приглашением к их продолжению в экспертной среде и СМИ.

Насколько список указанных в официальных документах национальных интересов РФ в Арктике является исчерпывающим, или он может быть существенно дополнен? Соответствует ли развитие АЗРФ в качестве «сырьевой базы» российской экономики (что было обозначено в качестве важнейшей задачи арктической стратегии РФ) действительным национальным интересам страны, или оно будет содействовать сохранению так называемого «ресурсного проклятья» и зависимости от «нефтегазовой иглы»? Нет ли противоречия между расширением хозяйственной активности в АЗРФ и поддержанием в ней экологического баланса? Не преувеличены ли страхи некоторых российских политиков относительно внешних угроз позициям нашей страны в Арктике, и, соответственно, не слишком ли много сил и средств мы тратим на модернизацию наших вооруженных сил и военной инфраструктуры в регионе? Или, наоборот, мы не недооцениваем далеко идущие планы и «коварные замыслы» других «игроков» в Арктике, и нам надо еще жестче отстаивать наши интересы и заботиться о нашей обороноспособности в этом регионе? Каково будущее Арктики, и каковы роль и место России в этом регионе? Имеют ли наши интересы на Крайнем Севере сугубо прагматический – экономический и геополитический – характер, или с Арктикой связано формирование будущей российской идентичности, т.е. наша политика в этом регионе имеет и духовное измерение, которое, может быть, даже важнее материальных соображений? Вот далеко не полный перечень вопросов, находящихся в центре современного российского арктического дискурса.

Необходимо провести различие между «неофициальным» (неформальным) и «официальным» (формальным) арктическими дискурсами, которые хотя и пересекаются друг с другом и сущест-

венно влияют друг на друга, но все же не совпадают полностью. Начнем наш анализ с «неофициального» российского дискурса по вопросам арктической политики.

Арктика как «дискурсивное поле битвы»

Условно в российском неформальном дискурсе по арктическим вопросам можно выделить две основные парадигмы – сугубо *рациональную* и *эkleктическую*, пытающуюся соединить элементы рационализма с интуитивизмом, романтизмом, эмоционально-этическими подходами.

Рационалистическая парадигма: Прагматики-реалисты

В рамках *рационалистической парадигмы* несомненно доминирует *прагматично-реалистическая школа*. Ее представители воспринимают АЗРФ прежде всего как территорию, где находятся колоссальные запасы природных ресурсов, где сосредоточен значительный промышленный потенциал и пролегают важные транспортные коммуникации. Перефразируя известное выражение М.В. Ломоносова про Сибирь, можно кратко описать мировоззрение прагматиков-реалистов в отношении АЗРФ следующим образом: «Богатство России прирастать Арктикой будет». Соответственно, главную задачу российских государства и общества эта школа видит в необходимости не только остановить экономическую, социальную и экологическую деградацию АЗРФ и восстановить утраченные позиции в этом регионе, но и создать мощные стимулы для устойчивого развития российского Крайнего Севера, сделать последний одним из драйверов модернизации экономики и всего общества в целом.

Следует отметить, что наличие этой объединяющей реалистов стратегической цели не исключает серьезных разногласий между ними по поводу предпочитаемой модели развития АЗРФ.

Одни сторонники реалистически-прагматического подхода рассматривают Север преимущественно как источник природных ресурсов, как регион, призванный обеспечивать благосостояние остальной части страны, и одновременно – как место, где слишком

дорого и, значит, неэффективно создавать условия жизни по высоким стандартам [Белов, 2012].

Другая реалистическая школа, являющаяся сторонницей концепции устойчивого развития, акцентирует внимание общества на том, что для самих северян АЗРФ – это, прежде всего, место жизни, где необходимо решать острейшие социальные проблемы и создавать для людей условия, адекватные их значительному вкладу в экономику России и геополитическому значению для страны [Михайлова, 2015; Селин, Васильев, 2010, с. 180].

Сторонники второй, более «гуманистической» модели считают, что противоположность и противостояние указанных подходов ярко просматриваются в политических решениях федерального и регионального уровня, в законодательной практике, в тактических и стратегических подходах к развитию северных регионов, в научном дискурсе. По их мнению, до сих пор, особенно на федеральном уровне, доминируют традиционные для российской северной политики соображения геостратегического и сырьевого характера, предпринимаются попытки отвести Северу роль сырьевого придатка России. Многие северные регионы видят свою перспективу иначе, разрабатывая стратегии устойчивого, социально ориентированного, инновационного, диверсифицированного развития. Отсутствие общественного консенсуса по поводу российской северной парадигмы – тормоз развития Севера и как стратегической ресурсной базы страны, и как мегарегиона с большими инновационными возможностями [Селин, Васильев, 2010, с. 180].

По мнению реалистической школы в целом, надо уже сегодня решать сложные научные, технологические и иные проблемы, связанные с перспективами освоения природных богатств Арктики. Это предполагает укрепление не только научно-технологического потенциала нефтегазовой отрасли, но и интеллектуального и экономического потенциала северного региона и страны в целом [Голдин, 2011, с. 33].

Что касается международных аспектов арктической политики, то реалисты-прагматики склонны считать, что сегодня Арктика стала территорией, где сталкиваются политические и экономические интересы многих развитых и развивающихся стран. По их мнению, причин обострения геополитической борьбы в Арктике в настоящее время несколько, однако главные из них – богатство находящихся там не возобновляемых природных ресурсов, стратегическое значение транспортных артерий арктического региона, возрастающее по мере наблюдаемого ныне уменьшения площади

ледового покрова, а также юридически неопределенный статус национальных границ в этом регионе [Белов, 2012, с. 230].

Как отмечают реалисты, в 1990-е годы Россия выступала в Арктике лишь в качестве ведомого, утратив в условиях распада прежнего внешнеполитического и дипломатического аппарата и системы принятия решений, загруженности руководства страны тяжелыми внутренними проблемами способность разработки и продвижения собственных международных инициатив и вполне удовлетворяясь гуманитарной и иной помощью северных соседей. На возможностях России и ее руководства защищать свои интересы в Арктике самым негативным образом сказалось общее ослабление государственности, свертывание социально-экономического, оборонного и научного потенциала. Развернулся процесс выдавливания ее с первых ролей в международных отношениях, и в том числе в Арктике. По мнению сторонников реалистической школы, в условиях глобализации и интернационализации арктического пространства тон начинают задавать уже другие игроки: как ведущие державы, и в первую очередь США, претендующие на лидерство в новом постсоветском мире, так и малые страны, пытающиеся использовать в своих интересах инструменты «мягкой» безопасности (особенно Норвегия, которая претендует на роль лидера на североευропейском арктическом театре) [Голдин, 2011, с. 30].

Реалисты допускают, что противоречие целей, преследуемых разными государствами в Арктике, может привести к росту международной напряженности в целом и вероятности возникновения международных конфликтов, носящих локальный характер [Арктика – горячая точка XXI века, 2007; Белов, 2012, с. 230; Главком ВВС не исключил вовлечения России в приграничные конфликты, 2009; Ядуха, 2007]. Конфликтные ситуации различной природы могут стать серьезной помехой на пути достижения российских целей в арктическом регионе.

Наиболее радикальная часть реалистов призывает российское руководство настойчивее отстаивать российские интересы в Арктике, в том числе путем наращивания военной мощи в регионе [Арктика – горячая точка... 2007; Главком ВВС... 2009; Фененко, 2010; Ядуха, 2007]. Они критикуют Кремль за слишком «мягкотелую» политику в Арктике и ставят под сомнение необходимость соблюдать существующие в регионе международно-правовые режимы. Так, они считают, что США, которые не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву (далее – КМП ООН) 1982 г., имеют гораздо более выгодную позицию в борьбе за территориальный

раздел Арктики, чем Россия, которая в полной мере присоединилась к этому соглашению и следует установленным правилам, например при определении внешних границ своего континентального шельфа [Гудев, 2013].

Ряд более «продвинутых» реалистов считает, что, поскольку в современную эпоху сила в международных отношениях меняет формы своего проявления и на передний план могут выходить ее невоенные аспекты, борьба за арктические ресурсы и коммуникации будет проходить не в форме традиционной «горячей войны» с применением различных видов вооружений и гибелью людей. По их мнению, это будет мирная конкуренция экономик США, Норвегии, ЕС, России, Китая и других стран, их модернизационных, технологических, финансовых возможностей, позволяющих максимально эффективно, с обоснованными приемлемыми затратами вести освоение природных ресурсов и осуществлять контроль за коммуникациями и пространством в суровых условиях Арктики. По словам одного из исследователей, это будет «самая настоящая информационно-психологическая война с применением современных ИКТ (информационно-коммуникационных технологий. – *Авт.*), проявляющаяся в том числе в распространении арктических фобий, нагнетании русофобии, большой лжи и манипулировании сознанием людей, особенно молодежи. Это этнокультурная экспансия по всем мыслимым азимутам жизни коренных народов Севера (больших и малочисленных), их идентификации (поморы, русские поморы, сибиряки). Наконец, это креативная борьба интеллектов, сканирование результатов научно-исследовательской деятельности за мизерные гранты и зарубежные стажировки, бездуховная интернационализация образования» [Лукин, 2012, с. 106].

Соответственно, России необходимо противопоставить этим угрозам свой научно-технический, экономический и социокультурный потенциал. По мнению этой части реалистов, вместо прямого противостояния России целесообразно осуществлять активную информационную кампанию в защиту собственных национальных интересов, препятствующую реализации планов США (и других держав) по доминированию в Арктике. Ее суть – в возложении ответственности за возможное возникновение конфликта на США, поддержке собственного международного имиджа и авторитета, содействии развитию взаимовыгодного международного сотрудничества, противодействию информационной поддержке агрессивной политики данного геополитического соперника. А цель – в приобре-

тении новых союзников, например Канады, которая может оказаться «в одной лодке» с Россией [Белов, 2012, с. 234].

Рационалистическая парадигма: Либералы

Другая – и гораздо менее влиятельная – школа в рамках рационалистической парадигмы – *либерализм* – занимает во многом противоположные прагматично-реалистическому подходу позиции. Во-первых, либералы считают, что в рамках арктической политики первостепенное значение должно уделяться не превращению АЗРФ в главную сырьевую базу России, а развитию ее человеческого потенциала и охране окружающей среды, созданию максимально комфортных условий для проживания в этом регионе как коренных народов, так и «пришлого» населения [Васильева, Чэньсин, 2011].

Во-вторых, либералы считают, что у России не хватит собственных ресурсов (финансовых, технологических, людских и пр.) для освоения природных богатств Арктики, и потому Москве надо делать ставку на привлечение иностранных государств и частного капитала в этот регион [Жильцов, 2012]. Представители этой школы приветствуют приход в АЗРФ таких известных зарубежных компаний, как «Гидро-Статойл», «Мобил-Эксон», «Бритиш Петролеум», «Тоталь», «Мицубиси» и пр., которые могли бы принести не только технологии и инвестиции, но и практику эффективного и экологически безопасного управления природными ресурсами Крайнего Севера. И, наоборот, либералы с большим разочарованием отнеслись к курсу Кремля в контексте украинского кризиса, приведшему к замораживанию и полному свертыванию совместных с зарубежными партнерами проектов в АЗРФ.

В-третьих, наиболее радикальные группировки внутри либеральной школы считают, что Арктика – это не «частная собственность» пяти «официальных» полярных государств, стремящихся поделить этот регион между собой, а «всеобщее достояние человечества», требующее участия всех стран, обладающих соответствующими возможностями в освоении (и сбережении) этого уникального района планеты. Сторонников этой точки зрения полагают, что нет альтернативы широкому международному сотрудничеству в развитии Арктики. Соответственно, стратегия Москвы должна быть нацелена на «встраивание» России в подобные схемы международного сотрудничества по Арктике, а не на жесткое отстаивание своих на-

циональных интересов [Арктика. Предложения к дорожной карте... 2012; Васильева, Чэньсин, 2011].

Либералы уделяют большое внимание совершенствованию международных правовых режимов и институциональной инфраструктуры в Арктике. Именно из их среды выходит большинство интересных (хотя и небесспорных) предложений по принятию новых соглашений, регулирующих различные аспекты арктической деятельности, а также по реформе существующих региональных институтов (Арктический совет, Совет Баренцева / Евроарктического региона, Северное измерение и пр.) и установлению между ними надлежащего разделения труда [Арктика. Предложения к дорожной карте... 2012].

Рационалистическая парадигма: Глобалисты

Третья, еще более радикальная школа в рамках рационалистической парадигмы – это глобализм. Сторонники этой точки зрения вообще не рассматривают Арктику через призму национальных интересов России. Для глобалистов Арктика – это уникальная и очень уязвимая часть общепланетарной экосистемы, проблемы которой нужно решать сообща, усилиями всего человечества [Арктика и будущее человечества, 2009; Додин, 2005]. Глобалисты отказываются воспринимать всерьез планы России и других арктических и неарктических держав по эксплуатации природных богатств и коммуникаций этого региона, считая, что любая хозяйственная и тем более военная деятельность на Крайнем Севере должна быть свернута, а в перспективе – вообще прекращена (если мы не хотим получить глобальную эколого-климатическую катастрофу).

Эта школа активно продвигает идею заключения универсального международного договора по Арктике для создания правового режима, подобному тому, что существует в Антарктиде с конца 1950-х годов [Перелет, Кукушкина, Травников, 2000; Сиваков, 2009, с. 239]. Основной смысл предлагаемого соглашения – введение запрета на любой вид деятельности в Арктике, кроме научных исследований и традиционного хозяйства коренного населения региона. Как вариант, некоторые глобалисты предлагают создать в Арктике систему регионального управления под эгидой ООН [Харлампиева, Лагутина, 2011].

По мнению сторонников этой школы, только так можно предотвратить катастрофические тенденции в Арктике и на деле (а не декларативно) сделать ее регионом мира и сотрудничества. При

этом глобалистов не смущает тот факт, что в Арктике уже существует достаточно развитая промышленная, транспортная, социальная, информационная и военная инфраструктура, а сам регион имеет важное значение для экономики и социального благополучия полярных стран. Они считают, что последние должны быть выше «национального эгоизма» и найти альтернативные арктическим источники развития.

Наконец, наряду с указанными выше школами, существует множество «промежуточных» или «гибридных» течений, которые стараются найти компромисс между подчас противоположными точками зрения. Эти школы считают, что, как это часто бывает, истина лежит где-то посередине. С одной стороны, неразумно отказываться от тех возможностей, которые открываются для России в рамках международного сотрудничества по Арктике, включая привлечение иностранных инвестиций и передовых технологий для развития АЗРФ. С другой стороны, необходимо отстаивать законные интересы России там, где наблюдаются явные попытки покушения на них со стороны внешних акторов. Но делать это необходимо путем переговоров, поиска взаимовыгодных компромиссов, а не методами «силовой политики» [Бочкарев, 2010; Ширина, 2005].

Эклектическая парадигма: «Гиперборейцы»

Эклектическая, не строго рационально-научная парадигма российского арктического дискурса также не является монолитной и распадается на ряд школ, сильно различающихся между собой по идеологическим и нормативно-ценностным основаниям.

Одной из наиболее громогласно заявляющих о себе, хотя и маргинальных в плане своего политического влияния группировок являются так называемые «гиперборейцы». «Основоположником» этого течения выступил в начале 1990-х годов А.Г. Дугин, известный философ и геополитик консервативного направления. Отправной точкой концепции «гиперборейства» является учение немецкого философа межвоенного периода Германа Вирта о полярном, северном происхождении человечества [Дугин, 2008]. Вслед за ним А.Г. Дугин считает, что исчезнувший континент Гиперборея дал рождение ариям, настоящим наследником которых является русский народ, а не германцы, как считал Г. Вирт. «Россия – страна полярных архетипов, то место, откуда сошли предки – основатели древних южно-евразийских цивилизаций» [Дугин, 1996, с. 31].

По мнению философа, в современной Евразии нарождается новый политический и духовный континент (пространство) Арктогея, лидером которого выступает Россия: «Россия традиционно исполняет геополитическую миссию гиперборейского, объединительного толка» [Дугин, 1996, с. 36]. Он считает, что Сибирь и Крайний Север – это современная «империя рая», выполняющая особую роль: «В картине общей сакральной географии особая роль выпадает землям Сибири. Действительно, если актуально центр Традиции расположен где-то на Востоке, а изначально он находился на северном полюсе, то именно Сибирь является пространством смычки, связи этих двух сакральных регионов. Такая особенность сибирских земель, возможно, и обуславливает ту специфическую таинственность, которая окружает все связанное с историей этой части материка» [там же, с. 56].

Для «гиперборейцев» Крайний Север – это средство духовного возрождения России, способ реализации предназначенного России «космического предначертания», после чего неизбежно последует и рост ее влияния – геополитического и духовного – в мире.

В своем восприятии арктических проблемы эта школа довольно легко «накладывает» на духовно-мистическую интерпретацию Крайнего Севера современные геополитические теории. Сам А.Г. Дугин и его последователи считают, что в нынешних условиях на смену «геополитике территорий» пришла «геополитика ресурсов». Теперь «морские» или «атлантические» державы стремятся к контролю не над территорией «Мирового острова» (Х. Макиндер) или «береговой зоной» (Н. Спайкмен), куда входит и Арктика, а над находящимися там природными ресурсами (прежде всего за углеводородами) [Дугин, 2002].

Впрочем, международная конкуренция за природные ресурсы не исключает возможности вооруженного конфликта и даже войны. Так, один из сторонников данной точки зрения драматически заявляет в предисловии к своей книге с характерным названием «Битва за Арктику»: «Человечество на пороге новой большой войны. Главным полем боя в XXI в. станет Арктика с ее колоссальными запасами полезных ископаемых. Ставки слишком высоки. В борьбе за эти ресурсы Россия неизбежно столкнется с США и другими северными странами – Норвегией, Данией, Канадой. В случае негативного развития событий мы можем лишиться не только арктического шельфа, но и Северного морского пути, к “интернационализации” которого уже призывают американцы, и даже всего Русского Севера» [Инджиев, 2010, с. 2].

А.Г. Дугин считает, что Россия должна возглавить коалицию стран – обладателей энергетических ресурсов и противопоставить экспансионистским планам «атлантистов» свой собственный «евразийский энергетический проект», основанный на принципах асимметрии. «Россия (Евразия) может выступить в роли энергетического диспетчера в новой модели организации евразийского энергетического комплекса, предлагая альтернативный атлантистскому алгоритм, – пишет Дугин. – Для этого у России есть все основания – и собственные месторождения, и пространственное расположение, ключевое для организации транспортных сетей, и особые отношения со странами СНГ и даже с некоторыми странами, рассматривающимися как “парии” (Иран, Ирак, Ливия), и определенные навыки в энергодобыче, и серьезный интеллектуальный, логистический потенциал. Фатально отсутствуют лишь финансы» [Дугин, 2002].

«Гиперборейцы» одобрительно отнеслись к тому, что в последнее десятилетие Россия стала уделять Арктике повышенное внимание, реализуя там программы социально-экономического развития, укрепляя военную инфраструктуру и активно отстаивая свои международно-правовые позиции. По мнению А.Г. Дугина, все это вполне можно считать конструктивными шагами по закреплению многополярной конструкции мира. Он считает, что «все державы, так или иначе заинтересованные в многополярности, теоретически должны были бы поддержать арктические притязания России, которая в данном случае выступает не просто как одно из национальных государств, пекущееся о своих практических интересах (ресурсы, энергетика, экономика, безопасность), но как геополитическая сила, созидающая сбалансированный и гармоничный многополярный миропорядок» [Дугин, 2012, с. 312].

Эклектическая парадигма: Неокоммунистическая версия

Интересно, что соблазна эзотерически-мистической и мессианской интерпретации Крайнего Севера не избежали и неокоммунистические мыслители (по крайней мере, та их часть, которая пытается соединить идеи коммунизма с православием). Так, А.А. Проханов согласен со своим консервативным «антиподом» А.Г. Дугиным в вопросе о наличии у русского народа особой исторической духовной миссии («русские – спецназ человечества»). По словам писателя, «русские – мессианский народ. Их сотворил Господь для выполнения

ими вселенской миссии. Русские получили задание от всего человечества. Они выполняют работу по поручению всей земной цивилизации. Русские приняли наказ освоить и пустить в оборот самые дикие и неухоженные, непригодные для обитания земли: мерзлоту, непроходимые топи, непролазные чащобы, кромку Ледовитого океана. На протяжении веков русские создали уникальную северную цивилизацию: проложили дороги, построили города, открыли месторождения. И сегодня работа, которую проделали Ермак Тимофеевич, ученый Губкин, нефтяник Салманов, питает углеводородами половину планеты, обеспечивает цветение мировой машинной цивилизации» [Проханов, 2013].

Для А.А. Проханова Арктика – одновременно и естественная среда обитания русского народа, и пространство, на котором у России есть шанс взять исторический реванш за понесенное поражение в холодной войне. В одном из своих многочисленных интервью А.А. Проханов откровенно заявил: «Я – человек арктический. Россия потеряла южные территории. У нас отняли Украину, у нас отняли Казахстан, русские выдавливаются к северу. Это ужасно, но это не страшно, потому что русские – это нордический народ, это народ полярных сияний и Полярной звезды. И мы эту Арктику осваивали изначально. Мы ее осваивали на деревянных лодках, на которых новгородцы достигли Аляски, открыли эту чертову Аляску. Мы эту Арктику осваивали бесчисленным количеством советских станций, которые блуждали по этим блистательным северным огромным полям...» [Журавлёва, Проханов, 2013].

Поэтому Арктика видится «православным коммунистам» в качестве «последнего рубежа», за который отступать нельзя. На фоне западной экспансии в регионе непозволительно иметь внутри страны «пятую предательскую либеральную колонну», которая утверждает, что «пора отторгнуть русскую Арктику в России, передать Арктику под юрисдикцию международного сообщества, т.е. НАТО» [Журавлёва, Проханов, 2013]. В унисон с «гиперборейцами» А.А. Проханов предрекает новую войну за передел Арктики: «Строятся корабли, военные корабли арктических проектов, строятся ледоколы, туда уходят новые системы ядерных подводных лодок (в Ледовитый океан). Вся эта милая, смешная и комическая ситуация [предложения российских либералов о передаче Арктики под международный контроль. – *Авт.*] – это идеологическое прикрытие военно-стратегических акций стран НАТО по отторжению Арктики от России. Это схватка за Арктику. Война за Арктику началась» [Проханов, 2013].

А.А. Проханов считает, что возвращение России в Арктику может служить новой национальной идеей. Комментируя полярную экспедицию А. Чилингарова к Северному полюсу в августе 2007 г., в ходе которой один из российских батискафов поместил титановый флаг страны на дно океана, писатель пророчесствует: «Арктика вновь становится источником русского могущества. Здесь, в полыхающем сияниями небе, резко начертался “северный вектор” России. Долгожданная “идея Развития”, технократический рывок, “философия будущего” дышат в этом арктическом рейде» [Проханов, 2007].

Для неокommунистической версии имперского мышления Северный Ледовитый океан – это «внутреннее море России», в котором она должна безраздельно господствовать. Чтобы «северный марш» России не захлебнулся, страна вновь должна мобилизовать свои силы и интеллект, сделав освоение Крайнего Севера и обеспечение его безопасности от происков врагов своими главнейшими приоритетами внутренней и внешней политики. «Наше имперское движение к полюсу не будет легкой прогулкой, – констатирует А.А. Проханов. – За нами следят космические группировки Америки. В ледовых водах шныряют субмарины противника. Дипломатическая война началась, когда еще не сомкнулась льдыня в месте погружения батискафов». Однако писатель настроен оптимистично: «Россия готова к отпору – интеллектуальному, дипломатическому и военному... Русский дух не иссяк, народ-победитель не забыл своих великих побед. Новое поколение пассионариев, умельцев и прозорливцев пришло на смену полярникам прошлого» [Проханов, 2007].

Эклектическая парадигма: Постпозитивистские школы

Наряду с имперско-мессианскими течениями эклектично-интуитивистская парадигма включает в себя ряд *постпозитивистских* школ, прежде всего социальный конструктивизм и постколониализм.

Социальные конструктивисты рассматривают арктические проблемы в основном через призму идентичности и того, как Крайний Север воспринимается отдельными людьми, социальными группами и государствами. Так, в ряде конструктивистских исследований отмечается, что в постсоветский период на смену

прежнему дискурсу «покорения Севера», «борьбы с силами природы», героизации деятельности полярников пришли более прагматичные и / или экологически ориентированные дискурсы – Арктика как «стратегическая ресурсная база» России, необходимость устойчивого развития АЗРФ, Арктика – «регион мира и сотрудничества» и пр. [Дрегалo, Ульяновский, 2011; Назукина, 2013].

По мнению конструктивистов, эти дискурсы лучше соответствуют нынешним потребностям арктической политики России. Регион уже не воспринимается как враждебный объект, нуждающийся в «покорении», «обуздании», а само северное пространство – как место, непригодное для длительного и комфортного проживания, где можно работать только «вахтовым методом». Современный российский менталитет все больше ориентируется на бережное отношение к Арктике, необходимость эксплуатации ее ресурсов с учетом возможных негативных последствий для хрупкой северной экологии и традиционного образа жизни коренных народностей. Ставка теперь делается на создание максимально комфортных и привлекательных условий для работы и проживания в различных районах АЗРФ, на изживание психологии «временщика» и закрепление человеческих ресурсов на Крайнем Севере [Дрегалo, Ульяновский, 2011].

В то же время конструктивистов интересуют причины стойкости имперского, националистического и алармистского дискурсов в российском постсоветском сознании, которые периодически воспроизводятся на протяжении последней четверти века [Медведев, 2013; Моргунова, 2014]. Сторонники этой школы считают наличие конфронтационных стереотипов в мышлении российских политиков и общественности серьезным препятствием на пути проведения конструктивной политики России в Арктике, ее превращения в «регион мира и сотрудничества» (концепт, декларированный в официальных документах Москвы).

Одним из объяснений данного феномена, предлагаемых конструктивистами, является так называемая «статусная теория», которая фокусируется не столько на рациональных, сколько на эмоциональных и подсознательных аспектах российского арктического дискурса. По мнению сторонников этой теории, главным мотивом российской арктической стратегии (и в целом внешней политики Москвы) является не столько достижение материальных выгод, сколько подтверждение своего статуса великой державы, которой другие региональные и глобальные «игроки» должны оказывать должное почтение и с интересами которой они должны

считаться. Вынужденный «уход» России из Арктики в 1990-е годы и в целом снижение международного авторитета страны породили у российских элит и общества тяжелую психологическую травму, от которой они только недавно начали оправляться. Избавление от этой травмы проходит болезненно, с имперскими и националистическими «выбросами» в общественном сознании, перекосами и зигзагами во внешней политике [Медведев, 2013; Моргунова, 2014]. Нужны время и благожелательное отношение со стороны международных партнеров, чтобы «родимые пятна» «имперского прошлого» исчезли и на смену идеям реванша и мессианства пришли более созидательные устремления.

Что касается «постколониалистов», то эта школа делает лишь первые шаги в «освоении» арктической проблематики. Теория была позаимствована у западных постпозитивистов. Она популярна среди представителей организаций коренных народностей Гренландии, Аляски, Канады и Северной Европы, а также исследователей, сочувственно относящихся к этим народностям. Вслед за своими западными «коллегами» российские «постколониалисты» утверждают, что АЗРФ претерпевает ныне трансформацию от «внутренней колонии» к «нормальной» территории [Кукулин, 2013; Слэзкин, 2008; Эткинд, 2014; Silis, 2014]. По мнению сторонников этой школы, со времен Российской империи отношение к Крайнему Северу было чисто потребительским, вся политика и царской, и советской России была нацелена на (подчас хищническую) эксплуатацию природных богатств Арктики. Из нее безжалостно выкачивали ресурсы, не задумываясь об экологических последствиях; коренному населению не уделялось должного внимания, что привело к его вымиранию, ассимиляции, утрате этнической идентичности и самобытной культуры.

Только в постсоветский период – и то не сразу, лишь в последние годы, – политика федерального центра начала меняться. В основу социально-экономической и экологической стратегии Москвы в АЗРФ была положена – хотя и во многом декларативно – концепция устойчивого развития, стало уделяться внимание экологическим и социальным последствиям эксплуатации природных ресурсов Севера, были приняты программы по защите интересов коренного населения. Однако, как подчеркивают «постколониалисты», России еще предстоит долгий путь, чтобы полностью избавиться от «имперского» или «колониалистского синдрома» и выработать адекватную политику в арктическом регионе [Кукулин, 2013; Слэзкин, 2008; Эткинд, 2014].

Российский «официальный» дискурс

«Официальный» российский арктический дискурс в полной мере отражает противоречия, характерные для экспертных и общественных дебатов.

С одной стороны, в официальных документах можно найти сугубо прагматичный (в определенной степени даже технократический) подход к арктической проблематике, что вполне соответствует «жанру» этих документов, призванных очертить контуры государственной стратегии в АЗРФ. Так, например, в стратегиях 2008 и 2013 гг. были четко обозначены основные национальные интересы и приоритеты федеральной политики в регионе:

- использование АЗРФ в качестве стратегической ресурсной базы России, обеспечивающей решение задач социально-экономического развития страны;

- сбережение уникальных экологических систем Арктики;

- использование СМП в качестве национальной единой транспортной коммуникации РФ в регионе;

- сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества [Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, 2008; Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, 2013].

В Государственной программе «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 г.» [Государственная программа... 2014] эти приоритеты были транслированы в конкретные программы и проекты федерального и регионального уровней.

Язык, используемый в этих документах, в целом имеет «нейтральный» характер и не несет идеологической нагрузки.

В то же время для публичных выступлений, заявлений, интервью российских лидеров, отвечающих за выработку и реализацию арктической стратегии, характерны большие эмоциональная окрашенность и разброс мнений. Эта часть официального дискурса явно нацелена на манипулирование российским общественным мнением и «подачу сигналов» зарубежной аудитории. Весь инструментарий символической политики применяется в полной мере – от адресации к исторической памяти до ритуальных процедур.

Именно для этой части официального дискурса характерна особая непоследовательность, нелогичность и противоречивость. Так, с одной стороны, советская стратегия освоения Крайнего

Севера подвергается жесткой критике за отсутствие природоохранной «составляющей», нанесенный арктической экологии вред, преобладание «вахтового» подхода и «психологии временщика» и т.д. [Путин, 2013]. На одном из совещаний по освоению Арктики Президент В.В. Путин заявил: «По сути речь идет о ликвидации последствий зачастую бездумного в прошлом, потребительского отношения к Арктике. Но важно не только возместить ущерб за вред, нанесенный природе в течение прошлых десятилетий, – мы не должны и не можем себе позволить повторять подобные ошибки в будущем. Нам нужна новая логика, современные принципы работы в Арктике» [Совещание по вопросу... 2014].

С другой стороны, когда это необходимо для мобилизации общества, власти продолжают героизацию советского прошлого – подвигов советских полярников, защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны, создания мощных индустриальной базы, военной инфраструктуры, «ядерного щита Родины» и пр. [Владимир Путин возложил цветы... 2007]. В 2013 г. Президент РФ издал указ об установлении Дня полярника 21 мая, в день начала работы в 1937 г. научно-исследовательской экспедиции полярной дрейфующей станции «Северный полюс – 1».

Подобная же противоречивость характерна и для внешнеполитических аспектов официального дискурса. Так, с одной стороны, российские лидеры всячески подчеркивают миролюбивость арктического курса страны, стремление решать имеющиеся проблемы мирным путем [Путин, 2013; Anishchuk, 2013]. Они достаточно убедительно доказывают, что не Россия была инициатором «охлаждения» отношений между Москвой и западными партнерами в Арктике после начала украинского кризиса и что нельзя допускать распространения негативных последствий этого конфликта в сферу арктической политики [Встреча с участниками саммита... 2014; Встреча с председателем правления... 2016].

Однако, с другой стороны, ими нередко допускаются жесткие и даже воинственные заявления, а также символические жесты, призванные продемонстрировать намерение Москвы не только твердо отстаивать свои национальные интересы в регионе, но и пресекать антироссийские акции и устремления, если таковые появятся.

Так, выступая перед московскими студентами и рассуждая о перспективах арктического сотрудничества, президент В.В. Путин не преминул упомянуть об угрозах безопасности России, связанных прежде всего с военной активностью НАТО и США в регионе. В частности, он отметил, что подлетное время ракет, размещенных

на американских подлодках в Баренцевом море, до Санкт-Петербурга и Москвы составляет всего 15–16 мин. [Anishchuk, 2013]. На одном из заседаний Совета безопасности РФ он заявил: «Надо отстаивать каждый участок континентального шельфа российской части Арктики, морские акватории. Предстоит также повысить надежность охраны наших арктических рубежей, в том числе за счет усиления морской составляющей пограничной группировки ФСБ России. Одновременно следует укреплять военную инфраструктуру. В частности, речь идет о создании в нашей части Арктики единой системы базирования надводных кораблей и подводных лодок нового поколения» [Зарубин, 2014].

Особенно «славится» своими символическими жестами вице-премьер, председатель Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Д.О. Рогозин. В апреле 2015 г. во время поездки на российскую дрейфующую станцию в Центральной Арктике он вполне в духе А.Г. Дугина и А.А. Проханова написал в Твиттере, что «Россия – русская Мекка». В ходе своей поездки он сделал пересадку на Шпицбергене, хотя норвежское правительство вслед за другими западными странами включило его в санкционный список. И хотя формально Д.О. Рогозин не нарушил визовый режим Шпицбергена, регулируемый Парижским договором 1920 г., тем не менее российский посол в Осло был вызван в норвежский МИД для дачи объяснений. Сам же вице-премьер, комментируя визовые ограничения и запреты, введенные Западом против российских политиков и бизнесменов, в эфире программы «Воскресный вечер» на канале Россия-1 25 мая 2015 г., заявил, что «танкам визы не нужны» [Рогозин о санкциях... 2015].

Подобные символические действия российских политиков подчас имеют эффект, прямо противоположный тому, на который они рассчитывают. Декларация «конструктивности» намерений при одновременной демонстрации «твердости» и «решимости» приводит к тому, что западные политики и эксперты игнорируют первую часть и выпячивают только второй, «агрессивный» компонент российской арктической стратегии. Россию выставляют в глазах зарубежной общественности в качестве «экспансионистской» державы, «наследницы» российской и советской империй, безответственного «игрока», слову которого ни в коем случае верить нельзя.

Лишь очень немногие зарубежные эксперты, не один год специализирующиеся на изучении истории и современной внешней политики России, оказываются в состоянии понять (и оценить) смысл российского международного (в том числе и арктического)

курса, который символически можно выразить припевом к известной песне о гражданской войне: «Мы – мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути!».

Заключение

В заключение отметим, что обе части российского арктического дискурса – «неофициальная» и «официальная» – за последние 15–20 лет эволюционировали от упрощенно-антизападного, националистического и алармистского к более конструктивному, прагматичному и сбалансированному подходу. Доминирует установка на развитие АЗРФ на основе концепции устойчивого развития, а также на расширение международного сотрудничества в регионе.

Несмотря на попытки некоторых школ придать дискуссиям о «нордическом» характере российской идентичности имперскую и националистическую окраску, российский арктический дискурс в целом не пошел в этом направлении. Более популярной является концепция «многомерной» (или, как вариант, «евразийской») идентичности России, лишенной агрессивности и нацеленной на диалог разных культур и цивилизаций. В этом смысле характерна эволюция взглядов даже такого радикального геополитика, как А.Г. Дугин, который постепенно перешел от воспевания Гипербореи и Арктогеи к варианту неоевразийства, близкому к «официальному» дискурсу.

Вместе с тем было бы преждевременным списывать со счетов «ура-патриотические» и националистические настроения в вопросах арктической политики. По ряду внутренних и внешних причин воспроизводство подобных настроений происходит на постоянной основе, и это может негативно сказываться на формировании адекватного курса России в регионе, а также на ее международном имидже. Учитывая, что подобные силы активно используют инструментарий символической политики для укрепления своих позиций, российской власти, академической общественности и СМИ необходимо не только развенчивать различные псевдопатриотические и имперские мифы об Арктике, но и предлагать более конструктивные образы, идеи, концепции, ценности, символы, основанные на принципах диалога, сотрудничества и толерантности и в то же время подразумевающие защиту законных интересов России в регионе, сложившихся обычаев и традиций русского Севера.

Что касается «официального» арктического дискурса, то он пытается выполнять три основные функции. Во-первых, он стре-

мится инкорпорировать идеи, концепции, темы, циркулирующие в рамках «неофициального» дискурса. Во-вторых, он пытается придать общественно-политическим дискуссиям по вопросам Арктики некий общий вектор, направить их в удобное (или, по крайней мере, приемлемое, «неопасное») для себя русло, снабдить различные школы мысли определенной идеологией, мобилизовать их на реализацию государственной политики в АЗРФ. В-третьих, он пытается продуцировать на мировой арене определенный имидж России как арктической державы, выступать перед внешним миром в качестве ее «законного представителя», выразителя воли всей страны. Власти важно представить себя перед лицом других государств, действующих в Арктике, в качестве легитимного актора, пользующегося внутренней поддержкой и обладающего «народным мандатом» на проведение определенного политического курса в регионе.

Власти бывает трудно контролировать различные радикальные течения, периодически возникающие как в партийно-политической и экспертно-аналитической средах, так и в обществе в целом. Не всегда ей также удается предложить свежие идеи и концепции в области арктической политики, которые могли бы объединить и мобилизовать российские элиты и общество на выполнение тех или иных стратегических программ и проектов на Крайнем Севере. Но в целом она справляется с выполнением двух первых из указанных выше функций.

Менее эффективно осуществляется третья, внешнеполитическая функция «официального» дискурса. Москве пока не удается сформировать образ ответственного и предсказуемого «игрока», который может предложить позитивную «повестку дня» для регионального сотрудничества. Это обусловлено наличием серьезных разногласий между пятью арктическими государствами по ряду вопросов – от разграничения морских пространств и определения границ континентального шельфа до конкуренции за природные ресурсы и транспортные пути Крайнего Севера. Доверие между Россией и ее арктическими партнерами было сильно подорвано украинским кризисом. Наконец, жесткая риторика и недостаточно взвешенные поступки некоторых российских лидеров, рассчитанные на то, чтобы произвести эффект на внутреннюю и / или внешнюю аудитории, также негативно сказываются на международном имидже Москвы. России придется приложить немало усилий, чтобы сбалансировать свои внутри- и внешнеполитические дискурсы и риторику, чтобы наладить конструктивную коммуникацию с другими региональными акторами.

Литература

- Арктика – горячая точка XXI века. Борьба за ресурсы. Экономические перспективы России // Арктика сегодня. – 2007. – 20 апреля. – Режим доступа: <http://arctictoday.ru/news/200000757> (Дата посещения: 05.02.2016.)
- Арктика и будущее человечества. – 2009. – Режим доступа: <http://archiv.council.gov.ru/files/journalsf/item/20090915084203.pdf> (Дата посещения: 08.02.2016.)
- Арктика. Предложения к дорожной карте международного сотрудничества / Под ред. И.С. Иванова. – М.: Спецкнига, 2012. – 40 с.
- Белов П.Г. Ресурсно-демографические аспекты российской арктической геополитики // Геополитика: теория, история, практика. – М., 2012. – № 1. – С. 230–235.
- Бочкарев Д. Москва готова к конструктивному лидерству на Крайнем Севере. – 2010. – 29 октября. – Режим доступа: http://www.barentsobserver.com/cppage.4836542_146427.html (Дата посещения: 05.03.2015.)
- Васильева Н.А., Чэньсин В. Модернизация как поиск новой идентичности России: арктическая модель // Вестник международных организаций. – М., 2011. – № 3. – С. 20–26.
- Владимир Путин возложил цветы к мемориальному комплексу «Защитникам Заполярья» и почтил минутой молчания память всех погибших в Великой Отечественной войне // Президент России. – Мурманск, 2007. – 2 мая. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/39117> (Дата посещения: 05.02.2016.)
- Встреча с председателем правления компании «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном // Президент России. – М., 2016. – 18 января. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/copy/51180> (Дата посещения: 08.02.2016.)
- Встреча с участниками саммита лидеров глобального бизнеса // Президент России. – М., 2014. – 23 мая. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/copy/21078> (Дата посещения: 08.02.2016.)
- Главком ВВС не исключил вовлечения России в приграничные конфликты // Ведомости. – М., 2009. – 10 февраля. – Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/library/news/2009/02/10/glavkom-vvs-ne-isklyuchil-vovlecheniya-rossii-v-prigranichnye-konflikty> (Дата посещения: 08.02.2016.)
- Голдин В.И. Арктика в международных отношениях и геополитике в XX – начале XXI века: вехи истории и современность // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – Архангельск, 2011. – № 2. – С. 22–34.
- Государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года». – 2014. – 21 апреля. – Режим доступа: <http://government.ru/media/files/AtEYgOHutVc.pdf> (Дата посещения: 05.02.2016.)
- Гудев П.А. Арктическая политика России: старые ошибки и новые возможности // Мир и политика. – М., 2013. – № 1. – Режим доступа: <http://mir-politika.ru/3512-arkticheskaya-politika-rossii-starye-oshibki-i-novye-vozmozhnosti.html> (Дата посещения: 05.02.2016.)
- Додин Д.А. Устойчивое развитие Арктики (проблемы и перспективы). – СПб.: Наука, 2005. – 283 с.

- Дрегало А.А., Ульяновский В.И. «Nordman»: пролегомены к социально-культурной типологии северного человека // Арктика и Север. – Архангельск, 2011. – № 1. – С. 14–35.
- Дугин А.Г. Мистерии Евразии. – М.: Арктогея, 1996. – 191 с.
- Дугин А.Г. Метафизика и геополитика природных ресурсов. Какой быть энергетической стратегии России. – 2002. – 14 декабря. – Режим доступа: <http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1039816440> (Дата посещения: 05.02.2016.)
- Дугин А.Г. Знаки Великого Норда. Гипербореяская теория. – М.: Вече, 2008. – 320 с.
- Дугин А.Г. Теория многополярного мира. – М.: Евразийское движение, 2012. – 533 с.
- Дугин А.Г. Евразийский реванш России. – М.: Алгоритм, 2014. – 256 с.
- Жильцов С.С. Арктика: Геополитика и борьба за углеводородные ресурсы // Мир и политика. – М., 2012. – № 2. – Режим доступа: <http://mir-politika.ru/101-arktika-geopolitika-i-borba-za-uglevodorodnye-resursy.html> (Дата посещения: 05.02.2016.)
- Журавлёва О., Проханов А. Особое мнение // Эхо Москвы. – М., 2013. – 9 октября. – Режим доступа: <http://echo.msk.ru/programs/personalno/1173066-echo/> (Дата посещения: 07.02.2016.)
- Зарубин П. Президент приоткрыл планы на Арктику // Вести. – М., 2014. – 22 апреля. – Режим доступа: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=1506494> (Дата посещения: 07.02.2016.)
- Инджиев А.А. Битва за Арктику. Будет ли Север Русским? – М.: Эксмо, 2010. – 224 с.
- Кукулин И. «Внутренняя постколонизация»: формирование постколониального сознания в русской литературе 1970–2000 годов // Политическая концептология. – Ростов-на-Дону, 2013. – № 2. – С. 149–185.
- Лукин Ю.Ф. Концептуальные подходы к определению внутренних границ и развитию Российской Арктики в изменяющемся мире // Арктика и Север. – Архангельск, 2012. – № 6. – С. 94–109.
- Медведев С. Заповедная территория: Арктику нужно спасти от корпораций и государств // Forbes. – М., 2013. – 3 октября. – Режим доступа: <http://www.forbes.ru/mneniya-column/tsennosti/245761-zapovednaya-territoriya-arktiku-nuzhno-spasti-ot-korporatsii-i-gosud> (Дата посещения: 07.02.2016.)
- Михайлова Е. Нужно формировать оседлое население Арктики / Российский совет по международным делам. – М., 2015. – 3 июля. – Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6285#top-content (Дата посещения: 07.02.2016.)
- Моргунова М. Арктическая «сага» России / Российский совет по международным делам. – М., 2014. – 7 мая. – Режим доступа: http://russiancouncil.ru/library/?id_4=490 (Дата посещения: 07.02.2016.)
- Назукина М.В. Основные тренды позиционирования регионов российской Арктики // Лабиринт. – Иваново, 2013. – № 5. – С. 59–68.
- Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу // Российская газета. – М., 2008. – 18 сентября. – Режим доступа: www.rg.ru/2009/03/30/arktika-osnovy-dok.html (Дата посещения: 05.02.2016.)
- Перелет Р.А., Кукушкина А.В., Травников М.А. Проблемы обеспечения экологической безопасности и управляемости в Арктике (экономико-правовые аспекты) // Российский ежегодник международного права. – СПб.: Россия-Нева, 2000. – С. 153–169.

- Проханов А.А. Северный Ледовитый океан – внутреннее море России // *Завтра*. – 2007. – 7 августа. – Режим доступа: <http://zavtra.ru/content/view/2007-08-0811/> (Дата посещения: 07.02.2016.)
- Проханов А.А. Русские – спецназ человечества // *Newsland*. – 2013. – 30 января. – Режим доступа: <http://newsland.com/user/alexandrprohanov/content/1794478> (Дата посещения: 07.02.2016.)
- Путин В.В. Выступление на пленарном заседании III Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» // *Президент России*. – Салехард, 2013. – 25 сентября. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/19281> (Дата посещения: 07.02.2016.)
- Рогозин о санкциях – «танкам визы не нужны» // *РИА-Новости*. – М., 2015. – 25 мая. – Режим доступа: http://ria.ru/defense_safety/20150525/1066294026.html (Дата посещения: 07.02.2016.)
- Селин В.С., Васильев В.В. Взаимодействие глобальных, национальных и региональных экономических интересов в освоении Севера и Арктики / *Ин-т экон. проблем Кольского научного центра РАН*. – Апатиты: изд. КНЦ РАН, 2010. – 191 с.
- Сиваков Д.О. Право и Арктика: современные проблемы // *Вестник Удмуртского университета. Сер. «Экономика и право»*. – Уфа, 2009. – Вып. 2. – С. 238–243.
- Слѣзкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. – М.: НЛЮ, 2008. – 516 с.
- Совещание по вопросу эффективного и безопасного освоения Арктики // *Президент России*. – М., 2014. – 5 июня. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/45856> (Дата посещения: 08.02.2016.)
- Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. – М., 2013. – 20 февраля. – Режим доступа: <http://правительство.рф/docs/22846/> (Дата посещения: 05.02.2016.)
- Фененко А. Международное соперничество за освоение общих пространств // *Международные процессы*. – М., 2010. – Т. 8, № 1 (22). – С. 14–30.
- Харлампиева Н.К., Лагутина М.Л. Транснациональная модель арктического управления в XXI веке // *Арктика и Север*. – Архангельск, 2011. – № 3. – С. 64–82.
- Ширина Д.А. Международное сотрудничество: к новому мышлению в Арктике // *Современная Арктика: опыт изучения и проблемы*. – Якутск: Изд-во Сибирского отделения РАН, 2005. – С. 7–33.
- Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. – М.: НЛЮ, 2014. – 448 с.
- Ядуха В. Полярная война. США против России // *РБК*. – М., 2007. – 1 августа. – Режим доступа: <http://rbcdaily.ru/world/562949978977881> (Дата посещения: 08.02.2016.)
- Anishchuk A. Russia needs Arctic presence to guard against U.S. threat: Putin // *Chicago Tribune*. – 2013. – 3 December. – Mode of access: <http://www.chicagotribune.com/news/sns-rt-us-al-russia-putin-arctic-20131203,0,5499339.story> (Дата посещения: 07.02.2016.)
- Silis I. Russia the colonizer // *Arctic journal*. – Nuuk, 2014. – 1 October. – Mode of access: <http://arcticjournal.com/opinion/1050/russia-coloniser> (Дата посещения: 07.02.2016.)

В.Н. Ефремова *

НОВЫЙ ГОД В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАЗДНИКА В МЕНЯЮЩЕМСЯ КОНТЕКСТЕ¹

Аннотация. В статье рассматривается эволюция практик официального празднования Нового года в современной России. Автор показывает, как самый неполитический государственный праздник был адаптирован новым политическим режимом в качестве инструмента символической политики и способа коммуникации между властью и обществом. Жанр новогоднего обращения главы государства к гражданам, являющегося центральным элементом официальных практик празднования Нового года, окончательно сложился при В.В. Путине. Если при Б.Н. Ельцина обращения записывались не каждый год и носили форму отчета о преобразованиях и воспоминания о пережитых катаклизмах, то при В.В. Путине и Д.А. Медведеве они стали нести меньшую информативную нагрузку и приобрели более спокойную эмоциональную окраску.

Ключевые слова: Новый год; новогоднее обращение президента; Б.Н. Ельцин; В.В. Путин; Д.А. Медведев; символическая политика; традиции.

V.N. Efremova

The New Year in the modern Russia: The political usage of the holiday in a changing context

Abstract. The article describes the evolution of the official practices of celebration the New Year in modern Russia. The author shows how the most nonpolitical public holiday has been accommodated to new political regime as a tool of symbolic

* **Ефремова Валентина Николаевна**, кандидат политических наук, научный сотрудник ИНИОН РАН, e-mail: efremova-valentina@mail.ru

Efremova Valentina, Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Science (Moscow, Russia), e-mail: efremova-valentina@mail.ru

¹ Исследование проводится в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Историческая память и российская идентичность».

politics and the occasion for communication between the elite and society. Annual presidential New Year's address as a central element of the official practices of celebrating the New Year has been developed by V.V. Putin as a genre of political discourse and as a tradition. B.N. Yeltsin's addresses were not every year and mostly took the form of the reports. V.V. Putin and his successor D.A. Medvedev began create New Year's treatments less informative and more emotional.

Keywords: New Year; president's New Year address; B.N. Yeltsin; V.V. Putin; D.A. Medvedev; symbolic politics; tradition.

После распада СССР все бывшие советские республики, в том числе Россия, столкнулись с необходимостью проведения символической политики, которая могла бы легитимировать новые режимы. Неотъемлемой частью таких изменений стали пересмотр праздничного календаря и выбор новых государственных праздников.

Новый год – один из популярных праздников в современной России, доставшийся от предыдущего режима. Как показывают опросы общественного мнения, именно Новый год отмечают наибольшее число граждан: 83% опрошенных (по данным Левада-центра) считают его самым важным праздником в году [Международный... 2016]. Далее по значимости следуют дни рождения / именины близких и знакомых (44%), личный день рождения (41%), День Победы (38%), Пасха (25%). В то же время Новый год в нашей стране рассматривается подавляющим числом граждан как *самый «домашний», неполитический праздник* (83% опрошенных) [Доминанты, 2016, с. 26]. Возможно, причина этого – длительные новогодние каникулы, дающие гражданам дополнительные выходные дни и возможность отдохнуть. В этот период замирает всякая политическая активность.

Традиция празднования Нового года возникла в советский период и связана с переходом в 1918 г. на новый стиль летоисчисления, а также с намерениями советской власти уйти от празднования религиозного Рождества Христова. В СССР выходной день 1 января, приуроченный к празднованию Нового года, был утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР лишь 23 декабря 1947 г. [Указ Президиума... 1947]. Как и другие государственные праздники в Советском Союзе, Новый год занимал важное место в арсенале пропаганды, служил «инструментом для популяризации политических целей и манипулирования людьми», был также «одним из каналов, через которые политика режима проводилась в жизнь» [Рольф, 2009, с. 7].

Официальные традиции празднования Нового года связаны с практиками обращений президентов. Такой жанр политического

дискурса, как новогоднее обращение главы государства, используется в Великобритании, Германии, Австрии, КНДР, а также в ряде бывших советских республик (Украина, Белоруссия, Казахстан и др.). История новогодних обращений президента РФ к гражданам также начинается в Советском Союзе. Как отмечает В. Ослопова, начало этому положил формальный глава Советского государства М. Калинин, который «в первый раз от имени государства обратился по радио к своим согражданам 31 декабря 1935 г. Но не ко всем, а только к покорителям Арктики. Он же 31 декабря 1941 г. поздравлял в прямом эфире по радио уже весь советский народ» [Ослопова, 2009, с. 19–20]. Тогда, в первый год Великой Отечественной войны, обращение было использовано для подведения промежуточных итогов военных операций.

Начиная с Л. Брежнева практика новогодних обращений, носящих форму *отчета партруководства за прошедший год*, постепенно закрепились в качестве инструмента внедрения в массовое сознание идей, декларирующих успех компартии. Особенностью советских новогодних поздравлений было то, что они не были регулярны, кроме того, нередко вместо высшего руководства страны их зачитывали дикторы центрального телевидения.

М. Горбачев внес ряд изменений в традицию новогоднего обращения. В частности, с него пошла практика поздравления граждан не из студии в Останкино, а из кабинета в Кремле. А накануне 1986 г. на волне международной разрядки М. Горбачев обратился с новогодним обращением не к собственному народу, а к гражданам США. С Новым годом граждан СССР поздравил Рональд Рейган [Парфенов, 2012]. Повторно перекрестные обращения прозвучали в декабре 1987 г. [Reagan, Gorbachev, 2011]: оба лидера говорили о мире и о сокращении ядерных вооружений.

В современной России Новый год по-прежнему остается средством коммуникации между властью и обществом. Новый год и новогодние обращения были интегрированы в постсоветский официальный канон во многом благодаря высокой степени адаптивности советских массовых праздников, которые на практике легко могли быть наполнены иными по содержанию и по форме элементами [Рольф, 2009, с. 354].

Очевидно, что официальные практики поздравления с Новым годом, принятые в Советском Союзе, требовали пересмотра. Тем более что развитие средств массовой коммуникации, и в первую очередь – телевидения, открывало новые возможности для использования этого символического ресурса. Государство пошло

по пути постепенного изменения идеологического содержания государственных праздников.

В данной статье мы попытаемся продемонстрировать, что Новый год продолжает использоваться властными элитами для продвижения актуальных политических идей, хотя и воспринимается как «самый неполитический праздник». Мы проследим, как происходили эволюция практик официального празднования Нового года и пересмотр советских традиций праздника. Материалом для нашего анализа послужили тексты официальных новогодних поздравлений, а также видеообращения президентов России Б.Н. Ельцина, В.В. Путина и Д.А. Медведева.

Отрицание тоталитарного прошлого и приспособление праздника

Поражение августовского путча, а с ним и слом коммунистического режима и партийных структур, «цементирующих» СССР, не привели к глубоким культурным изменениям и отказу от «старых» политико-символических практик. И в этом смысле символическая политика была подчинена задаче оправдания курса на радикальную трансформацию политического порядка [Малинова, 2013 в, с. 117]. Тем не менее Б.Н. Ельцин не пошел на кардинальное упразднение старых праздников, хотя часть радикально настроенных демократических сил добивалась этого. Политическая система находилась в состоянии транзита и в поиске качественно новой, альтернативной концепции общества и государства, базовых принципов и ценностей.

Новогодние обращения первых лиц компартии СССР подчинялись канонам советской пропаганды и ставили в первую очередь задачу планирования будущего. Б.Н. Ельцин же пытался уйти от советских традиций, что выражалось в пересмотре практик официальных поздравлений.

Первое новогоднее обращение российского президента было записано в преддверии 1992 г. и значительно разнилось с привычной советским гражданам манерой изложения. Обращение было выпущено в эфир 30 декабря 1991 г. и опубликовано в «Российской газете» [Ельцин, 1991]. Центральное место в нем занимала тема распада СССР и оценка наследства, доставшегося России. Предстоящий 1992 г. был обозначен как особый: «Нам предстоит создать основы новой жизни. Говорил не раз и хочу повторить:

нам будет трудно, но этот период не будет длинным. Речь идет о 6–8 месяцах» [там же]. Большая часть обращения была посвящена приватизации, началу перехода к рыночной экономике и освобождению цен со 2 января 1992 г. Уже в январе 1992 г. президент подписал указ «О свободе торговли», положивший конец распределительной системе советской торговли.

Непосредственно же 31 декабря 1991 г. по центральным телеканалам страну поздравил с Новым годом сатирик М. Задорнов [Задорнов, 1991]. Тем самым народу была дана возможность за праздничным столом не думать о политике и тяжелых испытаниях.

Следующий, 1992 год, ознаменовавшийся реализацией «шоковой терапии» и переходом к новому типу экономики, страна проводила без официального поздравления президента. Хотя 1992 год был значим для страны: были до известной степени урегулированы отношения с субъектами федерации, а также на VII Съезде депутатов было принято решение вынести вопрос о новой конституции.

1993 г. граждане России также встречали без официального поздравления главы государства.

В дальнейшем Б.Н. Ельцин задал новую традицию практик новогоднего обращения. Начиная с декабря 1994 г. первый президент РФ ежегодно выступал с новогодними обращениями, которые записывались в его рабочем кабинете. В отличие от поздравительных речей руководителей СССР обращения Б.Н. Ельцина были посвящены в том числе неприятным событиям недавней истории (например, оправданию введения российских войск на территорию Чечни и силовому подчинению республики федеральным законам в 1994 г.) [Ельцин, 1994].

При Б.Н. Ельцине новогодние обращения становятся персонализированными. Они выражают *личную ответственность* главы государства за осуществленные преобразования и неоправданные ожидания. Неотъемлемым элементом поздравлений Б.Н. Ельцина, нивелирующим формальность ситуации, стал бокал шампанского.

Адресатом поздравлений Б.Н. Ельцина являлись граждане страны как единого целого, «россияне» и соотечественники¹, живущие за рубежом, а не только народ, преданный компартии и ее идеям (как это было в советское время). Прошлое фигурировало в его обращениях в модальности своеобразного отчета – это тоже отлича-

¹ Впервые тема соотечественников появилась в новогоднем поздравлении 31 декабря 1994 г.

лось от советских практик, включавших поздравления с досрочно завершенными планами. В целом поздравления Б.Н. Ельцина содержали много личного, он нередко обращался к теме семьи.

Телеканалы не всегда транслировали президентские новогодние обращения. Например, 31 декабря 1993 г. телеканал «НТВ» показал поздравление руководителя объединения «МММ» С. Мавроди [Мавроди, 1993]. По словам С. Мавроди, в тот период любой, «у кого есть деньги», мог поздравить страну с Новым годом [Сергей Мавроди – НГ 1994, 2010]. Он также утверждал, что после его выступления в моду вошли малиновые пиджаки, ставшие атрибутом нового социального класса предпринимателей – «новых русских». Известно, что в дальнейшем С. Мавроди использовал поздравительный ролик для рекламы «МММ».

Второй президентский срок Б.Н. Ельцина, в рамках которого был провозглашен курс на поиск национальной идеи, не внес ясности в практики использования государственных праздников в целом [см. подробнее: Ефремова, 2015]. Критики со стороны оппозиционно настроенных политических сил хватало: финансово-экономический кризис, дефолт 1998 г., невыплата зарплаты бюджетникам, тяжелое положение в промышленной отрасли, последствия войны в Чечне, рост внешнего долга. Это использовалось разными СМИ, которые за годы ельцинских реформ избавились от прямого влияния государства и частично перешли в частную собственность. Славу оппозиционного СМИ и жесткого неприятия действий Б.Н. Ельцина снискал образованный в 1993 г. телеканал НТВ. Так, обличая недостатки президента (его возраст, состояние здоровья, злоупотребление алкоголем), в эфире НТВ в новогоднем поздравлении вместо реального президента выступил кукольный Ельцин из передачи «Куклы» [Новогодняя программа «Куклы», 1998]. Однако это было последнее шуточное поздравительное обращение.

31 декабря 1999 г. все телеканалы транслировали два новогодних обращения: в полдень по московскому времени – Б.Н. Ельцина, который сообщил о том, что снимает с себя полномочия президента. А за несколько минут до 2000 г. были показаны два выступления – Б.Н. Ельцина [Ельцин, 1999] и и.о. президента В.В. Путина [Путин, 1999]. Они отличались как содержательно, так и по эмоциональному наполнению. Выступление Б.Н. Ельцина было очень личное и носило характер исповеди, в которой он просил «прощения... за то, что многие наши с вами мечты не сбылись. И то, что нам казалось просто, – оказалось мучительно тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним

рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее» [Ельцин, 1999].

Новогоднее обращение В.В. Путина в качестве и.о. президента можно считать первым его политическим заявлением в качестве главы государства. Свобода слова, свобода совести, свобода средств массовой информации, права собственности были декларированы как основополагающие ценности новой постсоветской России в соответствии с конституцией [Путин, 1999]. Уже тогда безопасность и правопорядок стали основными приоритетами существования государства.

Фактически новогодняя ночь 1999–2000 гг., когда в эфире центральных каналов появилось два новогодних обращения, завершила первый этап в символической политике государства и ознаменовала начало нового.

Таким образом, в первое десятилетие после распада Советского Союза и формирования новой государственности символические практики, связанные с празднованием Нового года, подверглись пересмотру. Новому режиму потребовалось время, чтобы сформулировать новый национальный нарратив, который давал бы ответы на вопросы о характере политической и экономической систем, отношении к границам государства и бывшим советским республикам [Gill, 2013, p. 26–27; см. также: Малинова, 2015, с. 128–155].

Курс на великодержавность и новый порядок официального празднования Нового года

С приходом к власти президента В.В. Путина в России начался новый этап символической политики. Его стержнем стала идея создания «сильного государства». Новый режим «пытался сочетать идею возврата к российским и советским традициям с утверждением того, что в стране продолжается строительство демократии» [Копосов, 2011, с. 137].

Принятый в 2001 г. Трудовой кодекс изменил название праздника: с 2002 г. он стал именоваться Новогодними каникулами (1 и 2 января). А с поправками 2004 г., за счет сокращения майских праздников (до 1 дня) и отмены декабрьского Дня Конституции, Новогодние каникулы удлинились с двух до пяти дней в январе.

В.В. Путин восстановил советскую практику ежегодного поздравления граждан с Новым годом. Более того, как показывает анализ официальных поздравительных выступлений, в течение двух первых президентских сроков В.В. Путина новогоднее обращение главы государства к гражданам сложилось и как жанр политического дискурса, и как традиция. Оно имеет однозначного адресата (граждане России), жестко привязано к определенному событию (встреча Нового года), фиксировано во временном и пространственном плане. Запись новогоднего обращения президента РФ передается по телевидению и радио в 23:55 по местному времени каждого из часовых поясов России. В своем обращении президент подводит итоги уходящего года, определяет приоритеты на следующий и поздравляет граждан с Новым годом. После его речи звучат полночный бой курантов, возвещающий о начале Нового года, и государственный гимн России, исполнение которого сопровождается по телевидению кадрами ночного Кремля.

В отличие от Б.Н. Ельцина, В.В. Путин уже в первый президентский срок превратился в фигуру, неприкасаемую для критики на телевидении. В 2002 г. на НТВ была закрыта программа «Куклы». Одной из причин этого считаются преследования владельца канала – оппозиционного олигарха В. Гусинского [Политические марионетки, 2016].

При ближайшем рассмотрении выступлений В.В. Путина выясняется, что он старается максимально отойти от информативности, вызывая к понятным позитивным эмоциям. Он использует неидеологически окрашенные категории: «здоровье», «мир», «благополучие», «удача» [Путин, 2000], «благополучие», «счастье» [Путин, 2001], «мир и достаток» [Путин, 2002], «добро», «надежда», «вера в будущее», «душевный покой» [Путин, 2003] и т.д. В каждом новогоднем обращении В.В. Путина особое место уделено экономике и улучшению жизни людей, о чем, например, не говорил Д.А. Медведев, хоть и придерживался сформированной предшественником традиции.

Обращает на себя внимание тот факт, что В.В. Путин и Д.А. Медведев в новогодних поздравлениях избегают употреблять личное местоимение «я» (которое любил использовать Б.Н. Ельцин). Его преемники предпочитают выражения «мы», «наш», «всех нас», «каждый из нас», отождествляя себя с российским народом.

Идея единения (единства) в поздравительных речах президентов В.В. Путина и Д.А. Медведева нередко оказывается сопряженной с семейными традициями и ценностям, понятными и вос-

требуемыми в русской культуре («А все, чего мы добились, – это не просто подарок судьбы, потому что весь год мы упорно трудились. Трудились и для себя, и для благополучия своих семей» [Путин, 2003]; «И всех нас – таких разных – сейчас объединяют надежды на добрые перемены, объединяет чувство принадлежности к одной большой семье, имя которой Россия» [Путин, 2006]; «Новый год – любимый семейный праздник. Сегодня мы думаем о самых близких людях – о наших родителях, которым желаем прежде всего здоровья» [Медведев, 2009]). Благодаря отсылке к семейным ценностям проводится параллель между государством и обществом как единой семьей.

Кроме того, в отличие от некоторых других типов официальных выступлений, носящих информативный характер, в новогодних поздравлениях коммуникативный аспект замещает информативность. Новогодние выступления несут важную символическую нагрузку, поскольку представляют собой обращения к обществу с оценкой уже принятых решений, реализованных программ. При этом отсутствие новизны в сообщении неизбежно переключает фокус внимания участников коммуникации на другие его компоненты: важным оказывается не столько содержание высказывания, сколько сам факт его произнесения. Таким образом, новогоднее обращение, трансляцию которого смотрят более 96% граждан ежегодно [см.: Доминанты, 2016], представляет собой торжественную интеракцию: народ, нация является таким же полноправным участником торжества, как и президент.

Поздравительные выступления В.В. Путина максимально деполитизированы и одновременно ориентированы на формулирование общей идеи единения, которая проходит «красной нитью» через ряд других государственных праздников¹ и, по мнению О.Б. Подвинцева, составляет «основу идеологического багажа существующего в настоящее время в России режима» [Подвинцев, 2011, с. 22].

Лишь отдельные новогодние поздравления касаются знаковых событий в жизни страны. Так, например, поздравление, записанное в декабре 2009 г., было посвящено грядущему 65-летию Победы [Медведев, 2009], поздравление с 2012 г. – 20-летию «страны с именем Россия» [Медведев, 2011]. В новогоднем послании 31 декабря 2014 г. центральной темой стала «любовь к Родине» и

¹ День народного единства – самый молодой государственный праздник, учрежденный в 2004 г., здесь имеет далеко не последнее значение [см.: Ефремова, 2012].

«братская поддержка жителей Крыма и Севастополя», «твердо решивших вернуться в свой родной дом» [Путин, 2014].

Третий президентский срок В.В. Путина ознаменовался новой постановкой вопроса о национальной идентичности [подробнее см.: Малинова, 2013 а, с. 196–206] на фоне консервативного поворота в дискурсе власти и антизападнических настроений в обществе. Обострение дипломатических отношений с западными партнерами, присоединение Крыма наложили отпечаток на риторику президентских новогодних выступлений (хотя прямых упоминаний об этих событиях в них не было). В обращениях главы государства отчетливо стали звучать идеи «сильного, успешного государства» [Путин, 2012], а также необходимости укрепления обороноспособности и роли «защитников нашей страны, нашей границы» [Путин, 2015]¹.

Из всего набора новогодних обращений с 2012 г., безусловно, выбивается то, которое было записано в канун 2014 г. [Путин, 2013]. Во-первых, оно было снято не у стен Кремля, а транслировалось в прямом эфире из Хабаровска, где В.В. Путин присутствовал на новогоднем вечере, который не выглядел праздничным. Как выяснилось позже, обращение уже было записано, но из-за террористических актов в Волгограде накануне праздников было переписано. Во-вторых, обращение в канун 2014 г. не содержало наставления о большом имиджевом проекте, который Россия должна была реализовать в 2014 г., – Зимних Олимпийских играх. В-третьих, по времени обращение было самым длинным среди тех, что были ранее. И, в-четвертых, впервые В.В. Путин заговорил о трагических событиях, что само по себе является исключением для жанра поздравления. На основании чего можно утверждать, что поздравительное выступление имело политическую цель – борьбу с оппонентами, которые имеют своей целью дестабилизировать ситуацию в стране.

* * *

Новогодние обращения современной российской властвующей элиты являются удачным примером того, как государственный праздник был адаптированным политическим режимом.

¹ Напрашивается параллель с одним из первых новогодних поздравлений, прозвучавшим от имени М. Калинина в 1941 г.

Расширение новогодних каникул при В.В. Путине позволило добиться высокой степени деполитизации праздника в сознании россиян и в то же время восприятия официальных практик празднования. Власть умело использует новогодние поздравления, подводя итоги года и избегая прямой политической оценки событий.

В конечном счете праздник играет важную коммуникативную роль и оказывается важным звеном в формировании национальной солидарности и единения.

Литература

- Доминанты. Поле мнений: Социологический бюллетень / ФОМ. – М., 2016. – 14 января. – 33 с. – Режим доступа: <http://bd.fom.ru/pdf/d0116.pdf> (Дата посещения: 11.03.2016.)
- Ельцин Б.Н. Заявление Бориса Ельцина // Президент России. – М., 1999. – 31 декабря. – Режим доступа: http://archive.kremlin.ru/appears/1999/12/31/0003_type82634_119554.shtml (Дата посещения: 19.03.2016.)
- Ельцин Б.Н. Нам предстоит создать основы новой жизни: Выступление Б.Н. Ельцина по телевидению // Российская газета. – М., 1991. – № 290 (336), 31 декабря. – С. 1.
- Ельцин Б.Н. Новогоднее поздравление Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина. – М., 1994. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=_1EV-MFTnnQ (Дата посещения: 19.03.2016.)
- Ефремова В.Н. Государственные праздники как инструменты символической политики в современной России: Дис. ... канд. полит. наук (специальность: 23.00.02). – М., 2015. – 230 с.
- Ефремова В.Н. День народного единства: изобретение праздника // Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН ИНИОН. – М., 2012. – Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – С. 286–300.
- Задорнов М. Новогоднее поздравление Михаила Задорнова, 1991. – Полная версия. – М., 1991. – 31 декабря. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=UNxU2Y01fdU> (Дата посещения: 19.03.2016.)
- Копосов Н. Память строгого режима: История и политика в России. – М.: НЛЮ, 2011. – 320 с.
- Мавроди С. Новогоднее поздравление. – М., 1993. – 31 декабря. – Режим доступа: <http://www.youtube.com/watch?v=mTVeAfMHgIE> (Дата посещения: 09.12.2014.)
- Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. – М.: Политическая энциклопедия, 2015. – 207 с.
- Малинова О.Ю. Конструирование смыслов: Исследование символической политики в современной России: Монография / РАН. ИНИОН. – М., 2013 а. – 421 с.

- Малинова О.Ю. Проблема политически «пригодного» прошлого и эволюция официальной символической политики в постсоветской России // Политическая концептология. – Ростов-на-Дону, 2013 г. – № 1. – С. 114–130.
- Медведев Д.А. Новогоднее обращение к гражданам России // Президент России. – М., 2009. – 31 декабря. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/6557> (Дата посещения: 19.03.2016.)
- Медведев Д.А. Новогоднее обращение к гражданам России // Президент России. – М., 2011. – 31 декабря. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/14193> (Дата посещения: 19.03.2016.)
- Международный женский день и гендерное равноправие // Левада-Центр. – М., 2016. – 4 марта. – Режим доступа: <http://www.levada.ru/2016/03/04/mezhdunarodnyj-zhenskij-den-i-gendernoe-ravnopravie/> (Дата посещения: 27.03.2016.)
- Новогодняя программа «Куклы». 31.12.1998 г. (часть 4) / НТВ. – М., 1998. – URL: <http://www.youtube.com/watch?v=JYz6TkaRjIg> (Дата посещения: 09.12.2014.)
- Ослопова В.О. Новогоднее обращение главы государства к народу как жанр политического дискурса // Вестник Томского университета. – Томск, 2009. – № 329. – С. 19–20.
- Парфенов Л. Новогоднее обращение М.С. Горбачева и Р. Рейгана, 1986 // Намедни. – М., 2012. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=N9jM5k8mkaw> (Дата посещения: 28.03.2016.)
- Подвинцев О.Б. Идеологический багаж российской власти в преддверии реформирования правящего тандема // Вестник Пермского университета. Серия: «Политология». – Пермь, 2011. – Вып. 4(16). – С. 22.
- Политические марионетки // Коммерсантъ. – М., 2016. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/gallery/2613417#id=1091167> (Дата посещения: 27.03.2016.)
- Президент Медведев впервые поздравит россиян с Новым годом. Как это было до него (ЦИТАТЫ). – М., 2008. – 31 декабря. – Режим доступа: <http://www.newsru.com/russia/31dec2008/ngspeech.html#1> (Дата посещения: 19.03.2016.)
- Путин В.В. Новогоднее обращение исполняющего обязанности Президента Владимира Путина к гражданам России // Президент России. – М., 1999. – 31 декабря. – Режим доступа: <http://archive.kremlin.ru/text/appears/1999/12/59165.shtml> (Дата посещения: 19.03.2016.)
- Путин В.В. Новогоднее обращение к гражданам России // Президент России. – М., 2000. – 31 декабря. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21153> (Дата посещения: 19.03.2016.)
- Путин В.В. Новогоднее обращение к гражданам России // Президент России. – М., 2001. – 31 декабря. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/copy/21811> (Дата посещения: 19.03.2016.)
- Путин В.В. Новогоднее обращение к гражданам России // Президент России. – М., 2002. – 31 декабря. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21816> (Дата посещения: 19.03.2016.)
- Путин В.В. Новогоднее обращение к гражданам России // Президент России. – М., 2003. – 31 декабря. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22272> (Дата посещения: 19.03.2016.)
- Путин В.В. Новогоднее обращение к гражданам России // Президент России. – М., 2004. – 31 декабря. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22770> (Дата посещения: 19.03.2016.)

- Путин В.В. Новогоднее обращение к гражданам России // Президент России. – М., 2006. – 31 декабря. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/ganscripts/23988> (Дата посещения: 19.03.2016.)
- Путин В.В. Новогоднее обращение к гражданам России // Президент России. – М., 2012. – 31 декабря. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/17260> (Дата посещения: 19.03.2016.)
- Путин В.В. Новогоднее обращение к гражданам России // Президент России. – М., 2013. – 31 декабря. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/20022> (Дата посещения: 19.03.2016.)
- Путин В.В. Новогоднее обращение к гражданам России // Президент России. – М., 2014. – 31 декабря. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/47446> (Дата посещения: 19.03.2016.)
- Путин В.В. Новогоднее обращение к гражданам России // Президент России. – М., 2015. – 31 декабря. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/51128> (Дата посещения: 19.03.2016.)
- Рольф М. Советские массовые праздники / Пер. с нем. В.Т. Алтухова. – М.: РОССПЭН: Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2009. – 440 с.
- Сергей Мавроди – НГ 1994. – 2010. – Режим доступа: <http://www.youtube.com/watch?v=moYvFn-UoeQ> (Дата посещения: 09.12.2014.)
- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1947 г. «Об объявлении 1 января нерабочим днем». – М., 1947. – Режим доступа: http://base.garant.ru/70819134/#block_1#ixzz43MOduvKP (Дата посещения: 19.03.2016.)
- Gill G.J. Symbolism and regime change in Russia. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2013. – 246 p.
- Reagan R., Gorbachev M. Reagan-Gorbachev New Year's Day Messages, 1987. – 2011. – Mode of access: https://www.youtube.com/watch?v=GX7mR0X_sqU#t=34 (Дата посещения: 28.03.2016.)

ПЕРЕЧИТЫВАЯ КЛАССИКУ

Эдельман М.

ЭСКАЛАЦИЯ И РИТУАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА (Реферат)

Ref. ad op.: Edelman M. Escalation and ritualization of political conflict // The American behavioral scientist. – Princeton, N.J., 1969. – Vol. 13, N. 2. – P. 231–246.

Американский политолог Мюррей Эдельман был одним из первых, кто обратил внимание на значение процесса формирования смыслов в политике. В статье «Эскалация и ритуализация политического конфликта», позже превратившейся в главу книги «Политика как символическое действие» (1971), он утверждает, что массовое поведение нередко формируется не столько фактами, сколько социальными установками и восприятием. Опираясь на идеи Дж.Г. Мида, Э. Кассирера и А. Шюца, Эдельман ставит в центр анализа способность человека к символизации и способность изменять свои установки и ценности, ориентируясь на других людей. Таким образом, политические установки человека сформированы в основном внешней средой, и немаловажную роль в этом играют политики: «Другими словами, политические действия возбуждают или удовлетворяют людей не столько благодаря гарантии и сохранности их стабильных существенных требований, а из-за изменения их требований и ожиданий» (р. 232). Например, акт голосования подается политиками как возможность влияния общества на политику, хотя эмпирические исследования такую возможность ставят под сомнения.

В первом разделе статьи, озаглавленном «Политическая динамика эскалации» Эдельман поясняет, как работают описанные

им процессы на практике. То, что действия власти способствуют формированию разделяемых представлений, само по себе не объясняет готовности масс жертвовать, нападать, убивать или терпеть угнетение. Есть основание предполагать наличие параллельного процесса, объединяющего группы с разными заботами в единую политическую силу, проистекающую из сознания собственной идентичности. Этот процесс легче всего обнаружить на примере международного конфликта.

В большинстве современных исследований международных конфликтов в качестве единицы анализа рассматривается нация: именно нации вступают в конфликт, и публичные отчеты о международных организациях и переговорах создают впечатление, что центральную роль здесь играют национальные интересы. Однако внутри каждой из наций есть разнородные и конфликтующие группы, мнения которых по международным проблемам различаются: «голуби» и «ястребы», сторонники протекционизма и свободы торговли и т.п. Каждая из групп стремится получить определенные преимущества во внутренней политике: деньги, статус, политические назначения и др. Чтобы достичь этих целей, нужно иметь широкую общественную поддержку. Ее можно получить, отождествляя частные интересы с абстрактным, эмпирически неопределимым «национальным интересом», ибо люди привыкли использовать этот термин для описания целей страны на международной арене (р. 233). Таким образом политики объединяют людей, которые по-разному смотрят на вышеперечисленные внутренние проблемы.

Той же цели служит механизм эскалации и деэскалации конфликта, который Эдельман описывает на примере холодной войны. К эскалации конфликта прибегают агрессивно настроенные «ястребы». Укрепление позиций «ястребов» в Кремле ведет к более широкой поддержке «ястребов» в Пентагоне, и наоборот. «Ястребы» в соперничающих странах заинтересованы в том, чтобы распространять информацию о достижениях противоположной стороны. То же самое можно сказать о «голубях» – группах, которые стремятся к деэскалации конфликта. Таким образом, публичные действия стимулируют и помогают контролировать требования, страхи и ожидания к выгоде определенных групп, которые при этом нередко не выглядят как очевидные бенефициары. Тем не менее военные приобретают статус и ассигнования, промышленность – контракты, трудящиеся – рабочие места и т.п. В результате целый спектр разных групповых интересов, связанных с внутренней политикой,

начинает восприниматься сквозь призму конфликта между государствами. Вне зависимости от того, насколько эмпирически обоснованна вера в монолитный враждебный заговор (факты обычно противоречивы и не поддаются верификации), эти убеждения служат мобилизации масс на поддержку групповых интересов. По мысли Эдельмана, «ритуальное участие во взаимной эскалации (или дезэскалации) на основе мифических заговоров приносит инструментальные приобретения, которые однако не воспринимаются в качестве таковых» (р. 234).

Ситуация международного конфликта порождает ценностно окрашенные Я-концепции и роли. Без конфликта не было бы «ястребов» и «голубей». Таким образом, Я-концепции создаются за счет принятия общих представлений, или *мифов*, относительно хода событий. Механизм мобилизации масс, описанный в данном примере, работает благодаря тому, что конфликт имеет характер холодной войны, т.е. намерения противника остаются неясны. Когда конфликт переходит в вооруженную фазу, нехватка информации относительно позиций соперника исчезает. Однако малые войны и случайные перестрелки, ассоциирующиеся с холодной войной, усиливают веру в реальность угрозы со стороны противника.

Прежде чем перейти к другим примерам, Эдельман выделяет характерные черты мобилизующих мифов как социально-психологического феномена.

1. Различные интересы и тревоги переводятся в общий план или сюжет, предполагающий далеко идущие изменения или сохранение социального порядка; и судьба больших коллективов оказывается ключевым элементом такой парадигмы. Согласно ей, ничто в мире не происходит случайно, все имеет определенную цель.

2. Политические мифы сводятся к набору архетипических моделей, хотя они и весьма существенно варьируются в деталях. Они изображают либо врагов, плетущих заговоры против национальных интересов; либо спасителей / героев / лидеров, за которыми надо следовать или ради которых надо жертвовать и терпеть. Все типы политических отношений укладываются и транслируются в эти формы.

3. Процесс перевода интересов на язык мифов имеет ряд общих черт. Протагонистами мифического конфликта выступают лидеры и олигархи. Верховные вершители политики представляются в мифах монолитными и решительными, даже если в действительности они разделены на группы и их намерения не столь однозначны. Наконец, принятие мифических формулировок со-

провождается страхом, гневом, фрустрацией, т.е. эмоциями, сдерживающими эмпатию и готовность к пониманию чужих проблем и внутренних конфликтов.

По мнению Эдельмана, преобразование в миф не определяется природой конкретной политической проблемы. Он пишет о двух противоположных способах осознания и понимания социальных проблем: первый характеризуется систематической проверкой гипотез эмпирическими наблюдениями и осторожностью в выводах, второй предполагает восприятие посредством внушения, формирования веры, невосприимчивой к опровержению фактами. Во втором случае наблюдаемое отрицается и подавляется, если оно не поддерживается социальными санкциями. Напротив, мифическое и ненаблюдаемое публично одобряется, поскольку оно вызывает общественную поддержку.

Второй конфликт, рассматриваемый в статье, – *межрасовые отношения* на примере борьбы за гражданские права в США. По мысли Эдельмана, ни одна из сторон этого конфликта – ни сторонники свободы и равенства, ни приверженцы «данного Богом порядка» – не предлагают цели, которую можно было бы объективно обосновать в качестве достижимого консенсуса. Функция их призывов иная – они вызывают поддержку и оппозицию. При этом семантическая неоднозначность делает их убедительными символами общественной конденсации.

В то же время маневрирование на политическом поле, по-видимому выходящее за рамки этих целей, дает вполне ощутимые и разнообразные выгоды: обе стороны приобретают сторонников и деньги, а также роли и Я-концепции, или идентичности. Необходимость сохранять приобретенную идентичность объясняет эмоциональность, с которой люди защищают свои роли. Эскалация такого конфликта дает участвующим в нем политическим силам возможность играть роли, которые имеют поддержку. Например, полицейский повышает престиж своей роли защитника закона и охранника порядка. Повышенное внимание к теме гражданских прав дает представителям негроидной расы и тем, кто им симпатизирует, политические выгоды в виде программы борьбы с бедностью, права голоса и позиций в мэриях некоторых важных городов. Что, возможно, важнее, новые роли дают представителям этих групп новые основания для самоуважения и новые Я-концепции. Эти выгоды растут по мере эскалации конфликта, хотя этот эмпирический факт не соответствует символическому определению проблемы и поэтому систематически недооценивается.

Как отмечает Эдельман, данная модель несовместима с привычными представлениями о политическом конфликте, поскольку последние отражают мифы, которые не выдерживают серьезного анализа. Тем не менее она полностью совместима с эмпирически наблюдаемыми результатами конфликта. Данная модель выявляет функцию неопределенности и путаницы относительно политических проблем, союзов и линий размежевания сторон конфликта. «Сосредоточив внимание на случаях изменений в политической поддержке и оппозиции, можно объяснить связи между распределением ресурсов – заявленным и реальным – и такими сдвигами» (р. 238).

Эдельман рассматривает основные динамические факторы, способствующие состоянию покоя или насилия в сфере расовых отношений. Он подчеркивает важность мифа о симбиотическом социальном порядке, в котором негры играют подчиненную, а белые – верховную роль на основании разных способностей, или юридических прав, или данного Богом статуса, или народной воли. Единственное, что противоречит этому мифу, – это концепция равенства прав вне зависимости от цвета кожи и расы, а также представление о прогрессе в деле ее утверждения (см. Декларацию независимости и серию законов о гражданских правах 1950-х – конца 1960-х годов). Следует подчеркнуть, что все мифические формулировки, в которые люди облачают общественные проблемы, основываются на таких послышках, которые не поддаются эмпирическому наблюдению или верификации. Очевидный конфликт между мифами, выражаемыми в законах о гражданских правах, и мифами, оправдывающими неравенство, имеет своим следствием то, что вместе с тем или иным мифом индивид принимает Я-концепцию, роль или идентичность, которой он дорожит и которую стремится защитить.

Эдельман усматривает некоторые систематические причины того, что индивиды выбирают ту или иную Я-концепцию в зависимости от своего социального статуса.

- *Белые, принадлежавшие к состоятельному среднему классу*, поддерживали эгалитарный миф, поскольку конкуренция со стороны представителей негроидной расы не угрожала их занятости и социальному статусу. К тому же, эгалитарный миф способствовал более благотворной Я-концепции.

- *Белые, принадлежащие к рабочему классу*, поддерживали устоявшийся расовый миф. Социальному статусу такой группы эгалитарная идея угрожала напрямую – жители негритянских гетто могли составить конкуренцию белому рабочему классу. При

этом последние имеют больше возможностей наблюдать жизнь в гетто. Это способствует трансляции экономических и социальных страхов в миф угрозы.

- Во многом те же страхи и тот же опыт наблюдения объясняет преобладающую реакцию *белых полицейских* на негров и вообще на бедных.

- *Негры* колебались между принятым расовым мифом и заявленным эгалитарным. Человек из этой группы, переезжая в северные штаты из-за провозглашенной политики равенства, не мог больше верить в состоятельность старого расового мифа; тем не менее, находясь в гетто, он не мог поверить в то, что отношение к его группе на самом деле изменилось. Государственные программы, которые были направлены на расселение гетто, только заставляли члена этой группы оказаться в среде незнакомцев. «Такой конфликт между позиционированием себя и ожиданиями, переданный различными средствами публичной политики, неизбежно порождает дальнейшее отчуждение, страх и гнев» (р. 241), – пишет Эдельман. Социологические исследования восприятия ситуации с гражданскими правами в негритянских гетто показывают, что хотя публичная политика и формирует веру в равные права, повседневный опыт и реальные действия властей сигнализируют об обратном. Поэтому негры в гетто меньше верят в прогресс в этом отношении, чем белые и негры вне гетто.

Такая комбинация представлений и моделей поведения составила взрывоопасную смесь, поскольку она укрепляла в больших группах белых и негров веру в расовый конфликт, а также противоположные мифы, рационализировавшие позиции обеих сторон конфликта. Рабочий класс видел в представителях негроидной расы угрозу и создавал миф о заговоре против установленного порядка. Защищаясь от угрозы, рабочий класс приобретал новую свободу – свободу дискриминации «черных». В свою очередь, этот миф порождал отраженную реакцию у представителей негроидной расы: получалось, что распространенное мнение об их группе как бы дает им право на грабежи и разбои, запугивание бизнесменов и т.д.

Эти паттерны восприятия обусловили переход от ощущения стабильности к состоянию неопределенности, вызванной угрозой ролям и статусам, связанным с установившимся порядком, со стороны внешней группы. Эдельман подчеркивает, что это упрощенное объяснение: описанные механизмы по-разному воздействуют на разных индивидов.

Во втором разделе статьи, озаглавленном «Ритуализация политического конфликта», Эдельман замечает, что политика предполагает конфликт групп, но не каждый конфликт предполагает эскалацию. В предыдущем разделе показано, как политический конфликт может стабилизироваться.

В любых конфликтах, включающих значительную часть населения, бывают периоды, когда ожидание неограниченного угнетения или подавления легитимных требований способствует эскалации и иногда – насилию. В качестве примера Эдельман приводит протесты американских рабочих против работодателей в конце XIX в. Властям удалось подавить протесты и выстроить систему регулирования такого типа конфликтов.

Автор отмечает, что ключевым для стабилизации является умение предвидеть границы конфликта. Например, в случае с американскими рабочими государство дало членам этой группы право на забастовки и на официальное представительство. Экономический эффект таких действий был минимален, зато они имели огромное психологическое значение. Автор отмечает, что «в результате случилось не устранение конфликта, а его ритуализация» (р. 243). Ритуализация конфликта способствует социальному взаимодействию, переговорам и кооптации. Также ритуализация способствует принятию массами мифа о защищенном статусе и политике, основанной на объективном стандарте справедливости. Таким образом, отмечает Эдельман, эскалацию вызывает не использование переговоров, а отклонение от уже закрепленных ритуалов.

В третьем, заключительном разделе – «Символический конфликт и демобилизация масс» – Эдельман выделяет две формы конфликта, которые кажутся не тем, чем являются в действительности, – они влияют на состояние умов, а не на реальные инструментальные выгоды: (1) конфликты, связанные с абстрактными целями, у которых нет однозначных эмпирических референтов; (2) ритуализированные конфликты. И те и другие имеют общую политическую функцию: они «демобилизуют большие группы людей, которые в противном случае могут использовать свои политические ресурсы для достижения соответствующих инструментальных целей» (р. 244).

Первый случай Эдельман иллюстрирует примером символического конфликта между коммунистами и сторонниками свободного предпринимательства: нежелание занимать одну идеологическую сторону с коммунистами приводит к ослаблению поддержки гражданских прав и помощи бедным, к эффективному контролю

над бизнесом, как в 1950-е годы в Америке. Примером второго случая может служить электоральный конфликт между партиями в двухпартийной системе: иногда партии являются весьма схожими идеологически, но имеют полярные мнения по одному незначительному вопросу, а иногда – совершенно разными, но имеющими неоднозначные идеологии. В любом случае такая система вовлекает в политику большой сегмент граждан и таким образом легитимирует выборы и выбранных. При этом двухпартийная система ни в коем случае не предлагает массам влиять на политические процессы, но позволяет политически активным группам продвигать нужные им решения, не допуская помех со стороны общественности.

Символический или ритуализированный конфликт позволяет каждой из вовлеченных групп использовать ресурсы для торга, имея относительную свободу от массовой публики, которая могла бы быть затронута. Эдельман подчеркивает, что этот эффект – не обязательно следствие целенаправленной манипуляции, он может быть непреднамеренным последствием изменения представлений, обусловленных публичной политикой, и наблюдается и у масс, и у элит.

Д.В. Волкова,
студентка департамента
политической науки НИУ ВШЭ;
О.Ю. Малинова,
доктор философских наук,
главный научный сотрудник ИНИОН РАН,
профессор МГИМО МИД России,
e-mail: omalinova@mail.ru

Дёрнер А.

**ПОЛИТИЧЕСКИЙ МИФ И СИМВОЛИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА: ФОРМИРОВАНИЕ СМЫСЛА
С ПОМОЩЬЮ СИМВОЛИЧЕСКИХ ФОРМ НА
ПРИМЕРЕ МИФА О ГЕРМАНЕ
(Реферат)**

Ref. ad op.: Dörner A. Politischer Mythos und symbolische Politik: Sinnstiftung durch symbolische Formen am Beispiel des Hermanns mythos. – Opladen: Westdt. Verl., 1995. – 421 S.

Монография немецкого политического социолога Андреаса Дёрнера «политический миф и символическая политика» основана на его докторской диссертации. Впоследствии Дёрнер стал одним из видных теоретиков активно развивающегося в западной коммуникативистике направления – медиаведения, или науки о СМИ (Media studies, Medienwissenschaft). С 2004 г. он является профессором Марбургского университета им. Филиппа.

Аналитические возможности своей теории символической политики Дёрнер демонстрирует на примере мифа о Германе – легендарном герое древнегерманской истории¹, который оказывал

¹ Герман, или Арминий (лат. – Arminius) (16 г. до н.э. – 21 г. н.э.), – легендарный предводитель древнегерманского племени херусков. По свидетельствам Тацита, он находился на военной службе у Рима и даже удостоился звания всадника, но затем возглавил восстание своего племени против Римской империи. Под его водительством в 9 г. н.э. в ходе битвы в Тевтебургском лесу (район современного Билефельда) херуски, в основном нападая из засад, нанесли крупное поражение римской армии, которой командовал родственник императора Августа Публий Квинтилий Вар (погиб в битве). Позже Герман пытался возглавить сопротивление римской экспансии в Германии и объединить германские племена. В 21 г. н.э. погиб в результате заговора племенной знати.

заметное влияние на символическую политику в Германии в XIX–XX вв. Различия и особенности в обращении к мифу о Германе в разные периоды немецкой истории дают исследователю богатый материал и позволяют шире и в то же время конкретнее проанализировать свойства и средства символической политики как таковой.

В первой главе *«Политический миф и символическая политика»* Дёрнер обосновывает теоретико-концептуальные рамки своего исследования. Глава открывается разделом *«Политическая семиотика и политология символических форм»*. Анализируя известные концепции мифа, представленные в литературоведческих, культурологических и социальных науках, Дёрнер выделяет основания политологической теории мифа, которые, как считает автор, могут быть заданы семиотическим подходом к политике (*«semiotischen Dimension des Politischen»*) – «семиотическим измерением политического»). Такой подход рассматривает политику как область функционирования знаков, знаковых систем и их интерпретаций (семиозисов). Именно наличие такого семиотического измерения политического и является условием для появления и развития феноменов символической политики. Основы такого подхода, по мнению Дёрнера, заложены конструктивистской традицией в семиотической теории знаков, теорией символических форм Эрнста Кассирера, теорией семиосферы Юрия Лотмана, теорией дискурса Мишеля Фуко, теорией социальных полей Пьера Бурдьё и др.

Семиотическому пониманию политики может способствовать разработанная Юрием Лотманом концепция семиосферы. Согласно данной концепции, человек пребывает не только в окружающей его природной среде, но и в наполненной смыслами знаковой среде – семиосфере. Ее составляют как вербальные, так и визуальные и прочие знаковые формы. И хотя в мире далеко не все является знаком, все может стать знаком через семиотическое включение. Наличие такого семиотического измерения, имеющего место в исторической действительности, должно быть отражено и в ее теоретической реконструкции (с. 45).

Семиотическая теория знака, выделяющая в знаковом единстве «выражение» и «содержание» (Ельмслев), обосновывает интерпретативную природу «содержания» знака. Ее существо описывается с помощью введенного Чарльзом Пирсом понятия «семиозис», означающего интерпретацию содержания знака с помощью других знаков, т.е. двойной или конструктивный интерпретативный акт. В своей теории символических форм Эрнст Кассирер также акцентировал конструктивную, творческую роль зна-

ков в восприятии действительности. Знаково-символические формы являются не простыми копиями, а своего рода «руководящими предписаниями» (Richtlinien) восприятия, конституирующими действительность в ее единстве и многообразии. Первоначально, как отмечает Дёрнер, Кассирер рассматривал их вне политического измерения, но затем сделал шаг в направлении также и политической трактовки символических форм, о чем свидетельствует его работа «Миф государства» (с. 46).

Еще более существенно анализу символического измерения политики способствовало понятие дискурса, введенное Мишелем Фуко. В свете его поздних работ семиосфера может рассматриваться не как область нейтрально воспринимаемых значений и смыслов, а как сфера более или менее стабилизированных дискурсивных практик, которые создают «жесткий футляр / каркас» («Gehäuse») символического порядка, производящего властный эффект в отношении уже не телесных, а мысленных и духовных образований. В такой трактовке, считает Дёрнер, дискурс у Фуко приобретает гипостазированный характер агента исторического процесса, подобного мировому духу. Собственную динамику дискурса следует понимать относительно и учитывать влияние, которое на него оказывают стратегии и интересы исторических акторов. Более верно, чем магия дискурса Фуко, этот процесс позволяет понять диалектика *эргона и энерейи*, т.е. системы и деятельности языка, предложенная Гумбольтом (с. 47).

Включенность символических форм в мир социальных отношений осмысливается также в проекте теоретической социологии Пьера Бурдьё, который, как считает Дёрнер, испытал явное влияние теории символических форм Кассирера. В работах Бурдьё ключом коммутирующего взаимодействия структуры и действия, объективного и субъективного в социуме является семиотическая сфера символических форм, которая анализируется в основном с помощью триады базовых понятий: поля, габитуса и символического капитала. Бурдьё рассматривает социум как ряд дифференцированных частей, обладающих собственными логиками, структурами и критериями легитимности. Эти части понимаются как *поля*, имеющие по аналогии с физическими силовыми полями реляционную природу. Это значит, что любая позиция, занятая в таком поле индивидуальным или коллективным актором, определяется отношениями с другими позициями этого поля, и эти отношения являются латентными или актуализированными отношениями власти. Для каждого социального поля характерны

специфические формы *габитуса* – наборы устойчивых навыков и способов поведения индивидов, закрепляющие их места в этом поле и сохраняющие высокую устойчивость (эффект *гистерезиса*). Третье понятие – *капитал* – означает у Бурдьё то, посредством чего устанавливаются властные отношения в соответствующем поле. Оно выходит далеко за пределы экономического понятия капитала и включает также культурный капитал (образование, знания, заслуги), социальный капитал (социальные связи, отношения) и, наконец, символический капитал (престиж, позволяющий доминировать в семиосфере).

Понятие символического капитала у Бурдьё, как считает автор, позволяет конкретизировать то, каким образом символические формы становятся средством властных отношений. Интерпретация содержания знаков происходит не в «безвоздушном пространстве», а в высшей степени насыщенном властными отношениями пространстве социальных полей, поэтому интерпретации оказываются тесно связанными с властными интеракциями. Чем большую коммуникативную власть актор имеет в той или иной ситуации, тем больше вероятность, что именно его семантические установки будут приниматься. Поэтому все акторы стремятся к увеличению своего символического капитала и ведут непрерывную борьбу в социальном поле за «власть называть» (*Benennungsmacht*), т.е. за власть устанавливать свои названия, понятия, интерпретации (с. 49). Эта власть, подчеркивает далее Дёрнер, становится важным средством политического управления, поскольку позволяет управлять результатами восприятий, определять ситуации, манипулировать чувствами и готовностью к действиям.

По мысли автора монографии, для понимания существа политики это, возможно, является центральным вопросом. Если учесть, что политика по преимуществу представляет собой специфически ограниченный и мирный (без физического насилия) процесс координации и регулирования конфликтов, становится очевидно, что в основе ее лежит семиотическое измерение (с. 51). Оно может изучаться в рамках политической семиотики, которая описывает, как в политическом процессе возникают, приобретают значения и выполняют определенные функции внутри социальных общностей различные знаковые формы. Конкретными предметами изучения здесь могут быть политический язык во всех его аспектах, политические символы, праздники и ритуалы, произведения искусства и архитектуры в политической функции, топонимика, жестикаляция, одежда и т.д. При этом решающим для политической семиотики является

не анализ этих знаковых объектов и артефактов самих по себе, а их исследование в плане восприятия, включенности и применения в политическом процессе. Без этого социально-интерактивного аспекта изучения знаки останутся абстрактными и содержательно пустыми. Обобщенно говоря, заключает автор, политическая семиотика состоит из двух рамочных исследовательских перспектив или областей: символической политики и политической культуры.

Сущность символической политики стала предметом споров. Некоторые авторы рассматривают ее как «фальсифицированную», вводящую в заблуждение политику «для масс» – в противоположность «реальной» политике, связанной с интересами элит и правящих групп. Возражая против этой точки зрения, Дёрнер развивает аргументы, основанные на концепции «менеджмента лояльности» Ульриха Сакринелли. В ней символическая политика трактуется не как построение «заблуждений», а как переключение или «перекоммутирование» (Sinnvermittlung) некоторых уже существующих смыслов в целях расширения базы лояльности. Это влечет за собой представление о двойственности символической политики, отмечает Дёрнер. Она представляет собой не только симуляцию (симулякр) политики, но и ответ на реальный запрос общества на символическую ориентацию, т.е. обладает как инструментальными, так и необходимыми свойствами. И именно в этом своем двойственном качестве символическая политика выступает как область изучения политологии.

Дёрнер предлагает собственное определение данного явления: «Под *символической политикой* я понимаю обслуживаемое различными семиотическими средствами стратегическое применение символического капитала, которое состоит:

- в аккумуляции символического капитала, т.е. наращивании “власти называть” в соответствующем социальном поле;
- в удовлетворении в политическом сообществе в целом или в его части символических потребностей в ориентации, смысле, идентичности;
- в конвертировании символического капитала в политическую власть в целях достижения легитимации или делегитимации существующих отношений и интеграции или дезинтеграции существующих сообществ» (с. 57).

По мысли Дёрнера, символическая политика изучает сознательное и целенаправленное применение в политике символического капитала: кто, какие знаки и в каком семантическом ключе применяет для влияния в поле политики, какие средства инсцени-

ровки при этом использует и на какие политические следствия рассчитывает. Символическая политика, закреплённая в длительной стратегической перспективе и принявшая форму стабильных семиотических институтов, может кристаллизироваться в виде таких устойчивых конструкций, о которых можно говорить как о «политической культуре».

Политическая культура, по Дёрнеру, представляет сознательный или бессознательный результат коммуникативного процесса, включающий некие базовые образцы мышления и восприятия и связанные с ними нормативные и эмоциональные установки, разделяемые определённым сообществом. Он близок к понятию «габитуса» Бурдьё, а в плане сравнения с триадой политического – к измерению «polity». Политическая культура образует рамки для символической политики, которая в триаде ближе к измерениям «politics» и «policy». Важным дополнением автора является выделение в политической культуре так называемой «интерпретационной культуры» (*Deutungskultur*). Она означает совокупность устойчивых образцов и навыков интерпретации политических символов, способных активизировать и направлять рутинные (повседневно-бытовые) установки определённой политической культуры (с. 63).

В заключительном сюжете этого раздела автор рассматривает роль эстетической составляющей символической политики, подчеркивая, что при определенных условиях она способна придавать этой политике харизматический характер.

Раздел «*Политический миф как семиотический жанр*» автор начинает с определения места политического мифа в ряду других семиотических жанров¹ – теорий, идеологий, утопий, сказок, легенд и т.д. Наибольшее сходство мифы имеют с идеологиями, но, в отличие от последних, они не содержат элементов, подлежащих согласованию с позиций логики и эмпирической проверке. Будучи свободны от этого, политические мифы имеют насыщенную последовательность собственных нарративов, но, как и идеологии, направлены на формирование коллективных политических действий. Это отличает их от сказок, саг, легенд, которые имеют другую прагматику, т.е. не ориентированы на коллективные действия, а ограничиваются фантазиями в приватной сфере. Таким образом,

¹ Понятие «семиотический жанр» (*semiotische Gattung*) указывает на связь между особенностями структуры различных знаков / знаковых систем и динамикой их знакового воздействия (с. 76).

«политический миф, – заключает Дёрнер, – имея вымышленный характер, благодаря своему прагматическому потенциалу и предложению “магического”, направлен на формирование и изменение политической реальности» (с. 78).

Далее автор переходит к анализу структуры политического мифа как семиотического жанра. Главной чертой мифа является нарративность, а его основным структурным элементом – некий конституирующий нарратив. Миф сходен с символом, он тоже имеет внешнее выражение и содержательные интерпретации, обладающие определенной динамикой, но, в отличие от символа, миф содержит «ось нарративности» (narrative Asche), вокруг которой выстраиваются его элементы. Нарративами здесь являются тексты, в основе которых лежит действие, представленное в виде протекающих во времени последовательностей интеракций определенных персонажей. Дёрнер отмечает, что эти нарративы обладают определенной драматургией, что в какой-то мере сопоставимо с театральной драматургией, но не совпадает с ней, так как в их основе лежит не литературное, а бытовое восприятие мира. Драматическая констелляция действий и обстоятельств позволяет осуществить редукцию восприятия сложной политической реальности к более простым бытовым схемам. Особенностью мифологических нарративов является также наличие в них внешней (поверхностной) и внутренней (глубинной) структур. Последняя представляет собой актантную или ролевую структуру мифа, впервые выделенную Владимиром Проппом на материале русских народных сказок. Дальнейшее развитие этой семиотической теории, как указывает автор, позволяет обнаруживать глубинные актантные структуры не только в сказках, но и в мифах, а также во всех текстах, содержащих нарративные элементы (от газетных статей до телепередач).

Еще одна структурная особенность мифа, которую отмечает Дёрнер, вытекает из его образно-символической природы, из близости мифа и символа, что в семиотических дискуссиях иногда выражается формулой: миф – это развернутый символ, и символ – это свернутый миф. Нередко достаточно дать смысловую демонстрацию лишь одного из ключевых элементов / символов глубинной структуры мифа, чтобы вызвать весь нарратив и его смысловую структуру. С этим связан и так называемый эффект «соприсутствия» (Appraesentation), изучавшийся в феноменологии и означающий, что по присутствующему предмету, представлению, знаку, символу заключают о другом актуально не присутствующем предмете. В мифе, отмечает

Дёрнер, «речь идет не о простом “спаривании” (Paarung) в смысле Гуссерля, изначально присутствующем в понятии, а об указании или знаке, вызывающем образ всего нарратива» (с. 82).

Говоря о выразительных средствах, с помощью которых политические мифы обретают знаковую форму, автор выделяет две основные группы: 1) визуальные, изобразительные средства, включая произведения живописи, ваяния, графики, а также архитектуру; 2) письменные средства, включающие печатные СМИ, художественную литературу, массовую популярную литературу, литературную критику и публицистику, влияющие на литературную коммуникацию в обществе. Он отмечает также роль институтов коммуникации, воздействующих на отбор знаковых средств. На этом фоне в качестве особого средства автор выделяет сферу театра. Она является мультимедийной, так как, имея в своей основе драматические тексты, являющиеся частью литературы, использует также весь набор других выразительных постановочных средств, создавая особые знаковые миры. Рамки театра, генетически связанные с формами мистерий и ритуалов, создают возможность ритуального и чувственного сопереживания мифическому смыслу. Сфера театра лежит в основе и таких современных средств, как кино и телевидение, которые с помощью своих выразительных приемов способны создавать сходные, а в чем-то и большие эффекты восприятия политических мифов.

Заключает этот раздел анализ функциональной релевантности мифа в поле политики или, как часто говорит автор, «работы мифа в политике» («политического мифопойезиса»). Главной является функция *конструирования смысла*, выступающая ответом на состояние неопределенности и случайности, которое индивидуальное сознание остро переживает в эпоху Модерна. Помимо генерирования смысла и компенсации неопределенности политический миф вносит в это сознание также чувство сопричастности и соучастия в деятельности больших общностей («народ», «нация»), простирающихся далеко за его пределы во времени и пространстве. Еще один функциональный аспект мифа Дёрнер определяет как *управление смыслами (Sinnbewirtschaftung)*, или управление пространством / хозяйством смыслов. Политика эпохи Модерна характеризуется появлением плюрализма, в том числе и в области восприятия политических перспектив в качестве политических ориентаций или смыслов. Разные смысловые перспективы вступают в конкуренцию за право быть ориентациями действий. Управление смыслами в данном случае означает такую их оптимизацию, которая делала бы их

более привлекательными и действенными по сравнению с другими. Применительно к политическому мифу это предполагает усовершенствование его смысловой конструкции и символической формы в соответствии с ментальными ожиданиями и эстетическими вкусами потенциальных потребителей.

Для исследования функциональной роли политических мифов в обществах Модерна автор также считает полезным использовать концепцию «гражданской религии», которая разрабатывалась и активно дискутировалась в 60–70-е годы. Она исходит из выделения областей «профанного» и «сакрального», рассматривая последнюю как компенсацию «расколдовывания» (М. Вебер) мира в эпоху Модерна. Тяга к сакральному как необычному, магическому и экстраординарному заставляет видеть в нем глубинную основу профанного, понимаемого как повседневное, обычное, нормальное. Гражданская или политическая религия наделяет политику статусом сакрального с необычными и священными свойствами, а политический миф придает ей блеск выразительности и притягательности.

Функция мифа как генератора смыслов может быть понята как в утвердительном, так и в разрушительном плане. В первом случае он выступает генератором лояльности и повышения легитимности существующей политики, во втором – генератором разрушающих эту лояльность и эту систему смыслов, ведущих к ее делегитимации. Но часто, как отмечает автор, оба аспекта (утверждения и разрушения) в мифе присутствуют вместе, так как подтверждение лояльности, как правило, включает разрушение ее врагов, а разрушение существующего требует лояльности чему-то иному, идущему на смену. Но в этом утвердительном качестве нового миф, как правило, менее продуктивен, чем в разрушении, так как не предлагает ничего конкретного. С этим связана и такая функциональная особенность мифа, как редукция сложной политической реальности к упрощенным схемам, делению на врагов и друзей и т.д. Сакральное упрощение лишает миф функции реалистического прогноза будущего.

Автор также говорит о фатическом¹ свойстве мифа, позволяющем ему выполнять в символической политике *фатическую функцию* поддержания, продолжения и подключения к коммуникации.

¹ Понятие «фатического», разработанное Р. Якобсоном, означает свойство языка поддерживать речевую коммуникацию.

Во второй главе работы «*Французская “культурная революция” как прорыв символической политики*» автор применяет свою теорию в качестве инструмента анализа символической политики времен Великой французской революции, когда впервые отчетливо проявились ее характерные признаки.

Дёрнер указывает на радикальность и многоплановость изменений в культурно-символической сфере Франции в годы революции, что позволяет говорить о них как о полноценной «культурной революции». Он отмечает важную роль сочетания харизматических и исторических символизаций. Первые означали мифологизацию самих исторических событий революции, таких как «клятва в зале для игры в мяч», «взятие Бастилии» и прочее. Вторые – создание исторической мифологии, связывающей революцию с обладающей большим символическим капиталом традицией античности, и прежде всего – с республиканской традицией Древнего Рима. Символическая связь с доблестями республиканского Рима помогала революционной политике обрести историческую легитимность в глазах символических элит и образованных слоев.

Анализируя средства символической политики в революционной Франции, автор особенно выделяет роль новых праздников и гуляний, воплощавших демократические символы, а также связанное с этим развитие новых театральных и хореографических средств. В живописи он отмечает, с одной стороны, появление эпического исторического стиля Давида, обращенного к образованным слоям, с другой – развитие жанра массовых литографий, ориентированного на широкие круги народа. Упомянуты также символика одежды, дизайн костюмов и униформ; так называемая «филологическая революция», объединявшая в новом политическом языке различные семиотические жанры.

Основные выводы по итогам исследования символической политики революционной Франции автор резюмирует следующим образом. 1. Мир политики пополнился новыми актантами, такими как «нация», «народ», а также «гражданин» как индивидуальное действующее лицо в политике. 2. В активном конструировании смыслов в условиях высокой неопределенности политического порядка стали использоваться новые эстетические средства, в политизацию были вовлечены новые знаковые материалы. Новые символы активно вытесняли старые. 3. Сакрализация политического порядка и создание новой этики жертвенности во имя общего дела. 4. Интеграция в политический проект представителей

разных слоев и групп, формирование нового набора ролей в политике для различных участников.

Третья глава «*Миф как средство мобилизации*» посвящена исследованию символической политики в германских государствах в начале XIX в., в период освободительного движения против господства наполеоновской Франции. Анализируя условия, в которых формировалась эта политика, автор выделяет, прежде всего, эрозию в Германии старого сословного социального порядка, которая стала особенно остро осознаваться политико-культурной элитой после поражения Пруссии в войне с Наполеоном (1806). Ответом на это стали реформы «сверху» в Пруссии (1807–1811), направленные на модернизацию отношений общества и государства. Но, по мнению Дёрнера, не эти реформы, локализованные в основном в сфере прусских бюрократических институтов, были драйвером символической политики в Германии в этот период. Подлинным ее основанием был образ народной или национальной войны, заимствованный из арсенала символической политики революционной Франции. Автор подробно анализирует, благодаря каким акторам, с помощью каких средств, на каких уровнях политико-культурной коммуникации этот образ приобретал статус конституирующего смысла символической политики в Германии в этот период. В этом контексте он анализирует роль мифа об Армии / Германе в качестве смыслообразующего нарратива этой политики и тех знаковых средств, которые обеспечивали его мобилизационную функцию.

То, что основной причиной военных успехов Франции является наличие идейно мотивированной национальной / народной армии во главе с харизматическим лидером – Наполеоном, было хорошо понятно основным деятелям прусской военной реформы, отмечает автор. Понимали они и то, что успешно противостоять французам может столь же мотивированная национальная армия. Но в Германии / Пруссии такой народной армии не было, не было там и массового революционного движения, на основе которого можно было бы такую армию создать. Наоборот, армия была автономным от общества профессиональным институтом, а в элитах существовало предубеждение против «вооружения народа». Решить имеющиеся проблемы была призвана военная реформа, но в значительно большей мере и в более сжатые сроки их решение было обеспечено, по мнению Дёрнера, именно благодаря символической политике. Ее главными протагонистами были уже не чиновники, а представители культурных элит – публицисты, писа-

тели, художники, которые смогли придать дискурсу народной освободительной войны необходимое наполнение, вызвавшее политическую мобилизацию массовых социальных слоев. Результатами этой мобилизации стали не только идейное мотивирование армии, но и пополнение ее добровольческими корпусами и действия территориального ополчения.

Автор выделяет три основных стратегических элемента, присущих этой символической политике.

1. Конструирование в политической сфере новых коллективных актантов «народ» и «нация», в которые посредством культуры истолкования включались широкие слои общества, и каждый приобретал чувство причастности к коллективно действующему политическому и историческому субъекту.

2. Конкретизация актанта в смыслообразующем мифическом нарративе, делающая этот смысл очевидным и запускающая процесс трансформации смысла в аффекты и готовность к действию.

3. Смещение этических и культурных норм в направлении этики войны – допустимости насилия, мести, ненависти (с. 119).

Важность обращения именно к мифу о Германе Дёрнер объясняется следующими обстоятельствами. Во-первых, Арминий / Герман был известным персонажем античного периода европейской истории, и события, связанные с ним, были признаны важными еще античными авторами, что придавало ему статус крупной исторической фигуры, связь с которой повышала и статус действующих национальных актантов. Во-вторых, очевидны исторические параллели и конstellляции. Герман боролся с мировой империей Рима, Германия – с империей Наполеона, он стремился к объединению племен, Германия тоже стремится к объединению и т.д. В-третьих, нарратив о Германе создавал основу для семантического консенсуса разных социальных слоев, элиты и масс.

Присутствие этого нарратива автор неизменно фиксирует в ходе анализа тех средств символической политики, которые были наиболее характерны для этого периода – в литературной и политической публицистике, художественной литературе, поэзии, драматических произведениях для театра. В последнем случае он обращает особое внимание на драму Генриха фон Клейста «Битва Германа», в которой миф о Германе приобретает особенно выразительные и даже гротескные формы. В тот период она не была поставлена в основном по эстетическим соображениям, но позднее играла в символической политике важную роль.

В последнем сюжете этой главы автор анализирует проекты памятников, которые стали появляться в Германии после победы над Наполеоном. В связи с этим возникло много дискуссий и споров, а образ Германа играл в них уже не мобилизующую, а, скорее, вызывающую расхождения роль.

В четвертой главе «*Миф как средство сплочения сообщества*» автор рассматривает политическую «работу мифа» в период после объединения Германии и провозглашения Германской империи. Прежде всего, он отмечает очень непростой путь к объединению и высокую политическую гетерогенность вновь образованного государства, которое остро нуждалось в конструировании некоей общей политической идентичности, способной к их интеграции. «Рейх испытывал огромную потребность в символическом обосновании своего создания, в такой интегративной символике, которая делала бы зримым национальное единство и придавала бы смысл его созданию» (с. 206).

Именно этой основной задачей мотивировалась, по мнению автора, символическая политика в кайзеровской Германии, а ее центральным пунктом было формирование мифа об основании национальной общности (*Gründungsmythos*). Эту роль сыграл занял миф о Германе, в котором можно было усмотреть множество актуальных в данном контексте тем: символику исполнения начатого этим героем «исторического замысла» – национального объединения, символику военной победы как основы учреждения национальной общности и объединение вокруг военной победы всех слоев народа, сочетавшее реальную политику и идеальный замысел, и т.д. (с. 215–216).

Для развития новых толкований мифа о Германе и для символической политики в целом большое значение имело формирование в Германии того периода феномена «исторической культуры». Под этим подразумевается достаточно широкая область культурного дискурса, содержащая многообразие интерпретаций истории, направленных на истолкование и оправдание современности. Она охватывала дискурсы профессиональных историков и научных школ, популярной исторической литературы и публицистики, историко-культурных проектов и инсценировок. Дёрнер подробно анализирует становление и развитие всех этих аспектов исторической культуры и приходит к выводу о том, что в этой области постепенно складывалась гегемония прупрусского (*Vorgus-*

sianismus)¹ исторического дискурса. Она означала доминирование таких образцов исторических интерпретаций, которые подчеркивали роль Пруссии в истории формирования немецкого единства.

Именно с этой доминирующей исторической культурой были в основном связаны интерпретации мифа о Германе как основателе германского единства в кайзеровский период. Автор подробно прослеживает все перипетии этой тенденции на материале почти 40-летней истории проектирования, сооружения, а затем и церемониального открытия памятника Герману на предполагаемом месте сражения херусков с римлянами в Тевтебургском лесу (1875).

Первоначально присутствовавшие в символике памятника наряду с национально-государственническими также демократические и тираноборческие элементы были вытеснены. В дискуссиях после открытия памятника доминирующими стали интерпретации, близкие к консервативному и националистическому политическому спектру. Прежде всего, они генерировали смыслы сильного национального государства, утверждающего свою идентичность в противостоянии с внешними врагами. Католические круги отнеслись к этому осторожно, склоняясь к умеренной национальной интерпретации, а социал-демократические силы восприняли эту символику негативно. По существу, отмечает автор, миф о Германе как миф об основании немецкого единства выполнял символическую функцию сплочения в основном в отношении северогерманского протестантского большинства, но не всего политического сообщества. И в этом смысле символическая политика в кайзеровском рейхе не была в полной мере успешной.

Пятая глава *«Миф как средство символической гражданской войны»* посвящена символической политике в период Веймарской Германии, который автор характеризует как период холодной или символической гражданской войны. Это состояние определяется тремя основными моментами: 1) лишенной сдерживающих правил риторикой, наполненной символикой насилия и уничтожения оппонента, заменяющей рассмотрение конфликта как конфликта интересов конфликтом как схваткой на уничтожение; 2) милитаризацией общественно-политической сферы, утверждением в политике милитаристского габитуса, задающим соответствующие семиотические рамки политического дискурса; 3) отсутствие признанного верхов-

¹ Боруссия (Borussia) – латинское название Пруссии.

ного и суверенного политического порядка, в рамках которого могут действовать участники политической коммуникации.

Партийно-политическая система Веймарской Германии была очень фрагментированной, но в то же время большую часть этого периода демонстрировала достаточную устойчивость. В ней были представлены три наиболее значимые в электоральном отношении политические силы, унаследованные от периода кайзеровского рейха: правые националисты, католический центр и социал-демократы. Также в нее входили и другие, менее значимые в электоральном плане группы: либералы, аграрии, коммунисты / левые социалисты и национал-социалисты. Но в сфере символической политики, как указывает автор, ситуация была другой – менее фрагментированной и менее устойчивой. Дёрнер говорит о складывании в этот период в политической культуре Германии трех интерпретационных культур: политико-бюрократической (или, как бы мы сегодня сказали, формально-институциональной. – В. А.); мифологическо-натуралистической и социально-классовой. Они существовали поверх политического спектра и могли быть представлены в разных его сегментах, но, как правило, в разных соотношениях. По мысли автора, можно говорить о тяготении политических сил к определенным интерпретационным культурам. Например, национал-социалисты вначале занимали промежуточное положение между мифологическо-натуралистической и социально-классовой культурами, соединяя миф расы с классовой борьбой и получая «расовую борьбу с еврейским капиталом». Но затем стали тяготеть к мифологическо-натуралистической культуре, что сближало их с правыми националистами, для которых этот тип интерпретационной культуры был изначально более характерен.

Дёрнер отмечает крайнюю слабость символической политики германского республиканского государства, которое так и не смогло создать устойчивую и харизматическую систему республиканских символов. Это могло быть связано, в частности, с тем, что его символическая элита не была интегрирована в культуру мифологических истолкований, а ориентировалась на культуру институциональных интерпретаций. Противники республики – правые националисты – напротив, были активно включены в культуру мифологических интерпретаций и активно формировали символическую политику при помощи ее средств.

Использование мифа о Германе в качестве оружия в символической гражданской войне автор рассматривает на примере двух кампаний: празднования 50-летия открытия памятника Герману в

1925 г. и празднования 150-летия со дня рождения автора драмы «Битва Германа» фон Клейста в 1927 г. Многие черты символической политики правых в этих кампаниях были сходны. В интерпретации мифа на первом плане оказалась тема предательства, но не предательства Германа по отношению к Риму, о чем писали еще античные авторы, а предательства племенной знати по отношению к Герману. Герою, поднявшемуся на борьбу с врагами, стремились нанести «удар в спину» предатели из ближайшего окружения. Несомненно, здесь имелись в виду «ноябрьские предатели», «версальцы», которые «нанесли удар в спину Германии», подписав перемирие в ноябре 1918 г. Второй мотив: Герман как герой, человек действия, против знати как корыстных бездельников, отвечающий на запрос о харизматическом лидере. Третий мотив: военная победа Германа, отвечающая идее военного реванша. Все эти мотивы, как показывает Дёрнер, были обильно представлены в кампании правых на юбилее памятника, включая массовые забеги памяти Германа по всей Германии.

Кампания к юбилею фон Клейста была интерпретирована примерно в том же ключе, однако она была обращена еще и к художественной элите. Трактовку драмы фон Клейста, предложенную в юбилейных постановках, автор называет «символическим разрушением республики»: погрязшую в предательстве и корысти республику должен сменить новый герой, ведущий народ к победе.

Став оружием правых националистов в символической гражданской войне, миф о Германе способствовал политической делегитимации Веймарской республики и послужил сближению правых националистов и нацистов. По мысли Дёрнера, в какой-то мере интерпретации данного мифа стали еще и прообразом реального заключительного акта этой драмы – передачи республиканской власти президентом Гинденбургом Гитлеру.

После крушения Веймарской республики и прихода нацистов к власти интерпретация символики мифа о Германе несколько меняется, что, по мнению автора, было связано с особой констелляцией архаики и модерна в символической политике Третьего рейха. Он по-прежнему входит в пантеон нацистских мифов и однозначно интерпретируется как символ сплочения национального сообщества в его борьбе с врагами. Но эстетика формы выражения уже не во всем удовлетворяла нацистский режим. Поэтому памятник Герману в нацистской символической политике почти не использовался, как эстетически устаревший. В отличие от него драма фон Клейста использовалась значительно активнее, так как

ее драматургия и язык больше соответствовали представлениям о синтезе архаики и модерна в символической Третьего рейха.

Заключительная шестая глава работы носит название «*Миф как средство рефлексии*». В ней миф рассматривается уже не как «работающее» средство символической политики, а как объект культуры, своего рода музейный экспонат, который помогает понять устройство и динамику прошлой жизни. В связи с этим Дёрнер анализирует несколько процессов: фольклоризацию, табуирование, рефлексивную апроприацию мифа. *Фольклоризация мифа* означает придание ему статуса фольклорного объекта, т.е. рассмотрение его в ряду памятников народного мифотворчества (легенд, сказаний, баллад и т.д.). *Табуирование мифа* предполагает запрет на рассмотрение / демонстрацию каких-то сторон культурного объекта в силу их действительной или предполагаемой опасности для восприятия. Так, в послевоенной Германии долгое время была не рекомендована к постановке драма фон Клейста «Битва Германа», отнесенная к образцам нацистской и милитаристской пропаганды.

Процесс *рефлексивной апроприации* – более сложен. В теории современного искусства он означает использование реальных предметов в произведениях искусства, где они выполняют не свою прямую прагматическую функцию, а функцию составной части произведения искусства. В качестве примера автор приводит постановку в Германии в 1982 г. после долгого перерыва драмы фон Клейста «Битва Германа». Он подробно анализирует характер этой постановки, сценические решения, визуальные эффекты, игру актеров и т.д. и, сравнивая все это с постановками этой драмы в прошлом, делает вывод о том, что сама драма фон Клейста в данном случае стала объектом рефлексивной апроприации другого произведения искусства.

Итак, заключает автор, миф о Германе как средство символической политики ушел в прошлое. У послевоенной Германии возникли другие символы (экономическое чудо, прочная валюта, благосостояние, марки автомобилей, чемпионская футбольная команда и др.), имеющие другую семантику. Но насколько они способны противостоять символической политике, основанной на мифологических нарративах, подобных мифу о Германе?

В.С. Авдонин,
доктор политических наук,
ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН,
e-mail: avdoninvla@mail.ru

С КНИЖНОЙ ПОЛКИ

О.Ю. Малинова*

**НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ ПРОБЛЕМУ:
РОССИЯ И ЕВРОПА / ЗАПАД В СВЕТЕ
ПОСТКОЛОНИАЛЬНОГО ПОДХОДА
(Рецензия)**

Rec. ad op.: Morozov V. Russia's postcolonial identity. A subaltern empire in a Eurocentric world. – L. etc.: Palgrave Macmillan, 2015. – xviii, 209 p.

О разных аспектах взаимоотношений России и Европы / Запада написаны горы литературы. Тем не менее каждый новый их кризис побуждает возвращаться к старым вопросам о неустойчивости европейской идентификации России и о причинах ее циклических колебаний между полюсами западничества и антизападничества. В своей книге «Постколониальная идентичность России: Соподчиненная империя в европоцентрическом мире» в прошлом петербургский, а ныне тартуский политолог-международник Вячеслав Морозов пытается дать ответ на эти и другие «старые» вопросы, предлагая рассмотреть их в несколько непривычном ракурсе. Разумеется, есть немало работ, анализирующих влияние имперского опыта на современную российскую идентичность (правда, следует признать, что тема внутренней колонизации в

* **Малинова Ольга Юрьевна**, доктор философских наук, главный научный сотрудник ИНИОН РАН, профессор МГИМО МИД России, e-mail: omalinova@mail.ru

Malinova Olga, Moscow State Institute of International Relations, MFA Russia (Moscow, Russia), Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Science (Moscow, Russia), e-mail: omalinova@mail.ru

этом контексте затрагивается не часто). И конечно, структурные факторы символических конфликтов России и Европы / Запада также неоднократно описывались – как правило, в терминах «гегемонии Запада», «полупериферийности», «пороговой идентичности» и др. Однако эти ракурсы анализа принято использовать «по отдельности». В. Морозов же соединяет их, применяя к анализу российской идентичности теоретическую рамку критических постколониальных штудий.

Как следует из названия книги, ее автор предлагает рассматривать Россию как «соподчиненную империю». В постколониальной теории термином *subaltern*¹ обозначают индивидов и группы, субъектность которых ограничена и голос которых в условиях гегемонистского социального порядка «не слышен». По мысли Морозова, Россия выступает как страна, включенная в мировой гегемонистский порядок в качестве соподчиненной единицы (хотя и сохраняющей суверенитет и потому формально не являющейся колонией) и одновременно обладающая опытом колонизации своей собственной периферии. Как полагает автор, динамика постсоветской идентичности определяется диалектикой этих двух факторов.

Использование термина «(пост)колониальный» применительно к России – не редкость в отдельных сегментах русского националистического дискурса, участники которого порой говорят о превращении страны в «колонию Запада» в контексте критики «антинациональной» политики властвующей элиты (чаще 1990-х, но иногда и 2000-х годов). Однако в академическом дискурсе это сочетание режет глаз. Не случайно в первой главе *«Постколониальное и постимперское в пространстве и времени мировой политики»* В. Морозов обстоятельно разъясняет предлагаемое им расширительное толкование постколониального. С его точки зрения, «постколониализм» – это не то, что возникает «после» колониализма; ни первое, ни второе состояние он не связывает исключительно с политическим господством – напротив, его в большей степени интересует то, что можно было бы назвать гегемонией и доминированием. По мысли Морозова, «не будет преувеличением сказать, что постколониальное соразмерно и по сути совпадает с модерным:

¹Subaltern в переводе с английского означает «подчиненный, второстепенный, низший». Эти значения отражают разные оттенки смыслов используемого автором термина «subaltern empire», поэтому в дальнейшем мы будем варьировать перевод в зависимости от контекста.

колониальный Другой заключен в европейском Просвещении, поэтому все современные идентичности гибричны, а видеть ли их таковыми – предмет нашего выбора» (р. 8). Приставка «пост» в данном случае указывает на рефлексивно-критический подход к отношениям, вытекающим из «колониальности», а не на состояние «после» распада империи. Одной из особенностей данного подхода является признание культурно и структурно обусловленного неравенства в качестве определяющего момента для формирования идентичности как колонизируемых, так и колонизаторов.

Автор книги утверждает, что понятие «постколониальный», равно как и теоретические обобщения, сделанные в рамках критических постколониальных исследований, можно применить и к международным отношениям. В случае России это особенно продуктивно, ибо хорошо объясняет наблюдаемые изменения официального дискурса и внешней политики.

«Колониальность» России автор книги связывает, во-первых, с ее экономической и материальной зависимостью от глобального капиталистического ядра, особенно усилившейся в постсоветский период; и во-вторых, с успешным усвоением «европоцентрического языка», абсолютное доминирование которого в российском дискурсе заставляет его участников смотреть на себя «чужими глазами». «Для русских Европа – это центр мира, – пишет Морозов, – их идентичности и практики ориентированы на европейский нормативный порядок и капиталистическую мировую экономику» (р. 15–16). Колониальное «безмолвие» России определяется не невозможностью «подать голос», а отсутствием «собственного» языка, отличного от языка гегемона. Причем, по мысли Морозова, в результате трех столетий догоняющей модернизации в современной России попросту отсутствуют социальные группы, способные стать производителями «аутентичного», т.е. действительно альтернативного европейскому / западному дискурса (эту тему он более обстоятельно развивает в последних главах книги, в контексте анализа «консервативного поворота», характерного для третьего президентского срока В. Путина). В итоге, даже пытаясь оспорить гегемонию Запада, Россия «говорит на том же европоцентрическом языке» и тем самым «цементирует гегемонистский порядок» (р. 11). В частности, «оппонируя Западу, Россия формулирует свои требования на западном языке демократии. Она признает универсальное значение либеральных демократических ценностей, но пытается оторвать их от партикуляристских западных корней и наполнить их несколько иным содержанием – например, делая упор на принцип суверените-

та» (р. 23). Таким образом, то, что представляется радикальной критикой мирового порядка, в котором доминирует Запад, оказывается всего лишь притязанием на признание собственного голоса в споре о том, как этот мировой порядок должен эволюционировать.

Автор считает возможным применить к российской идентичности концепцию «гибридности», разработанную в критических постколониальных исследованиях (в частности, Хоми Бхабхой). По Бхабхе, колониальный опыт оказывается отправной точкой для идентичностей обеих сторон, замыкая их в отношении, в рамках которого любой атрибут «господина» может быть экспроприрован его колониальным двойником. В итоге угнетенный стремится не просто освободиться, а «стать господином», заняв его место и узурпировав его качества. Правда, несмотря на то что колониальное отношение полагается значимым для идентичностей обеих его сторон, автора книги интересуют его следствия исключительно для «соподчиненного» актора – России¹. В книге о постколониальной идентичности России Морозов рассматривает идентичность «гегемона» как сложившуюся данность, которую бунт «соподчиненного» субъекта не может поколебать². На наш взгляд, в силу данного обстоятельства автору не удается в полной мере реализовать потенциал собственного подхода – и это несмотря на то что именно в установке на анализ взаимного влияния гегемона и соподчиненного субъекта он видит его преимущество – например, перед теорией мировой системы, которая вполне успешно описывает тот же иерархический порядок в терминах центр-периферийных отношений.

В то же время Россия – не совсем обычный «соподчиненный» субъект: с момента своего рождения в качестве самостоятельного государства в XV в. она никогда не была под чужим колониальным правлением – напротив, создала обширную империю, чем и объясняется переплетение колониальных и имперских паттернов в ее поведении. Принципиально при этом, что первое не отменяет второго: по словам автора книги, российское государство

¹ Справедливости ради надо отметить, что роль России как Другого для конструирования европейской идентичности неоднократно описывалась [см.: Neumann, 1999; Malia, 2000 др.], но не в логике постколониальных штудий.

² Возможно, это определяется особенностями предмета анализа: в других своих работах тот же автор вполне убедительно демонстрирует, что в отношении Я и Другого активны обе стороны, и эта активность имеет последствия для конструирования и трансформации их идентичностей [Morozov, Rumelili, 2012].

«колонизировало страну *в интересах (on behalf of)* глобального капиталистического ядра, будучи одновременно интегрируемым в европейское международное общество» (р. 32). Поэтому было бы неверно оставлять внешнеполитическое измерение геополитике и изображать российское государство как колонизирующего актора, равного его западным аналогам.

Данным обстоятельством автор книги объясняет свой отказ от апологетики «соподчиненной» стороны, в принципе свойственной критическому постколониальному подходу. Последний, вскрывая «отношения власти и дискриминации за фасадом формального равенства либерального капиталистического общества» (р. 16), стремится защитить интересы угнетенной стороны. Однако, по мнению Морозова, исследователю не обязательно солидаризироваться с «соподчиненным» субъектом, ибо «российский случай помогает увидеть тот факт, что говорящие от имени “соподчиненного” зачастую в полной мере включены в глобальные структуры доминирования в качестве их локальных агентов и тоже выступают как угнетатели» (р. 13). По мнению автора, ценность российского случая для постколониальных исследований – именно в том, что в силу своей пороговой позиции она не вписывается в бинарные оппозиции между Западом и Востоком, центром и периферией.

Во второй главе «*Россия и / в Европе: Источники неоднозначности*» В. Морозов дает критический обзор исследований российской идентичности в рамках субдисциплины международных отношений. Прежде всего это работы конструктивистов, которые видят в идентичности и анализе дискурса средства для лучшего понимания внешней политики. Следует отметить, что российский случай занимает в этом сегменте исследований заметное место, причем большинство исследователей сходятся в своих оценках положения России в Европе как «неопределенного, порогового и / или периферийного» (р. 41). Политическое развитие России определяется принадлежностью к Европе и одновременно – исключением из нее.

Однако в чем причины этой неразрешимой неопределенности? По мнению Морозова, большинство попыток дать ответ на этот вопрос оказываются неудовлетворительными, поскольку всецело сосредоточены на идеационных факторах, т.е. на том, что находится в головах людей, – идеологиях, дискурсах, идентичности, культуре. Однако такие факторы всегда тесно связаны с контекстом, что ограничивает возможности для сравнений и обобщений. По мнению Морозова, постколониальный подход позволяет дать более удовлетвори-

тельный ответ на этот вопрос по сравнению с другими подходами именно потому, что он принимает в расчет как «материальные», так и «идеальные» факторы, формирующие отношения гегемонии / подчиненности. Он доказывает это, обстоятельно разбирая результаты, достигнутые на основе альтернативных подходов – предложенной в рамках теории мировой системы концепции (полу) периферийности, обновленной концепции международного общества, концепции культурных различий, концепции пороговости и др. Нужно отдать должное автору книги – он не просто предлагает «еще один подход», но тщательно анализирует каждую из его альтернатив, подробно разбирая их достоинства и недостатки.

В третьей главе «*Материальная зависимость: постколониализм, развитие и “отсталость” России*» Морозов пытается доказать, что экономическая и технологическая зависимость России от глобального капиталистического ядра во многом обуславливают неопределенность ее идентификации по отношению к Европе / Западу. Этот тезис играет важную роль в обосновании «колониальности» России, поскольку в отличие от обычных колоний она является суверенным государством, претендующим на статус великой державы (и в некоторые периоды своей истории – вполне небезуспешно). Однако при этом она, во-первых, усвоила европоцентрический нормативный порядок (что, по мысли Морозова, делает безальтернативным развитие по капиталистическому пути), хотя и не была в него ассимилирована, и во-вторых – занимает подчиненное / периферийное место в глобальной политической системе.

Связывая идеационные и материальные факторы, задающие структурные условия артикуляции российской идентичности, автор книги безусловно делает шаг в правильном направлении. Весьма перспективным представляется и подход, при котором эти группы факторов рассматриваются как разнонаправленно обуславливающие друг друга. Однако аргументация этой главы кажется нам недостаточно убедительной. Морозов полагает «отсталость» (которую берет в кавычки) и материальную зависимость России от глобального капиталистического ядра как данность, при этом он апеллирует к фактам постсоветского периода, которые, однако, не объясняют «неразрешимую неопределенность» российской идентичности в XVIII, XIX и на большем протяжении XX в., когда российская экономика не была так тесно интегрирована в мировую. Для более тщательного анализа экономической динамики автору, возможно, не хватает профессиональной подготовки. Но та же «пунктирность» свойственна его анализу дискурса об

идентичности: внимание Морозова всецело сосредоточено на постсоветском периоде, в то же время свои выводы о «колониальности» он экстраполирует в более отдаленное прошлое. Однако структура дискурса об идентичности не оставалась неизменной – напротив, она существенно менялась [см. об этом: Малинова, 2009]. Представляется, что даже если в начале XX в. или в советский период наш дискурс об идентичности и был «колониальным», то совсем не в том же смысле, как это описывается на современном материале. Даже если советский дискурс основывался на «европоцентрическом» языке марксизма, нуждается в пояснении, каким образом, утверждая альтернативу (безальтернативному?) капиталистическому пути развития, он был «нормативно зависимым» от Запада. Во всяком случае, обосновываемая автором книги концепция «соподчиненной имперскости» не выглядит достаточно убедительной без более обстоятельного анализа советского материала.

Заключительные главы книги посвящены анализу современного российского дискурса. В четвертой главе *«Нормативная зависимость: Путинский палеоконсерватизм и отсутствующий пейзаж»* Морозов демонстрирует внутреннюю противоречивость постсоветского дискурса об идентичности, которая, по его мнению, всецело обусловлена опытом «соподчиненной империи». На протяжении последних двух десятилетий Россия активно европеизировалась, но вместе с тем «осуществление» ее европейской идентичности постоянно откладывается, не в последнюю очередь – из-за ее приверженности имперскому наследию. В свою очередь, онтологическая небезопасность, вызванная неспособностью поддерживать устойчивое представление о себе как о европейской нации, порождает рессентимент, который со временем трансформируется в антагонизацию Запада. Именно этим обстоятельством Морозов объясняет нынешний консервативный (в его терминологии – «палеоконсервативный») поворот. Он видит в антизападнической риторике лишнее подтверждение нормативной зависимости от гегемона: критикуя его, она «лишь перетолковывает его дискурс, но не пытается его преодолеть или упразднить» (р. 122).

По мнению Морозова, в палеоконсервативном дискурсе Россия «конструируется вне связи с какой-либо живой памятью» (р. 131), ибо в реальном российском обществе отсутствует фигура «патриархального дикаря», долженствующего служить его носителем. Это так, если искать социальное соответствие идеальнотипической фигуре, предполагаемой романтической родословной

современного «палеоконсервативного» дискурса. Однако социологические опросы, фиксирующие достаточно высокий уровень поддержки различных его элементов, показывают, что дело обстоит сложнее. Представляется, что подтверждения или опровержения тезиса об «отсутствующем пейзаже» нужно искать в анализе советской идентичности и паттернах ее последующей трансформации.

В пятой главе *«Народ безмолвен: Россия, Запад и голос соподчиненного субъекта»* Морозов рассматривает драматическую секьюритизацию дискурса о Западе после политического кризиса 2011–2012 гг. и в контексте украинских событий. В политике и риторике российских властей он находит подтверждения логики «соподчиненной империи», которая, находясь в состоянии нестабильности и небезопасности, агрессивно реагирует на проявления западной гегемонии.

Насколько продуктивным оказывается предлагаемое Морозовым расширительное понимание постколониального подхода для анализа российского случая? На наш взгляд, автор вполне убедительно продемонстрировал некоторые его преимущества – установку на восприятие отношений гегемона и соподчиненного субъекта в логике взаимного конструирования, представление о том, что структуры доминирования формируются как материальными, так и идеационными факторами, фокус на взаимодействие внешнего и внутреннего контекстов, наконец, неплохие возможности с точки зрения объяснения современной российской политики идентичности. При этом Морозов позаботился о том, чтобы вписать свою концепцию в круг уже существующих подходов. Данное обстоятельство делает его монографию не просто еще одной работой на «вечную» тему, а действительно неординарной попыткой продвинуться в понимании факторов, определяющих дилеммы российской идентичности.

Вместе с тем, хотя Морозов неплохо демонстрирует объяснительные возможности своего подхода для постсоветской России, без более систематического анализа предыдущих этапов – прежде всего, советского (но также и досоветского) – его концепция не может считаться вполне убедительной: ведь тезис о «соподчиненной имперскости» связывается с тремя столетиями модернизации.

Определенные сомнения вызывает и предложенный понятийный аппарат. На наш взгляд, расширительное понимание «колониальности» сопряжено с очевидными смысловыми натяжками. Так ли «факультативна» для колониального статуса политическая

зависимость? Действительно ли экономическая иерархия и дискурсивная гегемония являются для него необходимыми и достаточными условиями? Для политолога положительный ответ на эти вопросы, мягко говоря, не очевиден. Предположим, что методологические возможности, открываемые новым подходом, окажутся настолько существенными¹, что непривычное значение термина «колониальный» приживется в исследованиях международных отношений. Однако реализация критического потенциала авторской концепции, по-видимому, предполагает и более амбициозную задачу – ее трансляцию в публичный дискурс. И здесь непривычная интерпретация знакомого термина может оказаться серьезным препятствием для адекватного понимания авторской концепции (особенно если учесть ее созвучность идеям, характерным для русского националистического дискурса).

Впрочем, эти недостатки не перечеркивают несомненных достоинств книги. На первых ее страницах автор честно признает, что «отказ от европоцентризма как полностью “неправильного”» контрпродуктивен. По его словам, «российский случай предполагает тщательную деконструкцию, которая требует должного внимания к тому факту, что все мы, в конце концов, живем в европоцентрическом мире» (р. 5). Книга «Постколониальная идентичность России» – несомненно важный шаг в направлении такой деконструкции.

Литература

- Малинова О.Ю. Россия и «Запад» в XX в.: Трансформация дискурса о коллективной идентичности. – М.: РОССПЭН, 2009. – 190 с.
- Malia M. Russia under western eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. – L.: Harvard univ. press, 2000. – 528 p.
- Morozov V., Rumelili B. The external constitution of European identity: Russia and Turkey as Europe-makers // Cooperation and conflict. – L., 2012. – Vol. 47, N 1. – P. 28–48.
- Neumann I.B. Uses of the Other. «The East» in European identity formation. – Manchester: Manchester univ. press, 1999. – xv, 281 p.

¹ Однако заметим, что те же задачи в принципе могут решаться с помощью более привычных концепций пороговой идентичности, периферийности и гегемонии. Представляется, что выявленные В. Морозовым недостатки их «оптики» вполне поддаются корректировке. В этом смысле проделанная им работа чрезвычайно ценна.

С.В. Акопов*

**ПОЧЕМУ ТАК АКТУАЛЬНО
«АКТУАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ»?
(Рецензия)**

**Rec. ad op.: Малинова О.Ю. Актуальное прошлое:
Символическая политика властвующей элиты
и дилеммы российской идентичности – М.: Политическая
энциклопедия, 2015. – 207 с.**

Немецкому философу-экзистенциалисту К. Ясперсу временность социального бытия представлялась как изначально неоднозначный «шифр трансцендентного», который мы обречены постоянно истолковывать [Ясперс, 1994]. Это, в частности, происходит потому, что укорененность в языке глубоко символична и подспудно встраивает нас в систему разделяемых в обществе (и часто не до конца осознаваемых) мифов, в том числе мифов в области политики. То же происходит и на уровне нашей включенности в коллективную память. Язык и коллективная память выступают в роли символических ресурсов, легитимирующих определенную политическую картину мира. Сегодня такая картина мира чаще всего строится вокруг идеи нации либо цивилизации. Соответственно, необходимы исследователи, которые могли бы вывести эти имплицитные зависимости на рациональный уровень и (пользуясь экзистенциалистским термином Ясперса) «дешифровать» их. Пусть даже такая рационализация

* **Акопов Сергей Владимирович**, кандидат политических наук, доцент НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург), e-mail: sakopov@hse.ru

Akopov Sergey, Higher School of Economics (St. Petersburg, Russia), e-mail: sakopov@hse.ru

не может быть окончательным освобождением от нашего мифологического сознания, пока не будут предложены (и, главное, проработаны) мифы основания новых политических сообществ.

В этом смысле читателям книги «Актуальное прошлое: символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности» очень повезло. Ее автор – московская исследовательница Ольга Юрьевна Малинова – в очередной раз выступила в роли эксперта, деконструирующего официальные нарративы властвующей российской элиты и «дешифрующего» для своих читателей и коллег сокрытые, не лежащих на поверхности обыденного сознания политические идеи и смыслы.

Пройдемся по страницам этой книги. Она начинается с выделения и теоретического разбора своего главного предмета – современных практик политического использования прошлого. Автор связывает их с проблематикой идентичности, указывая, что именно «общепринятые» представления о прошлом являются одной из главных опор идентификации с современными политическими сообществами. О.Ю. Малинова оговаривает, что ее прежде всего интересует только один из аспектов политики идентичности в постсоветской России, а именно эволюция подходов властвующей элиты к использованию национального прошлого (их слов и действий от имени государства) в меняющемся идеологическом контексте (с. 7).

Важным на наш взгляд также является поднимаемый в начале книги вопрос о «публичной истории», которая, не являясь профессиональной интерпретацией прошлого, все же оказывает существенное влияние на формирование представления о Нас и наших значимых Других. При этом особое значение «строительный материал» прошлого имеет для воображения нации и чувства *национального* единства. Последнее достигается через принятие официального нарратива нации – смысловой схемы исторического повествования, описывающей генеалогию национального сообщества (с. 6). Согласно автору монографии, в России, в отличие от бывших республик СССР, социальное конструирование идентификации с национальным государством вступает в конкуренцию с идеей империи, а также наслаивается на советскую идентичность. Для описания такой сложной ситуации О.Ю. Малинова вводит специальное аналитическое понятие «макрополитическая идентичность».

Монография «Актуальное прошлое: символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности» ставит ряд принципиальных для современной символической по-

литики вопросов: как менялся репертуар используемого в политических целях прошлого? Каким образом формировался и эволюционировал нарратив официальных лиц российского государства? Какие процессы скрываются за этой эволюцией? Наконец, что же станет наполнением новой или будущей макрополитической идентичности в постсоветской России?

Символично прежде всего само название анализируемой книги, в котором уже изначально заложено диалектическое противоречие. Действительно «актуальное прошлое» можно понимать как «современное». Однако оказывается, что далеко не все «современное» или «злободневное» прошлое актуализируется политическими элитами, например, в целях легитимации собственной власти. Далеко не все запоминающиеся страницы коллективного прошлого оказываются вплетенными в «актуальные» нарративы, востребованные для строительства того макрополитического общества, в котором господствующие политические силы удерживали бы свой статус-кво. В основной части своей монографии О.Ю. Малинова хорошо показывает, как по-разному могут актуализироваться исторические символы и нарративы «Великой Октябрьской революции» и «Великой Отечественной войны». Преимущественно с помощью качественных методов (контент-анализ, анализ документов, дискурс-анализ, герменевтический анализ текстов, анализ фреймов и др.) автор подвергает анализу исторический период с 1991 по 2014 г. Так же системно используя нарративный анализ, О.Ю. Малинова деконструирует президентские послания парламенту с 1994 по 2012 г., и коммеморативные речи президентов В.В. Путина и Д.А. Медведева с 2000 по 2014 г. При этом О.Ю. Малинова конструирует и предлагает читателю собственную хронологическую схему развития постсоветского дискурса «актуального прошлого».

На основе проведенного анализа в книге выделяются четыре периода политического использования прошлого и соответственно четыре разных подхода властвующих элит к его «актуализации». Первый период охватывает время от начала до середины 1990-х годов (точнее, до момента перевыборов президента Б.Н. Ельцина в 1996 г.). Этот период в целом характеризуется О.Ю. Малиновой критическим отношением властвующих элит к советскому прошлому и тоталитарному наследию СССР. В этом смысле он отчасти продолжает официальный дискурс эпохи «перестройки». Однако в условиях противостояния между президентом и Верховным Советом (1993) Б.Н. Ельцин отказался, по мнению исследовательницы, от инициати-

вы систематического конструирования новой инфраструктуры прошлого. Вместе с тем такое конструирование было бы необходимо для того, чтобы вписать в коллективную память россиян новый нарратив, обосновывающий необходимость перехода от коммунизма к идеалам западной либеральной демократии.

Второй период, выделяемый О.Ю. Малиновой, продолжался примерно с 1996 г. до прихода к власти В.В. Путина. Вместо полного неприятия советского прошлого Б.Н. Ельцин начинает искать «национальное согласие» и примирение с коммунистическим прошлым. Как раз в 1996 г. праздник Великой Октябрьской социалистической революции (7 ноября) заменяется Днем согласия и примирения. В 1998 г. останки царской семьи Романовых перезахоронены в Санкт-Петербурге. Б.Н. Ельцин приглашает потомков царской семьи приехать и засвидетельствовать попытку примирения России с собственным прошлым. Вскоре в Москву на Красную площадь возвращаются традиционные советские военные парады, посвященные годовщинам Великой Отечественной войны. Однако это не помогает первому президенту России урегулировать конфликт между настоящим и прошлым внутри страны, в которой «демократические реформы» становятся все более непопулярными, в особенности среди националистически настроенных кругов.

Началом третьего периода политического использования прошлого в российской политике идентичности О.Ю. Малинова считает приход в 2000 г. к власти В.В. Путина. В этот период акцент смещается на укрепление преемственности между достижениями и наследием времен Российской империи и СССР (О.Ю. Малинова полагает, что СССР тоже был своеобразной империей) и коллективной идентичностью новой постсоветской России. Последняя все больше начинает осмысляться в рамках идей «державности» и «государственности». Именно «государство» в этот период В.В. Путин объявляет ключевым политическим институтом, вокруг которого выстраивается российское макрополитическое сообщество. Идея могущественной «державы» («за державу обидно») предполагает значительный уровень цивилизационного суверенитета России от других западных стран (в 2006–2007 гг. в частности, популярной становится концепция «суверенной демократии»). Однако, высказывает мнение исследовательница, во время первого президентского срока В.В. Путина и далее Д.А. Медведева такой концепт, как «суверенная демократия», оказался слишком эклектичным для цементирования новой политики идентичности с нацией или цивилизацией.

Согласно О.Ю. Малиновой, четвертый, современный период символической политики начался в 2011–2012 гг. В декабре 2011 г. уличные протесты подтолкнули российскую властную элиту (особенно в преддверии президентских выборов весны 2012 г.) к попыткам построить более последовательные нарративы российской макрополитической идентичности (имеется в виду, например, статья В.В. Путина «Россия: Национальный вопрос», опубликованная 23 января 2012 г.). В то же время продвижение к более последовательной и определенной версии политики идентичности совпало с попытками правящей элиты контролировать публичные дебаты по поводу актуального прошлого посредством «квази-экспертных центров» и фабрик мысли (с. 183), а также с помощью таких «мемориальных» актов, как закон 2014 г. об уголовной ответственности за публичное распространение ложной информации о деятельности Советского Союза в Великой Отечественной войне.

К сожалению, сроки выхода книги не позволили автору осуществить анализ последних событий. Иначе О.Ю. Малинова, безусловно, затронула бы такие этапные эпизоды символической политики России 2014 г., как Зимние Олимпийские игры в Сочи и кризис в отношениях с Украиной. Возможно, к этим темам О.Ю. Малинова еще обратится в своей следующей книге.

На наш взгляд, книга «Актуальное прошлое: символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности» обладает высоким эвристическим потенциалом. Например, в монографии очень точно описана неудачная попытка Б.Н. Ельцина в начале 1990-х годов заменить коллективную память о Великой Октябрьской социалистической революции как мифе «национальной славы» на нарратив «коллективной травмы». Одновременно с этим автор показала метаморфозы обновления идеологии коммунистической партии и «левой оппозиции», взявших курс на соединение социалпатриотических ценностей с дальнейшим акцентом на противопоставление России странам Запада. По сути О.Ю. Малинова здесь описывает успешную попытку со стороны КПСС перевода политической риторики в русло националистической и антизападной оппозиции. Обновленная после Великой Октябрьской революции российская государственность в неошмиттианском ключе противопоставлялась Г. Зюгановым «разлагающему влиянию западной цивилизации» (с. 50). В такой логике Октябрьская революция 1917 г. объявлялась не «трагедией», а просто «символом утраты» и эпизодом в исторической борьбе России с Западом, продолжающейся в эпоху «разбазаривания» достижений СССР. Несмотря на то что О.Ю. Малинова не пи-

шет об этом в своей книге, однако вскрытое ею обновление идеологии державного патриотизма на базе левой оппозиции, на наш взгляд, хорошо объясняет, почему «чувство утраты» (коллективной травмы) в отношении распада СССР оказалось у многих россиян эмоционально увязанным с антизападным реваншизмом более позднего периода. Вдумчивый читатель сам может экстраполировать, каким образом логика «многовекового столкновения цивилизаций», обновленная в начале 1990-х, проявилась в практической политике начала 2014 г. Нам представляется, что неудавшийся «демонтаж» Б.Н. Ельциным одного из главных мифов менталитета «советского человека» – мифа об Октябрьской революции как основании рождения нового макрополитического сообщества – указывает на инерционность политической культуры, которая принимается в расчет прагматичными политиками, готовыми умело видоизменять и использовать коллективное бессознательное в целях легитимации политической власти.

Вместе с тем, на наш взгляд, книга О.Ю. Малиновой ценна поставленными вопросами, на которые пока еще не найдено однозначного ответа. Например, на протяжении своей монографии автор осуществляет поиски смысловой схемы отечественной истории, способной заменить прежнюю советскую и легитимировать нынешний российский режим. Согласно автору, эта задача имеет в том числе и политико-идеологическую составляющую, т.е. конструирование нарративов, способных объяснить каким образом из коллективного прошлого вырастает настоящее и будущее (с. 8). Исследовательница подробно описывает, в ходе каких публичных дискуссий формировались и консолидировались такие фреймы и нарративы. Однако не до конца понятным остается, почему одни фреймы «приживаются» лучше, а другие хуже. Каким именно образом и через какие механизмы новые (или реанимированные) мифологемы «актуального прошлого» оказываются способными влиять на политическое поведение и становиться устойчивыми элементами политической культуры. Иными словами, почему один фрейм (например, либеральный миф в России) активно не принимается членами сообщества, в то время как другой («национально-патриотический») становится сильным символическим ресурсом? Можно ли говорить о пластичности коллективной памяти и необходимости преемственности между новыми мифами, как бы «вбирающими» в себя старые, исторически более укорененные в менталитете? Этот вопрос может оказаться важным также при анализе того, при каких обстоятельствах над национальными мифами могут надстраиваться иные, например транснациональные символические структуры.

В рассматриваемой монографии автор великолепно деконструирует существовавшую с 1991 по 2014 г. символическую политику, подробно описывая психологические и властные механизмы, способствующие укреплению и дальнейшему воссозданию отдельных ее элементов. При этом сознательно оставляются за пределами научного анализа альтернативные нации и империи конкурирующие модели (видимо, как исторически несущественные).

В конце своей книги, обозначив тревожные тенденции существующей в России символической политики (с. 184), О.Ю. Малинова как будто ставит многоточие, безусловно, стимулирующее читателя к собственным размышлениям на тему.

Предложить альтернативы существующей символической политике изначально не входит в цели исследования. Однако, возвращаясь к К. Ясперсу, на наш взгляд, такое решение автора не выносит его полностью за скобки уже актуализированного символического поля. Полагаем, что при всем желании остаться лишь в роли исследователя автор, осуществляющий деконструкцию политических символов и мифов, в любом случае сам приобретает значение символической фигуры. Как метко указывал американский философ Д. Сантаяна, символизм охватывает все формы общественного сознания и духовного творчества [Santayana, 1942]. Представляется, что сама по себе деконструкция существующего символического поля еще не создает площадку для выхода в альтернативное политическое измерение. А ведь, как указывала в предыдущем выпуске «Символической политики» сама автор, настоящие перемены предполагают замещение прежней системы политических символов [Малинова, 2014, с. 344].

Можно утверждать, что дело исследователя, прежде всего, правильно ставить вопросы и вскрывать действующие на практике властные механизмы. Однако поскольку «символическая политика» является «деятельностью, связанной с производством определенных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование» [Малинова, 2012, с. 10], то она по определению не свободна от конкуренции альтернативных политических проектов и символов. В этих условиях перманентной борьбы исследователю трудно воздержаться от продвижения альтернативных моделей символической политики без того, чтобы не оказаться внутри *de facto* доминирующего политического языка, отражающего господствующую эпистему (М. Фуко). Помимо прочего у читателя может возникнуть вопрос том, как быть индивидам, которые не хотят встраиваться в доминирующий проект символи-

ческой политики. Кроме уже существующих «дилемм российской идентичности» какие новые альтернативы и модели идентификации могут быть предложены и развернуты хотя бы в теоретическом плане?

В силу вышеуказанной и других причин монография «Актуальное прошлое: символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности» – это книга для внимательного и долгого чтения. При всей кажущейся доступности текста фундаментальность и аккуратную продуманность авторского подхода трудно осознать «с наскока». Красота текста этой книги заключена не только в тонком историческом анализе, не только в самокритичной, внушающей абсолютное доверие продуманности предлагаемых автором к публикации теоретических выкладок, но и в характерной для О.Ю. Малиновой широте охвата профессиональной литературы, в подкупающей ее читателя неготовности жертвовать профессиональными научными стандартами ради сомнительных идеологических схем. Помимо прочего можно признать, что книга читается легко, так что читатель может поймать себя на мысли, что пролистывает не научную монографию, а «детективный роман» о еще не стершемся из памяти совсем недавнем прошлом; о том, «как было на самом деле».

Литература

- Малинова О.Ю. В ожидании объединяющего нарратива: символическое измерение постсоветской трансформации России. Рец. на кн.: Gill G. Symbolism and regime change: Russia. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2013. – viii, 246 p. // Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. – М., 2014. – Вып. 2. – С. 344–353.
- Малинова О.Ю. Символическая политика. Контуры проблемного поля // Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. – М., 2012. – Вып. 1. – С. 5–17.
- Ясперс К. Смысл и назначение истории / Пер. с нем. – 2-е изд. – М., Республика, 1994. – 527 с.
- Santayana G. Realms of being. – N.Y.: C. Scribner's Sons, 1942. – 862 p.

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Вып. 4

Социальное конструирование пространства

Сборник научных трудов

Оформление обложки И.А. Михеев
Компьютерная верстка Н.В. Афанасьева
Корректор Я.А. Кузьменко

Адрес редколлегии: 117997, г. Москва, Нахимовский проспект 51/21.
ИНИОН РАН. Отдел политической науки. E-mail: politnauka@inion.ru

Гигиеническое заключение
№ 77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999 г.
Подписано к печати 19/IX – 2016 г. Формат 60х84/16
Бум. офсетная № 1. Печать офсетная Свободная цена
Усл. печ. л. 23,5 Уч.-изд. л. 20,0
Тираж 300 экз. Заказ № 61

**Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Нахимовский проспект, д. 51/21, Москва, В-418, ГСП-7, 117997
Отдел маркетинга и распространения информационных изданий
Тел.: +7 (925) 517-3691
E-mail: inion@bk.ru**

**E-mail: ani-2000@list.ru
(по вопросам распространения изданий)**

Отпечатано в ИНИОН РАН
Нахимовский проспект, д. 51/21
Москва, В-418, ГСП-7, 117997
042(02)9

